Из пережитого. Том 1

Книга очерков - 1

Никита Петрович Гиляров-Платонов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ники́та Петро́вич Гиля́ров-Плато́нов (23 мая 1824, Коломна — 13 октября 1887, Санкт-Петербург) — русский публицист, общественный деятель, богослов, философ, литературный критик, мемуарист, преподаватель (бакалавр) МДА (1848–1855). Примыкал к славянофилам.

- Н.П. Гиляров-Платонов
  - ＜ПРЕДИСЛОВИЕ＞
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ГЛАВА XI
  - ГЛАВА XII
  - ГЛАВА XIII

- ГЛАВА XIV
- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XVIII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX
- ГЛАВА XXI
- ГЛАВА XXII
- ГЛАВА XXIII
- ГЛАВА XXIV
- ГЛАВА XXV
- ГЛАВА XXVI
- ГЛАВА XXVII
- ГЛАВА XXVIII
- ГЛАВА XXIX
- ГЛАВА XXX
- ГЛАВА XXXI
- ГЛАВА XXXII
- ГЛАВА XXXIII

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

○ 24

Н.П. Гиляров-Платонов
Из пережитого
Том 1

<ПРЕДИСЛОВИЕ>

Раз, когда я разрезвился более обыкновенного, сестры пожаловались на меня отцу, и он ответил коротко: «А вот я его отведу в семинарию». Он называл духовное училище «семинарией» по старой памяти: он учился еще тогда, когда наш город, хотя и уездный, был епархиальным. В нем был свой архиерей и своя полная семинария, от Инфимы до Богословского класса включительно. Тридцать лет прошло уже с тех пор, но у родителя моего так и осталось название «семинарии» до конца жизни; а он прожил и еще с лишком двадцать лет.

Трудно изобразить чувство, охватившее меня при словах отца: не то испуг, не то смущение. Особенно страшного ничего не предвиделось. Один из учителей, и именно тот самый, к которому на руки мне приходилось поступить с самого начала, был близкий человек, двоюродный брат; не так еще давно поступив на учительское место, он даже проживал временно у нас до приискания квартиры; раскладывал по вечерам ученические тетрадки чистописания и передавал сестрам при мне свои классные впечатления. Я не вслушивался; но мир отчасти, хотя заочно, мне был знаком. Тем не менее сердце оборвалось у меня. Это было чувство невесты, сговоренной за неизвестного в далекую сторону; мне жаль было воли, жаль разлуки с беззаботною жизнью; смутно предчувствовалась дисциплина, своенравию предвиделся конец. А я был нервный мальчик; любил делать назло, хотя не со зла; находил потеху в тех шалостях, которые пугали и тревожили сестер. Другого мира не было у меня; уже год как не стало матери; ее заменила из трех сестер старшая, разнившаяся со мной пятнадцатью годами. При отце я был тих или проводил время на дворе, в саду, на лужайке пред домом. Но лишь батюшка отлучался, шел дым коромыслом: сестры приходили в отчаяние, и в один из таких-то случаев принесли на меня жалобу, которая могла для меня окончиться даже чувствительнее, нежели обещанием отвести в семинарию: я попробовал бы плетки.

Итак, прощай воля!

Однако я должен познакомить читателя подробнее со всею обстановкой, среди которой вырос, и начать издалека. Плебейское происхождение не позволяет простираться мне вдаль на целые века; однако родословие все-таки не потеряно для меня по меньшей мере с половины прошлого столетия. Читатель должен знать моих дедов, должен представить себе этот мало или односторонне освещенный мир, далеко ушедший и теперь даже

невероятный; видеть развивавшиеся в нем характеры, а у некоторых они были недюжинные. Один из умнейших людей России (П.В. Киреевский) говаривал, что Россия живет во многоярусном быте. Часть не дошла еще до XVIII столетия; а где-нибудь в Пинских лесах, отрезываемых от остального мира болотами на целые полгода, в каком-нибудь Мозырском уезде, где уже на нашей памяти запал раз исправник, наступлением лета разобщенный со своей резиденцией и даже исключенный из списков как умерший, — в этом глухом углу живо, пожалуй, XIII столетие. Подобные же границы столетий пролегают и в одной местности, но в разных слоях населения. В той же Москве большинство живет исходом XIX столетия, а бесспорно для других это столетие еще не начиналось. Понятия и быт друг другу незнакомые, хотя рядом живущие и даже сносящиеся между собой отчасти. Духовенство же есть вообще особенный мир; а семья, среди которой я вырос, была и среди особенных особенная: она жила в XVII веке, по крайней мере на переходе в XVIII. Консерватизм моего родителя был чрезвычайный: он жил вполне, как его отец, и с очень малым отличием от того, как жили дед и прадед. Мать и сестры были представительницами прогресса, порывались на нововведения: сестры ходили уже в платьях, мать меняла сарафан на платье для торжественных случаев; но всякие нововведения прививались туго, тем более что мы, как Мозырский уезд, отделены были от мира. У нас почти не было знакомых; гостей не принимали и сами не бывали ни у кого. Дом наш был своего рода скитом, где царил угрюмый, вечно молчаливый патриарх, и при нем мы, подрастающая девичья молодость и полуребенок сын.

Сколько, однако, пришлось пережить и перевидеть затем! После тесной родительской храмины с лежанкой, палатями и светелкой; после этой невозмутимой тишины, где шел один день за другим, ничем не разнообразясь, кроме того, что сегодня скоромный, а завтра постный день, а вот скоро наступит храмовой праздник или «Светлый день»; после школы с ее секуциями, кулачными боями и насекомыми; после мира, в котором горячий, оживленный интерес возбуждали вопросы, как править службу, когда сойдутся Благовещенье, храмовой праздник и Великая пятница в один день; после умственной почвы, где на фоне Четьих-Миней, легенд, бытовых песен улегались как-то и последняя книжка «Телеграфа», и латинская грамматика; после этого и из этого — участие в водовороте быстро текущей всемирной жизни, ученая и отчасти политическая арена, аудитории, кабинеты министров и дворцовые залы, знакомство с лицами, имевшими историческое значение для

отечества; круги литературные и ученые; собственное, хотя и маловажное, участие в немаловажных событиях. После полувека оглядываешься назад и на прадедушку Болону, и на тетушку Марью Матвеевну, на эту семью, в которой чай был редкость, а кофе знаком был только по слухам, для которой городничий представлял грандиозную фигуру, а семинарист «первого разряда» почтенную величину: припомнишь мир, посеявший в тебе первые духовные зерна; задумаешься о всем ходе твоего развития: нет, мне кажется, это не должно пропасть нужно поделиться с другими.

ГЛАВА I
РОДНОЙ ГОРОД

Уездный город, бывший епархиальный, следовательно старинный, а потому, согласно этим двум качествам, со множеством церквей (до двух десятков счетом); река средняя, впадающая за три версты в большую. Но, впрочем, зачем же говорить обиняками? Это — Коломна. Крепость полуразвалившаяся, но с уцелевшею частью стен; уцелело также несколько башен и одни ворота с иконописью на них и с вечною лампадой. Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло доныне, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, урольная, к Москве-реке, называется «Мотасовою», и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами. Против нее, за рекой, на лугу, окруженный несколькими избами бывших монастырских крестьян, — Бобренев монастырь; на противоположной стороне, за три версты, на стрелке (между) Москвой-рекой и Окой, — монастырь Голутвин. Летит сатана из Бобренева; видит его с башни Мотас. «Откуда и куда, друг?» — «Да вот бобреневских монахов соблазнял. Там кончил, теперь к вам в город». — «Э, голубчик, — отвечал Мотас; — я тут уже четыреста лет от нечего делать мотаю ногами; здесь нас с тобой поучат грешить, ступай в Голутвин».

Самоосуждение свойственно не одной Коломне, а вообще русским городам, особенно древним, происхождение которых затеряно. Замечательна эта народная черта. Не хвалятся, чем даже основательно хвалиться; не помнят героев, забывают о своих исторических заслугах, а помнят Божиих святых людей и им противопоставляют себя как негодных и грешных; рассказывают, что город основан «на крови», взводят на своих предков небывалые преступления. Предания о начале городов полны такими сказаниями. Откуда Коломна названа Коломной? Не одна Марья Матвеевна, но начетчики-мыслители мещане (таковые есть), дьячки и тому подобный народ передавали мне, что преподобный Сергий проходил некогда через город и его прогнали «колом»; он тогда прошел в Голутвин. Историческое

событие несомненно, что Сергий преподобный проходил через Коломну, и там, где теперь Голутвин, благословил Димитрия Донского; посох Сергия остался в Голутвине. Но Коломна по меньшей мере двумя, а то и всеми тремястами лет старше Донского; тем не менее коломенцы воспользовались историческим событием, чтобы сочинить самоуничижительную легенду.

Вслушивался я в такие рассказы ребенком, хотя даже тогда не придавал им веры. Верит ли народ? Не думаю: и для него это поэзия, которою он наслаждается и поучается, не останавливаясь на вопросе об исторической верности. В собственном личном развитии я подмечаю черту, заслуживающую упоминания именно по поводу сказки об имени города. Шести, семи лет я был, когда мне ее передавали, и меня тогда уже возмущала филологическая нелепица. Я также пропускал мимо ушей историческое событие, равнодушный к тому, проходил ли через Коломну преподобный Сергий и что с ним было; но мне претило согласиться, чтобы Коломна происходила от творительного падежа «колом»; даже о падежах мне было неизвестно, но словопроизводства признать не мог. После, когда был лет десяти, я прочел у Карамзина догадку, что название произошло от итальянской фамилии Колонна. Объяснение точно так же показалось невероятным, и я доселе удивляюсь, как ученый с глубоким смыслом, каков был Карамзин, мог придумать такую несообразность [1].

Подобно тому как в других старинных городах, рассказывали и в Коломне, что здесь-то стояла церковь, но провалилась по случаю страшного преступления; что по ночам слышится звон из-под земли. Замечательно это эпическое повторение того же рассказа в разных городах, почти буквально тождественное. Рассказывали об архиерее святой жизни, который велел-де похоронить себя на паперти, чтобы «все его топтали». Может быть, даже было это подлинным событием, но оно рассказывалось эпически торжественным тоном, полунараспев, и я впитывал его в себя. Многое запамятовал, но вообще легенд слышал множество и местного содержания, общего. Из последних некоторые, памятные мне по детству, напечатаны легкими видоизменениями в известном сборнике Афанасьева, к сожалению запрещенном. Запретили книгу, опасаясь соблазна. Но я спросил бы сберегателей народной веры: а кем и чем воспитывается народ хотя бы и в вере? Нужно удивляться, как еще сохранились в нем, хотя в полумифической оболочке, какие-нибудь ее искры. Священник, которого видит народ только при отправлении треб и как отправителя треб, менее других повинен в учительстве. Ему остается одна исповедь, но и в ней едва успеет он проронить

несколько слов, при одновременном множестве исповедающихся. да и то если расположен идти далее механического отправления формальностей, указываемых Требником Отец, глава семьи, который вечно в работе и в заботах? Мать, бабушка — вот живые носительницы преданий, а легенды — кодекс христианской нравственности в поэтической оболочке Тот, кому средства дозволяют читать легенды в печати, вне уже всякого сомнения обережен от соблазна, ибо настолько развит, что в состоянии отличить поэзию от истории. Между тем если снять с легенд оболочку, мы найдем в них такую высоту, такую глубину христианского воззрения, пред которою преклоняешься. Возьмем хотя легенду об Илье и Николе, столь по-видимому соблазнительную, или об юродивом, крестящемся на кабак и бросающем камнями в храм. Опасаться глумлений может лишь тот, кто не слыхивал самолично легенд в детстве. А я слышал и опытом, своим и чужим, дознал впечатление, ими производимое, и суждения, ими вызываемые: их воспитательное действие несомненно.

Церковь, при которой отец мой был священником, стояла на берегу Москвы-реки или, как выражаются коломенцы, Москва-реки. Я говорю на «берегу», руководясь теперешними измерениями. Но в детстве какие-нибудь сажен семьдесят, восемьдесят, отделявшие церковь и наш дом от реки (дом был от церкви буквально в восьми шагах), казались значительным расстоянием; чтобы достигнуть воды, нужно было пробежать наш садик, затем городской огород — мало ли! И для взрослого уездного жителя, не бывавшего в столицах, городские расстояния представляются значительнее, нежели есть; горожанин еще более убеждается в этом своею медленною походкой: пространство разменивается на время и им, между прочим, измеряется. Когда провинциал попадает в столицу, ему кажется, что здесь бегают, а не ходят. То же покажется петербуржцу с москвичом в Лондоне. Мне же, малолетку, тем более казались значительными пространства, на деле короткие. Независимо от всего возраст имеет свою меру, и притом даже не для пространства только, а и для времени. Время первоначально считается днями, потом месяцами; а перевалишься за зрелый возраст, как ни богата жизнь событиями, остается внешняя память отдельных месяцев, пожалуй, и дней, когда что случилось; но последовательное течение событий перестает для сознания и чувства являться непрерывной вереницей: пусто, гладко и неразличимо представляется все, не ознаменованное чрезвычайностями; месяцы и даже годы сливаются.

Итак, и церковь, и дом наш стояли на берегу. Близ них, почти

рядом, измеряя по-столичному, высились еще три церкви; самая дальняя едва ли отстояла на сто сажен, а ближайшая едва ли даже на 50. И о церквах, именно этих, ходили тоже если не легенды, то прибаутки, основанные на колокольном звоне, характеристическом у каждой. Звон одной, у которой колокола были средней величины, тенористые, по своему умеренному размеру ударявшие в один край, медленно, переводился так: «Поп пья-ян, дьячок пья-ян». Густой звук другой колокольни отвечал: «И мы, и мы, и мы». И наконец, третьи мелким перебором звонцев прибавляла: «А мы видим, да не скажем»

Колокол для народа есть нечто не только священное, но живое; он рассуждает, гневается, упрямится, покорствует. Целым роем мифов окружена его жизнь. Когда его льют, предание повелевает распустить какой-нибудь слух, чтобы «гул пошел в народе». То же водится и при литье пушек, — обычай, заимствованный уже от колоколов, которые во всяком случае старше пушек. Отлитый колокол ставят на дровни и везут. Хорошо, когда он окупил себя, церковь и приход богаты. Но не случалось ли вам видеть, как колокол ездит из города в город, из деревни в деревню с просьбами о подаяниях на свой выкуп? Красуется на дровнях или дрогах колокол, более или менее значительного объема, и на трех же дрогах на особой звоннице висит колокольчик, время от времени жалобно ударяющий: «Подайте, Христа ради, православные». На многолюдных улицах, на площадях, на базарах в особенности, дроги останавливаются, лошади отпрягаются, а колокольчик с расстановками продолжает бить свою мольбу. Русский человек снимает шапку, крестится и кладет в кружку по силе-мочи.

Большой колокол нашей церкви был по уездному городу значителен, особенно в те годы, — 200 пудов. Приобретение его сопровождалось обстоятельствами, заслуживающими упоминания. В начале минувшего столетия господином города был именитый гражданин Иван Тимофеевич Мещанинов. Никто не смел мимо его дома проходить в шапке, а тем более обязательны были знаки почтения при личной встрече. Да чего! сами воеводы пред ним раболепствовали. Я застал еще в живых одного древнего желтовласого старца (фамилия ему была, помнится, Лохонин); а он застал в живых «коломенского бога», как называли Мещанинова. Лохонин был еще мальчиком: «По безрассудству своему — молод я еще был (так рассказывал он) — не догадался я снять шапку в начале улицы, когда Иван Тимофеевич на ней показался. Ну досталось мне; отодрать-таки отодрали, да и велел он меня в солдаты отдать Я бежал, и только бегами спасся». А Иван Тимофеевич был все-таки не более как

купец! Таковы были нравы в первой половине прошлого столетия; по расчету лет Лохонина, полагаю, что происшествие случилось в тридцатых годах, потому что старику не было, кажется, полных ста лет.

«Коломенский бог» был прихожанином нашей церкви; она считалась почти домовою Мещаниновых даже и в начале нынешнего столетия. Решил Иван Тимофеевич слить колокол в свою церковь, и не маленький, в тысячу пудов. Едет к архиерею и просит благословения.

Как, Иван Тимофеевич, в приходскую-то церковь да в тысячу пудов? Это не полагается, не по закону. В приходской церкви позволены колокола только в сотни пудов. У нас и в соборе нету такого.

— Да колокол уж отлит, преосвященнейший владыко.

— Нет, как хочешь, никак этого нельзя. Лучше закажи ты для Никиты Мученика другой, а этот отдай нам в собор.

Так и поступлено. Колокол в тысячу пудов повешен на соборную колокольню и гудит на ней доселе; к Никите же Мученику доставлен новый; в 200 пудов, с надписью: «Лета от Рождества Христова 1702» и проч.

Но поднять тысячепудовый колокол на колокольню и даже подвезти его удалось не легко. Колокол заупрямился. «Везли его, — так рассказывали старожилы, — на дровнях, как полагается; народ со всего города и деревень тащит. Шел хорошо; но подвезли к Пятницким (крепостным) воротам, — остановился. И так и этак, народу прибавили, канаты лишние подвязали: нет, прогневался, значит, не туда везут. Мастер сел на него с плеткой, как водится. Хлестнет; словно и тронется, а нет. Молебен с водосвятием служили; кое-как потом уж одолели; только вместе с мастером так и подымали на колокольню, и мастер все время, как поднимали, — нет, нет и подстегнет».

Такова местность, среди которой будут совершаться происшествия, описываемые в начале настоящих «Записок». Добавлю, что, за исключением церкви пред глазами, лужайки шагов в тридцать длины и ширины и за ней дома каменного, которого только нижний этаж был отделан, а верхние окна забиты досками, я до семи лет не видал ничего или почти ничего. Весь мой горизонт ограничивался этим убогим простором. Меня никуда не брали, никуда не водили. Повернуть за угол забора, ограничивавшего лужайку справа (налево была церковная ограда), и пройти на улицу шагов за сорок, это бывало уже событием. Вне своего дома, едва-едва я помню до школы, как меня при похоронах матери возили куда-то (то есть на кладбище) и как я спрашивал Максимыча, мещаниновского кучера: куда

маменьку везут? — и он мне постарался ответить что-то утешительное. Помню еще, как сквозь сон, что Андреич, пономарь, упросил раз моего отца отпустить меня с ним на «иллюминацию»; как вывел он меня за город (а мы и жили-то на конце города), как Андреич брал меня иногда на руки. Идти было очень трудно; под ноги то и дело попадались рога, на которые я спотыкался (вблизи были бойни). Много народу; ночь; слышалось пуканье (ракет) и виднелся щит, горевший огнями. Очевидно, происходило это 22 августа; но в каком году и сколько мне было лет, из памяти исчезло.

Еще темнее следующее воспоминание. Зима; отец едет в Черкизово (село верст 10 от города). Помню, то была помолвка двоюродного брата; как меня везли, в чем я провел несколько часов на «чужбине», все это вылетело, и в памяти осталось лишь, что и руки и ноги у меня окоченели. Я попросился на печку, но мне возразили, что тогда у меня руки и ноги отвалятся, и подали холодной воды, куда я должен был опустить руки. Это меня поразило кажущеюся несообразностью и врезалось.

Помню и еще… но это уже было из домашней жизни, о которой после. Таков, однако, был мои небогатый опыт, такова ограниченность кругозора до самой школы, до семи лет. Теперь, как вспоминаю, поражает меня тогдашняя моя неразвитость. Из окон виден был у нас другой берег реки, на нем луг, а за лугом лес, среди которого пять больших деревьев выдавались из прочих. Сиживал я у окна, вперял взор и спрашивал: что же, однако, там, и далеко ли отсюда это место, где голубое небо садится на землю? Задавал я эти вопросы другим. Что мне отвечали — не помню, но, должно быть, что-нибудь чересчур применительное к моему возрасту, уклончивое, без объяснения сущности, потому что долго так и оставалось у меня мнение, что там, за лесом, и конец света.

Удивительно! Удивительно потому, что я был мальчик смышленый, а к тому времени умел даже читать, но умственная жизнь по-видимому не начиналась, потому что так мало осталось в памяти из этого периода. Между прочим, поразительно: как, будучи уже шести лет, зная уже грамоте, я, оказывается, не знал даже, что такое смерть, когда спрашивал Максимыча о матери; как не постигал противоречия, что не может же кончиться свет сейчас за лесом, когда я знал, что есть на свете Москва, и слышал, что Москва от Коломны во ста верстах и что лежит она приблизительно в той же стороне, где сходится небо с землей. И в то же время чуял нелепость словопроизводства Коломны от «колом»! Этот замкнутый мирок, эта нелюдимость семьи, этот ограниченный круг, в котором вращались слышимые разговоры,

именно это не было ли причиной, что при смышлености и возбужденной, по-видимому, мысли ум дремал? В школьном периоде испытывалось потом многое, подобным же образом странное. Я признал бы невероятным, когда бы это случилось не со мной.

Кончу описание родного города общею его наружностью, хотя ранее семи лет она для меня не существовала. Улицы в нем прямые и в большинстве мощеные, даже в тогдашнее время. Много домов каменных, почти большинство. Опять факт психологический: прямизна улиц стала мне известна, только уже когда мне было тринадцать лет, по приезде в Москву. В случайном разговоре услышал я замечание о кривизне улиц московских и задал себе мысленный вопрос: «А какие улицы у нас?» Представляя улицы ясно, тем не менее я затруднился решить вопрос заочно: какие они в самом деле, прямые или кривые? Только уже приехав снова на родину, убедился, что город распланирован правильно. А между тем об этой планировке я слышал еще ранее, и притом неоднократно, с рассказом об обстоятельстве, которым она была вызвана и которым потом сопровождалась. Был пожар; за исключением нашего околотка, весь город был истреблен. Это случилось в восьмидесятых годах, ибо отец был еще мальчиком; вместе со старшим своим братом, на крыше дома, он метлой отмахивал падавшие головни. Ветер дул в нашу сторону; опасность была неминуема. «Тогда, — рассказывали мне, — к покойному батюшке (моему деду) пристали, чтоб он поднял иконы». Он исполнил, обошел околоток; околоток, который был обойден, уцелел. Мне перечисляли уцелевшие дома, с заключением, что «батюшка Никита Мученик заступился». Околоток уцелел, а город, и в том числе наш околоток, все-таки получил новый план, по которому церковь, выходившая на улицу, была отброшена от нее. Новую улицу пересекал по новому плану переулок, который должен был от берега пройти насквозь до выгонного поля. На пути ему представлялись ворота и за ними сад Мещаниновых, тех самых, которых предок, Иван Тимофеевич, был «коломенским богом». Коломенский бог был уже в могиле, а здравствовал его племянник, Иван Демидович. Видя беду, что двор и земля его разрежутся переулком, он отправился в Москву с опортовыми яблоками своего сада. Кто правил тогда Москвой, — не знаю, но подарок был принят. «Да, сад с такими прекрасными фруктами губить жалко», — произнес правитель. Сад был пощажен, и переулок остановился пред воротами мещаниновского дома.

ГЛАВА II
ПРЕДКИ

Я упоминал о селе Черкизове. Это было второе родное гнездо, не мое, но нашего рода. Длинный ряд княжеских каменных домов, почти на версту в длину, разнообразной, но замечательно изящной архитектуры, и притом расположенных со щепетильной симметрией, а впереди их три церкви, две по бокам и одна в середине, пред главным княжеским домом. Таков был вид Черкизова с Москвы-реки, на которой оно расположено. В стороне от княжеской усадьбы, тоже по берегу, рассыпаны крестьянские избы, в несколько слобод, то есть улиц, все смотревшие зажиточно. Этот вид Черкизово сохранило до освобождения крестьян, после чего последний из князей (Черкасских), владевших этим родовым имением, продал его в купеческие руки. Бывшая княжеская резиденция потерпела участь, испытанную потом многими и другими барскими имениями. Новый владелец, купивший имение за сто с чем-то тысяч, сумел в короткое время выбрать из него более того, чего оно стоило в покупке, и потом продать, кажется, за тройную цену. Все, что можно было вырубить, вырублено. Изящный дворец, с не менее изящными флигелями, манеж, который бы сделал честь любому губернскому городу и не посрамил бы даже столицы, псарный двор в виде замка с башнями, оранжереи, — все пошло на слом и продано враздробь: кирпичи — одному, мраморные плиты — другому; бронзовые, чугунные украшения нашли тоже охотных покупщиков. На месте палат осталось голое место с тремя церквами, на которые не имела права посягнуть коммерческая рука.

Каждая из церквей имела свое назначение и свою историю. Одна, ближайшая к селу, называющаяся Соборною (во имя Собора Пресвятые Богородицы), деревянная, но выкрашена белою краской, под стать усадьбе, чтобы не портить вида. Это и была собственно сельская церковь; к ней, в виде прихода, принадлежало село. Другая, крайняя, с другого конца, была погостом, где жили только священнослужители; приход ее рассеян по заречным деревням. Средняя церковь, пред княжеским дворцом, была «ружная». Строитель князь, он же зодчий всего ряда хором, не пожелал молиться вместе со своими «рабами», но хотел иметь свою церковь и своего попа, которого и посадил на «ругу», то есть на жалованье. Словом, — церковь плебейская и церковь патрицианская. Если князь не жаловал крестьянского

деревянного храма, то и крестьяне не почитали (и доселе, кажется, не почитают) Успенской княжеской церкви, неохотно ходили и ходят в нее молиться, несмотря на то что она была теплая, имела придел с печью, тогда как Соборная оставалась нетопленою по зимам.

От причта этих двух церквей и идет мой род по обоим коленам, мужскому и женскому. Для своей ружной церкви князь искал попа видного и с голосом. В одном их своих многочисленных имений он нашел такового и перевел в Черкизово. Это был Федор Никифорович, мой прадед. Фамилии, разумеется, у него не было, и грамоту он знал плохо; но он поддерживал блеск княжеского двора. Подобно лакеям, одетым в ливреи и напудренным, князь находил приличным, чтоб и поп гармонировал со всем двором. Конечно мой прадед был не пудрен, но обязан был носить башмаки и чулки, наподобие бального кавалера. К моему отцу перешли между прочим камышовые и недешевые по-тогдашнему трости с серебряными набалдашниками: это несомненно были княжие подарки ружному придворному попу.

Какую противоположность с этим изящным по наружности попом представлял прадед мой по матери, поп Соборной церкви Михаил Сидорович, по прозванию Болона! Откуда получил прадед такое прозвище, родитель мой не мог объяснить. Но Болона был замечательный человек в своей окружности- он слыл богатым: у него были сапоги! Да, сапоги, и это считалось признаком достаточности, потому что большинство попов одевалось в лапти и валенки. И Михаил Сидорович ходил также в валенках, но сапоги у него были и стояли в алтаре. Он надевал их во время служения. Была ли у него ряса, предание умалчивает. Вернее, что нет. Ряс вообще в заводе не было, и сельский батька, являясь в «епархию», чтоб идти на поклон к архиерею, брал рясу у кого-нибудь из городских священников напрокат. Это было удобно и дешево. К чему же обзаводиться рясой? Михаил Сидорович ценил свою состоятельность и не прочь был ею похвастаться. В праздники, когда собирались у него гости из окружного духовенства, он водил их в светелку, подымал крышку сундука и показывал рубли. Да, серебряные рубли были в диковину сельскому духовенству, быт которого совсем не отличался от тогдашнего крестьянского.

Удивительно: когда я в малолетстве слыхал все эти подробности, не поражала меня эта противуположность двух прадедов: шелковые чулки и щегольские башмаки, плисовая ряса одного, валенки и нагольный полушубок другого. И жили они во ста саженях один от другого, и были приятелями, водили хлеб-

соль, как окажется из последующего. Уже после стал я вдумываться. Мне кажется, чулки, башмаки, даже плисовая ряса (всё, разумеется, княжие подарки) были в глазах ружного попа тем, чем в Павловские времена мундир для солдата. Федор Никифорович скорее, вероятно, тяготился атрибутами блеска, нежели щеголял. Должно быть, и для него обычными были те же полушубок и валенки; а рублей и совсем не было.

Как бы там ни было, а два соседние попа, барский и мирской, в столь противоположной обстановке, были приятели. Федора Никифоровича Бог благословил детьми, преимущественно мужским полом; у Михаила Сидоровича Болоны была дочь. Читатель ожидает свадьбы. Он не отгадал; до свадьбы еще далеко: хотя Михаил Сидорович и породнился с Федором Никифоровичем, но после.

Времена тогда были тяжелые для духовенства. Указ был: гнать всех ребят мужеского пола в школу непременно, под страхом жестокого наказания. Федору Никифоровичу хотелось спасти хоть кого-нибудь, и он нашел случай пристроить Матюшку, еще малолетка, во дьячки и тем избавить от семинарии. Дьячком сын поступил к нему же, в Успенскую церковь, разумеется по назначению и с согласия князя, которому архиерей не мог перечить. До чего еще малолетен был мой дед в звании чтеца, доказывается тем, что, по семейному преданию, раз он, выйдя на амвон с Апостолом, сделал со страха против воли нечто такое, что случается разве во младенчестве. История эта не имела дальнейших последствий, и Матвей Федорович успел дорасти до иерейского сана и поступил священником в Коломну, к Никите Мученику, где пред тем был священником его же родной старший брат.

Перерву на минуту историческую последовательность рассказа и обращусь к остальным членам семьи Федора Никифоровича. Старший его сын, Василий, не избег семинарии. Он прошел всю ее премудрость и даже был по окончании курса учителем семинарии, что не мешало ему быть с тем вместе протодиаконом Коломенского собора. Отличительным достоинством всех сыновей моего прадеда, по крайней мере Матвея, моего деда, и его брата Василия, была голосистость. Это были два редкие баса, а Василий Федорович обладал даже необычайным. Иван Иванович Мещанинов (сын того Ивана Демидовича, который отхлопотал поправку в городском плане) передавал мне в сороковых годах, что во всю долгую жизнь свою он голоса такой силы и звучности не слыхал, сколько ни знавал протодиаконов вообще, и архиерейских, и придворных. Раз было, говорил он мне, пью я у архиерея чай в Подлипках (архиерейская

загородная дача). День был жаркий, окна отворены. Я услышал гудение. «Слышите: это мои быки ревут», — сказал архиерей. Это означало, что Василий Федорович зашел к брату Матвею как раз ко времени вечерни. Отправились оба в церковь, и за дьячка ли, за дьякона ли служил старший брат, но они потешались, распевая и возглашая вперегонки. Таков был рассказ Ивана Ивановича, человека, не способного преувеличивать: я познакомлю читателя впоследствии с этим истинно замечательным лицом. Тем не менее случай по-видимому даже невероятен. Подлипки от города отстоят по меньшей мере версты на полторы, а Никитская церковь, где потешались два «быка», лежит на противоположном конце.

Как бы там ни было, но голос, по крайней мере Василья Федоровича, был во всяком случае феноменальный. От его выкриков лопались стекла, как уверяют: вспоминается мне по этому поводу давно читанное известие о каком-то голландском пивоваре, разбивавшем двенадцать стаканов своим криком. Физиологическое явление это, оставшееся у меня в памяти по его необычайности, приводимо было в подтверждение библейских толкований богословами натуралистической школы. Так называлась школа, отвергавшая чудеса, но не решавшаяся спорить с Библией. Все чудесные явления в обоих Заветах она объясняла естественными законами, и в том числе падение стен Иерихонских от трубного звука осаждавших израильтян. Здесь-то и пригодился голландский пивовар, которого без того я не имел бы удовольствия знать. Если существовал такой пивовар, то неудивительно и существование Василия Федоровича, глас которого разбивал стекла в окнах. Во время коронации императора Павла дед Василий в числе других протодиаконов участвовал в церемонии. Как случилось это, предание умалчивает. Выходил ли такой наряд для самой епархии, или же наряжен был коломенский протодиакон лично по известному его голосу, достоверно то, что Павел поразился и потребовал Василия Федоровича ко двору, возвышая его в сан придворного протодиакона. Консерватизм, должно быть, в роду был у нас по мужскому колену. Вместо того чтоб обрадоваться предложенной чести, Василий Федорович уперся, прикинулся больным, несколько времени воздерживался от служения даже у себя в городе и ходил, в качестве больного, летом в тулупе; подкрепленный свидетельством докторов и архиерея, он спасся от чести, которой позавидовал бы другой на его месте.

Чтобы кончить с Василием Федоровичем, прибавлю, что с переводом Коломенской архиерейской кафедры в Тулу, с нею последовал туда же и протодиакон. У него должно было остаться

потомство, и встречая иногда в печати фамилию Черкизовский, я задаю вопрос: не внучата ли это или правнучата моего деда, которому было то же прозвание? Как говорено выше, отец его, наравне со всеми лицами из духовенства, не имел родового имени. Приходилось Федору Никифоровичу выдумать, когда отдавал сына в семинарию, и он окрестил его именем села.

Стоит сказать здесь, к слову, о происхождении вообще фамилий, носимых лицами духовного происхождения. Один шутник объяснял, что кутейника легко отличить по прозвищу: оно либо переделано из латинского (Сперанский, Делицын), либо связано с местным храмом (Покровский, Преображенский), или, наконец, ведет свое начало от «сладких» предметов: Малинин, Сахаров, Виноградов. К этому объяснению я добавлю еще два вида: один от села, как у моего дедушки, и затем целый рой Твердолюбовых, Доброславовых и тому подобных. Этого рода фамилии уже более нового происхождения; их придумывали учители-умники и ректоры-прогрессисты тогда уже, то есть в нынешнем столетии, когда фамилии вроде Покровских и Воскресенских слишком опошлились и когда носить в своем имени напоминание о духовном происхождении начинало считаться не то что постыдным, а так, не вполне приличным; словом, когда левиты начали стыдиться своего происхождения.

Теперь я могу приступить к свадьбе, которой не без основания ожидал читатель при рассказе о моих прадедах. Если у Федора Никифоровича были по преимуществу сыновья, то у Михаила Сидоровича Болоны была дочь, Марья Михайловна. Отдана она была за дьячка в Москву, Федора Андреевича Руднева. Фамилия Руднев показывает, что дед мой по матери происходил из села Рудни. Странно как-то, что при тогдашней редкости сношений и при отдельности епархий, Московской и Коломенской, попала бабка в Москву; но было так: Федор Андреевич, зять Михаила Сидоровича Болоны, служил дьячком при церкви Григория Неокесарийского на Полянке. Чем он провинился, неизвестно в точности; покойный родитель говаривал о тесте, что он «варил солянку в церкви». Так ли, иначе ли, но Руднев отрешен был от места и отдан в солдаты: он был красивый, высокий мужчина и потому записан в гвардию. Оставшаяся жена с дочерьми и сыном вынуждена была перебраться к отцу на хлебы в Черкизово. Сын взят был или отдан потом в «Армейскую семинарию»; две дочери, Акулина и Аграфена, тоже пристроены, одна за дьячка в Москву (Аграфена), другая за дьячка же в Черкизово, к той же Соборной церкви, при которой был сам Болона; тогда это было просто. На руках осталась одна младшая дочь, Мавруша, моя мать. У прадедушки

Болоны была, таким образом, внучка, а у прадедушки Федора Никифоровича — внучата, сыновья Матюши, и из них младший Петр. Старший, Федор, едва-едва лизнул школьной грамоты, а Петр подвигался в семинарии. И сыновья, и внучата навещали старика, ружного попа; ружный поп с Болоной приятель и сосед. Младший внучек одного, Петруша, подходил как раз по возрасту к младшей внучке Болоны, Мавруше: Петруша годом был старше Мавруши. Старики про себя ударили по рукам: Петруша женится на Мавруше, когда, Бог даст, кончит курс. Место готово: Болона уже на исходе дней; он передаст «Соборную» церковь и свой приход внучатам, доживая век на покое. Знали ль молодые до времени предназначенную им судьбу или нет? Скорее, нет. Но спора тут во всяком случае нельзя было ожидать. Петруша был скромнейший, по-слушнейший юноша, очень красивый собой, а Мавруша и просто красавица. Какое могло тут встретиться препятствие? Ребята игрывали вместе, когда коломенские гости наведывались в Черкизово; старшие на них любовались. А намеченной чете, целомудренной в глубочайших складках души, даже в голову не приходило, что из них будет, и даже вопрос о браке вообще не приходил в голову: воображение было чисто.

Прежде нежели перейду к рассказу о том, как исполнилось желание старших относительно младших внучат, я обязан досказать судьбу Федора Андреевича, записанного в гвардейские солдаты. Не по душе пришлось это московскому дьячку. Он был живой, изобретательный человек, мастер на все руки, балагур, словом, — человек скорее легкомысленный, нежели серьезный. Тем замечательнее твердость, им выказанная. «Не хочу служить», — решил про себя Руднев и исполнил. Он притворился глухим. Каким испытаниям подвергался он, сколько побоев вытерпел — легко представить; это происходило в суровое Павловское время, когда палок не жалели. Во время сна стреляли над ухом Руднева, но он вышел победоносно и из этого испытания. Не осталось начальству ничего делать; его выписали в нестроевые и перевели в Ревель, отдав в распоряжение тамошнему коменданту. Комендантом был князь Волконский, отец Петра Михайловича Волконского, бывшего потом министром Двора при Александре I. Получив Руднева в распоряжение, комендант взял его к себе в денщики как смышленого и грамотного; даже более, приставил к детям в качестве дядьки и учителя. Глухота, разумеется, исчезла с той же минуты, как почувствовал себя Руднев в нестроевых; назад не вернут же. Нужно устраивать здесь, в Ревеле, свою судьбу и уметь снискать расположение командира. Деду моему удалось это вполне. Он умел вкрасться; в нем было нечто кошачье даже в наружности:

ласковый, приветливый взгляд и круглые, голубые, добродушные глаза.

Учит дедушка княжат грамоте, князь в нем души не слышит: так умеет обойтись с ребятами! Не всегда княжата его слушались; дед сумел их развлечь играми или заковать их внимание рассказами, всегда увлекательными, умел пристыдить их в случае и в числе наказаний употреблял между прочим лапти, которые нарочно для этого сплел, лапти маленькие, на детскую ногу. Они были и игрушка, и своего рода плетка; не слушается князенок, упрямится, ленится: обуйся в лапотки. Стыдно сиятельному, и средство действовало.

Но дед Федор таил далекие планы. Он был дипломат. «Не хочу служить и не буду служить», — это было решено с первой минуты поступления на службу, и дед положил этого добиться; усердие к князю-коменданту было только искусным подходом. Грамоте дети были выучены скоро. Старый князь благодарен. «Ваше сиятельство! я нашел в вас второго отца; как и ценить мне вашу княжескую милость! Но довершите благодеяние: изволили кормить до усов, соблаговолите кормить до бороды. Жена осталась на родине, дети. Мне хоть бы одним глазком взглянуть; отпустите меня к ним повидаться. Навек слуга я вашей княжеской милости». Князь был давно и постепенно подготовляем к такой просьбе; старался исподволь дед размягчить в этом направлении и сердце княжат.

«Отпустить! Отпуск не положен, нельзя». Но дед просил так настойчиво, так был убит разлукой с семейством; стали нападать на него меланхолические припадки (притворства было ему не занимать); так покорно и с такою сердечностью уверял, что «только лишь повидаться с семьей», а то он немедленно воротится и посвятит весь остаток дней сиятельному семейству, призревшему его, более дорогому ему теперь, нежели собственная семья. Князь уступил. Как он обошел формальности, не знаю, но он исходатайствовал деду ранее узаконенного срока «чистую» отставку. Дед собрался в Черкизово.

Нужно перенестись в то время, когда не было не только телеграфа, но и почтой пользовались только состоятельные и привилегированные лица. Послать письмо, это эпоха жизни, межа, с которой начинают отсчитывать время: «это было, когда получено было или посылали письмо…» Да и как писать в село? и где деньги у денщика, пусть он и княжьим дядькой? Словом, прибытие солдата к жене, замужней вдове, было радостною неожиданностью. Объяснения, радостные слезы, рассказы. А в течение отлучки на военную службу, все-таки не кратковременной, случилось многое: Мавруша, между прочим,

отдана замуж. Марья Михайловна проживала в Черкизове, но бывала иногда в Коломне у свата, Маврушина свекра.

Прошел день в воспоминаниях и разговорах. Наступает вечер и ночь. Марья Михайловна пропадает; где она? Федор Андреевич идет в Коломну к свату; он же и не видал его еще. Жена там; она успела предуведомить о возвращении мужа. Новые разговоры, новые объяснения, новые радостные слезы. Проходит день, наступают вечер и ночь. Марья Михайловна вновь исчезает. На ночь она отправляется опять в Черкизово. За ней снова муж; но снова повторяется старое: днем она с ним ласкова, любезна, радуется на него, но на ночь удаляется. Собирается семейный совет, которому жалуется полупризнанный муж. «Люблю тебя, радуюсь тебе, — объяснила твердо замужняя вдова, — но быть для тебя женой, как была и как по закону Божию надо быть, не могу. Ты — солдат, а я не хочу, чтобы будущие дети мои были солдаты». Залилась сама слезами моя бабка, но осталась непреклонна. Покорился и дед. Расцеловались они как брат с сестрой, при дочерях и зятьях, и как брат с сестрой провели остальную жизнь. Успел обойти дед гвардейское начальство, успел провести ревельского коменданта, но вся настойчивость его сокрушилась пред целомудренною твердостью женщины; мечты, которые годами лелеял он, обратились в дым.

Федор Андреевич проживал потом то в Черкизове, то в Коломне, разумеется не возвращаясь в Ревель; более — в Коломне, где помогал дьячкам в отправлении должности; зарабатывал иногда деньги чтением Псалтыря по покойникам, шитьем сапог и разным ремеслом, какое попадалось под руку. Он не дожил до старости, а ранее того проводил и жену свою в могилу.

Я упомянул выше об Армейской семинарии, куда отдан был единственный сын Федора Андреевича, Никита Руднев. Своенравный Павел, сосредоточив под управлением одного обер-священника все военное духовенство, устроил из него не только вполне независимую епархию, но и посадил обер-священника Озерецковского членом в Синод наряду с архиереями. Озерецковский — лицо замечательное, заслуживающее подробной биографии. Он родоначальник направления, от которого по прямой линии происходят отец Беллюстин, автор книги «О сельском духовенстве», и журнал «Церковно-общественный вестник». Личные неприятности с архиереем привели провинциального попа в Петербург, где чрез брата, члена Академии наук, он надеялся снискать себе защиту. Достиг он большего, нежели желал: снискал не только защиту, но возможность мстить своему архиерею, которого, пользуясь силой

в Синоде и при Дворе, гонял он затем с одной епархии на другую до того, что тот не вынес этого измывания и умер. Нет сейчас под рукой данных для справок, кто был этот архиерей [2], но событие достоверно. Озерецковский мстил затем не одному своему архиерею, но архиерейству вообще, будучи mytratus popa, как называл его митрополит Платон, — «попом в митре», по власти не только архиереем, но почти патриархом, хоть и без епископского сана.

У этого-то митрованного попа была не только целая епархия в виде армейского и флотского духовенства, но и особенная в Петербурге семинария, названная Армейскою и пополнявшаяся детьми армейских священников. В ней-то учился дядя Никита Федорович. Кончил ли он курс, неизвестно мне. Между прочим, был он в качестве дьячка при Парижском посольстве, когда представителем России был князь Куракин; осталось предание, что в короткое пребывание при посольстве дядя удачно промышлял изготовлением и продажей кислых щей, напитка, неизвестного Парижу, но нашедшего там любителей. Никита Федорович поступил затем в Медицинскую академию, был полковым штаб-лекарем и умер в Баку, оставив небольшое наследство сестрам по оригинальной духовной, о которой будет сказано в своем месте.

Родословие моей семьи этим кончено. Отселе выступит пред читателем сама семья, лица, которых я уже зазнал; ни деда, ни бабок я не застал, тем менее прадедов: все померли ранее, чем я родился, и даже дядя, о котором сейчас была речь.

ГЛАВА III
РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДО

Вникаю в почерк дедушки Матвея Федоровича. Как сейчас, вижу его подпись; я ее изучил хорошо, когда простаивал всенощные и обедни в алтаре, что случалось нередко, и когда голодный ум просил работы. Я всматривался тогда в лепного голубя на своде над престолом и лепные же лучи, от него исходящие, в железные решетки окон, задавая себе вопрос, почему они здесь такого изгиба, а в теплой церкви — другого. Каждая мелочь каждой запрестольной иконы высмотрена; рисунок серебряных окладов на них, где травчатый, где прямолинейный, замечен; горнее место, престол с дароносицей на нем; ниша с выдолбленною в ней чашей на дне для выливания воды, жаровня, кадило, жертвенник, даже полотенце с круглым зеркалом в четверть величиной, — все было сто раз осмотрено. Зеркало не раз было даже перевернуто и осмотрено с затылка. «Что это оно такое тусклое? Не металлическое ли оно, какие бывают, я читал? Ободок-то медный». Комод, где хранилась ризница, давно и не раз подвергнут тщательной ревизии: здесь краска потерта, здесь выпотела; из медных скобочек одна неисправна, и знаю где. Разводы на парче, если какое облачение лежит на комоде, тоже известны уже, и знаю, в котором месте серебро осыпалось и видны лохмы каких-то желтых толстых ниток. Но главными выручательницами были книги, лежавшие на том же комоде, «Устав церковный», во-первых (Типикон), раскрытый на том дне, которого служба правилась. Вкусная книга! вся закапанная воском; очень вкусным находил я, одновременно с углублением в чтение, отскабливать ногтем воск и потом разглаживать закапанное место. Затем «Полный российский месяцеслов» с описанием соборов и монастырей российских. Обеим этим книгам я обязан многими сведениями. Наконец, старые приходо-расходные метрические книги; они давали большую пищу любознательности. Какие смешные почерки, какие чудные имена! Некоторые и знакомы; это пишет Яков Юдич, староста; вон Половинкин, а он тоже был старостой. А это кто же такой, Постников? Тоже староста; должно быть, это отец был Николая Акимыча Постникова. А вот «иерей Матфий Федоров»; это значит — дедушка подписывал. Годы и дни рождения многих знакомых из прихожан запоминал я без усилия и без желания помнить, без ведома тех, кого удерживала память; но если бы меня спросили, в каком доме из прихода, я бы отвечал

безошибочно, кто в этом доме когда родился и у кого кто был крестный отец. Отсюда же я запомнил, что дедушка умер в 1809 году и что на его место поступил мой отец; с любопытством не раз пересматривал записи о моих сестрах и братьях, родившихся в Коломне, и о том, кто умер из них и когда. Никого я об этом не спрашивал, и никто об этом мне не говорил, и никому сведений своих я не передавал, но все улеглось в памяти.

Итак, вот почерк дедушки, почерк твердый и ясный, как будто бы писавший и не из тех, кто «в школах не был». Вдумываюсь теперь уже, кто, однако, деда учил писать? Не Федор же Никифорович, едва грамотный; должно быть, кто-нибудь из дворовых. И значит, дед писал довольно, когда рука так освоилась с пером, окрепла. Потом: когда он женился, когда и где породились у него дети, здесь или в Черкизове? Книги не дают ответа; они не заходят так далеко. Несомненно во всяком случае, что в восьмидесятых годах дедушка был уже не дьячком в Черкизове, а иереем в Коломне. О бабушке еще менее известно; ее в книгах нет, в семейных рассказах имя ее упоминалось редко; говорилось только, что она баловала и прикрывала старшего сына Федора, который был семье не на радость.

Детей у деда было пятеро: кроме двух сыновей три дочери, из которых две, старшая и младшая, были пристроены за дьяконов, средняя — за псаломщика в Коломенском соборе. Средняя и младшая скоро овдовели и очутились снова на родительских руках. А старшая… тоже давно овдовела, и я как сквозь сон едва-едва помню какую-то старушку в крашенинном холоднике, которая бывала у нас еще при жизни матери и которую звали Катерина Матвеевна. Это она; должно быть, приходила она на побывку к дочерям своим: одна была за башмачником, другая — за хорошевским крестьянином, а не то может быть даже и жила у них.

Не без утешения вспоминаю я иногда, что родословие мое упирается в отставного солдата, а боком примыкает к ремесленнику и хлебопашцу. Судьба детей моего деда и их потомства этим и заслуживает внимания. В те времена, в начале нынешнего и конце минувшего столетия, ни в самом духовенстве, ни между ним и другими званиями (за исключением дворянского) еще не пролегало резкой черты и еще не зачиналось поползновений на какой-нибудь аристократизм попа пред дьячком и даже пред крестьянином и ремесленником. Аристократизм не успел по крайней мере спуститься до села и до провинции. Только в Москве рядные, сохранившиеся в консистории от XVIII столетия, обличают лисьи шубы у попов, экипажи и даже крепостных. В уездной, хотя епархиальной,

Коломне дед, городской священник, брат учителя, чуть не префекта семинарии, выдает дочь за причетника. Положим, Марья Матвеевна имела несчастье быть рябою и потому не нашла себе более видной пары; но и это обстоятельство не лишено значения: приданое, стало быть, не стояло тогда на первом плане. Во всяком случае, если бы лет через сорок потом и даже тридцать последовал в той же Коломне и даже в той же семье подобный брак, на него посмотрели бы как на похороны: чтобы дочь священника была выдана за дьячка, внука — за мужика или за башмачника (очень бедных вдобавок)! Я помню девичество своих сестер; мое детское сердце вполне бы присоединилось к их отчаянию, когда бы предстал им такой mesalliance, и подсказало бы совет лучше оставаться век в девицах, нежели идти на такой позор.

Чудною представляется с нынешней точки зрения судьба и самой Катерины Матвеевны, тещи этого башмачника и этого мужика. Городской дьякон, за которого она была выдана, был не простой дьякон. Внушительно говаривали мне, что у него была «шпага и треугольная шляпа». Смутно я понимал, что такое шпага, но треугольной шляпы даже представить не мог; только ощущал, что какого-то великого отличия был удостоен дядя. Дело в том, что Гастев, такова была фамилия мужа Катерины Матвеевны, с таким успехом учился в семинарии, что его отправили в университет для «усовершенствования в науках». Это водилось. Сверх латыни семинаристы тогдашние сильны были по-своему только в богословии и философии, а в положительных науках и новых языках плоховали. Лучших воспитанников ввиду этого посылали в университет. Там-то удостаивались они «шпаги и треугольной шляпы»; по возвращении же на родину поступали учителями в семинарии.

Гастеву дали кафедру французского языка и определили в приходскую церковь дьяконом. По нынешним понятиям, поступок дикий. Умницу, дважды ученого человека определяют дьяконом к какому-нибудь охряпку-попу, который, может быть, и до Риторики не дошел, а то и не нюхал семинарии совсем, и у которого, однако, по иерархическому подчинению профессор-дьякон обязан целовать руку. Ныне такой случай причислен был бы к «проявлениям возмутительного деспотизма». Тогда же никого это не поражало, и сам Гастев не находил своего назначения неестественным. Ни малейшего намека на что-нибудь подобное ни от кого я не слыхал, а слышал, наоборот, другое. Архиерей, помнится Афанасий, тоже знал французский язык (что не за всеми архиереями водилось) и потому с особенною внимательностью прислушивался к ученическим ответам на

экзамене. Ученик переводил. «Не так!» — восклицает архиерей. Гастев докладывает, что переведено верно. «Неверно!» — настаивает владыка. — «Так как же нужно?» — «Знаю, да не скажу». — Об этом «знаю, да не скажу» батюшка мой любил повторять рассказ, поясняя, что архиерей, в сущности, разумел плоше и учителя, и ученика, а только корчил знатока. Впрочем, мнимое неудовольствие не мешало преосвященному неизменно после каждого экзамена приглашать Гастева с собой в карету и везти к себе на трапезу. Но прежде чем доехать до архиерейского дома, горячий спор обыкновенно продолжался, и раз до того, что рассерженный Гастев вырвался даже из кареты и пришел к архиерейскому обеду пешком. Времена!

Что же, однако, произвело такой переворот в воззрениях, и в такое короткое время? Два закона: 1) требование, чтобы на священнические места определяемы были не иначе как кончившие курс, и 2) освобождение священников и диаконов от телесного наказания. Тем и другим внезапно приподнята была одна половина клира и над народною массой, и над другою половиной клира же. С тем вместе низшая половина клира низвергнута была на степень париев, нечистых самарян, которым «жидове не прикасаются». Впечатление усиливалось грозою рекрутчины, постигавшей выброшенного из школы, если не успевал он ни попасть на церковно-служительское место, ни «избрать род жизни» (юридическое выражение, означавшее приписку к податным обществам), и — рекрутчиной действительною, которой подпадали дьячки, отрешенные от мест. Школе сообщилась магическая сила; как прежде упирались, так стали теперь напирать. Кончить курс, быть «кончалым», стало мечтой, управляющею всеми помышлениями подрастающего духовенства. Магическую силу приобрело не только звание «кончалого», но разряд, в котором курс окончен; кончивший в первом разряде всю жизнь потом свысока смотрел на второразрядного, тем более третьеразрядного. Чрез двадцать лет по выходе из школы он все еще видел в себе существо как бы из другого теста слепленное — пшеничного, не ржаного. А что сказать о воспитавшемся воззрении на школьный отброс, из которого начал составляться причетнический класс!

Разумная в основании мысль Сперанского, осуществленная преобразованием духовных училищ, произвела бесспорный вред, отдалив клир от народа, вместо того чтобы сблизить их, и посеяв раздор в самом клире, разделившемся на «черненьких и беленьких». Любопытный факт общественной патологии в этом смысле явила, между прочим, известная книга отца Беллюстина «О сельском духовенстве», составившая своего рода эпоху в

истории административных и законодательных отношений к духовенству, продолжающихся отчасти доселе. Не щадя желчи и мрачных красок для изображения архиереев, которых автор величает «сатрапами в рясах», он с презрением, с гнушением опрокидывается на низший причт, даже не догадавшись, что обличает этим в иерее такого же сатрапа по отношению к дьячкам и дьяконам, каким описан архиерей по отношению ко всему духовенству.

Продолжаю прерванную нить рассказа. Не на радость семье был дядя Федор, сказал я. В молодости ему предстояла солдатчина. Попал ли он под один из тех указов, которыми от времени до времени производилось «очищение» духовенства, или же совершил какую-нибудь прямую повинность, только дед, чтобы спасти сына, вынужден был отправляться в Москву и валяться в ногах у наместника. Коленопреклоненный, со слезами молил он вельможу; но наместник был непреклонен, и дядю не миновала бы красная шапка, если бы не вступилась жена наместника, смущенная унижением «такого почтенного отца», как выразилась она, и тронутая его слезами. Черта опять не нашего времени: жена сановника присутствует при официальной аудиенции, даваемой просителю!

Спасенный от солдатчины дядя записан был в нижний земский суд и начал жизнь подьячего. Женился он потом, завел свой дом; он выстроил его в Репенке (так называется одна из городских слобод), на общественной земле, отведенной городом. Берег речки Коломенки, на котором стоял дом, начал обсыпаться, и дядя перенес свою оседлость на другой берег речки. в слободу «Запруды», где выстроил новый домик на земле, тоже отведенной городом. Там и я бывал, когда сопровождал причт со славленьем об Рождестве и Святой; кроме того, по случаю свадьбы Василия Федоровича, двоюродного брата, меня пригласили в качестве «мальчика с образом», неизбежного при благословении пред венчанием. Более я не бывал, и сам дядя навещал нас очень редко: два, много три раза в год, на Святой и об Рождестве. Не помню, чтоб он был даже на похоронах моей матери и на свадьбе сестры. Отношения между двумя братьями, а также и отношения сестер к старшему брату, вообще были холодные, чтобы не сказать неприязненные. Братьев отчасти разделяла самая разница развития и противоположность идеалов. Сестры боялись задорного, придирчивого характера, которым, к несчастию, одарен был дядя, и брани, на которую он был очень скор. Тяжелое впечатление и на нас, детей, производил этот старичок во фризовой шинели и в картузе, обыкновенно надетом глубоко, с крикливым голосом, резкими движениями и бородой, которая

казалась мне всегда мало обритою, потому что колола меня при поцелуях. С приходом его обыкновенно все разговоры прекращались; начинались сухие, отрывочные, казенные вопросы о погоде, здоровье домашних и тому подобные занимательные беседы.

Я зазнал дядю уже в отставке, губернским секретарем. С иронией говаривал мой отец, и в глаза своему брату и за глаза, что он нарочно вертится в базарные дни у кабака на Большой Московской улице, чтобы задрать полупьяных мужиков, вызвать на оскорбление и слупить за бесчестие. Дядя не гневался на это напоминание, напротив, с торжеством упоминал о своем калмыцком тулупе или даже указывал на него, когда дело бывало зимой. Тулуп приобретен был именно этим путем. С самоуслаждением говаривал подьячий Екатерининских времен и о наездах нижнего земского суда на деревни. Это бывало истинным Тамерлановым нашествием: пощады не было ни имуществу, ни чести; придумывались предлоги самые дикие (вроде рекрутчины с девок), пускались в ход вымогательства самые наглые, застращиванья, едва не истязанья. И рассказывалось об этом чуть не как о геройстве.

В дяде, впрочем, была одна черта, возбуждавшая к нему мое сочувствие: он был страстный и искусный садовод с юных лет. Искусство к нему перешло, очевидно, от мещаниновских садовников. Сад Мещаниновых, послуживший, между прочим, как знает читатель, к изменению городского плана, был сад барский в полном смысле: на нескольких десятинах, со стриженными и крытыми аллеями, с двухэтажными каменными беседками и с фруктовым отделением. Он неизбежно должен был иметь ученых садовников, и от них заимствовал дядя и охоту, и искусство. Наш крохотный садик у Никиты Мученика щеголял разнообразием яблонь и крыжовников; это были следы трудов Федора Матвеевича, оставшиеся еще с того времени, как он жил при дяде. В собственном его садике цвели роскошные розы, и он ими щеголял.

ГЛАВА IV
СТАРАЯ СЕМИНАРИЯ

По всему видно, что Петруша был любимым птенцом своего отца. Да и как было его не любить, особенно в сравнении со старшим братом, дерзким, буйным, «матерщинником», как выражалась о нем заочно одна из сестер? Петруша был тихий, скромный, застенчивый юноша. Застенчивость осталась в нем неизменною до старости.

Сколько могу судить, школа досталась моему родителю не трудно, чему должно было способствовать то, что учителями были родной дядя и родной зять между прочим. Сужу по себе: не будь у меня двоюродного брата учителем, не поступи я к нему первоначально под крылышко, вся дальнейшая жизнь могла уложиться иначе.

Частию я перезабыл, может быть, а частию и сам отец, вообще не словоохотливый, скупился на подробности: многого об его ученье сказать не могу. Помещение было то самое, в котором и мне пришлось через пятьдесят лет внимать школьной премудрости. Остались до моего времени и те скамьи даже: описать их будет время. Метод учения неизменно продолжался до самого преобразования училищ повсюду тот же, о чем также будет сказано, передам некоторые отдельные случаи, врезавшиеся мне в память, особенно врезавшиеся, должно быть, и в память батюшки, потому что он неоднократно к ним обращался.

Был, между прочим, у них учитель Малинин, жестокий как никто, секший семинаристов и к делу и не к делу, не за что-нибудь, а по расположению духа. Придет и велит перепороть всех от первого до последнего. И замечали мы, бывало, рассказывал батюшка, в каком сюртуке идет Малинин; если в «кармазинном», значит, всем порка поголовно, и мы к этому готовились. (Что такое «кармазинный» сюртук, я не понимал тогда, не понимаю и теперь.) Велико было терпение вообще у ребят. Против розги в принципе ни у кого не было и в помышлении протестовать; но такое беспощадное и бестолковое применение довело класс до неслыханного поступка: они решили жаловаться архиерею! Почему прямо архиерею, минуя ректора и префекта? Должно быть, не надеялись на заступничество. Нарядили двух депутатов и отправили в известные читателю Подлипки, за город. Кремль Коломенский («город», по местному наименованию) стоит на горе при слиянии Коломенки с Москвою-рекой. Приречная часть стены, должно быть, и тогда уже до основания была в развалинах;

путь к архиерейской даче, лежавший за Коломенкой, был виден из семинарии, помещавшейся в Кремле. Расставили махальных, которые должны были подать условленный знак при самом выходе послов с архиерейского подворья. Дом семинарии сохранился доселе; но тогда у него было то отличие, что во всю длину его именно к той стороне, которая смотрит на двор, а через него и на Коломенку, тянулись снаружи «хоры», по-теперешнему — открытая галерея с лестницами. Сидят за скамьями полумертвые в ожидании семинаристы. Нужно понять их положение, припомнив, что тогда учащиеся были в полном архипастырском распоряжении, вне всякого контроля свыше; гнев архиерея, и все они стерты с лица земли. «Идут!» — раздалось наконец с хор. Класс ринулся на хоры, и таков был единодушный дружный напор, что хоры не выдержали и рухнули.

Посольство увенчалось полным успехом. Чрез полчаса пришел Малинин в класс, плакал, просил извинения; пенял, что не обратились первоначально к нему лично, объяснял, что виновата его болезнь, не он сек, а она.

О другом случае порки вспоминал отец, касавшемся его лично. С двоюродным братом Прокопием, сыном Василия Федоровича, вздумали они прогулять класс и отправились за город. Узнано. Дядя Василий явился тогда в класс, хотя и не в нем учительствовал, и произвел порку. Порка произведена была чувствительная, так что чрез пятьдесят лет живо вспоминалась батюшкою, и притом с одобрением.

Простота отношений с учащими и с начальством была замечательная. Богословский класс располагался летом на чистом воздухе в саду Спасского монастыря, настоятелем которого был ректор. И преподаватель-ректор читал свою лекцию, и ученики слушали его полулежа. По-видимому, отец мой даже не видал в такой, по нынешнему выражению, халатности ничего необыкновенного. Он упоминал о ней только в пояснение другого случая, более существенного, как ему казалось. Иван Лукич, товарищ-одноклассник отца и тоже двоюродный брат ему (по матери), раз указал товарищам на неосторожно раскрывшегося ректора и отпустил вполголоса не вполне печатную остроту, вызвавшую всеобщий смех. Ректор слышал сказанное, а Иван Лукич, чтобы загладить невежливость, на другой день поднес его высокопреподобию в классе же корзинку персиков, поделившись тут же частию и с товарищами. Он слетал за десять верст к садовнику князей Черкасских, с которым был знаком. Ректор принял подарок, и мир был заключен. Впрочем, Иван Лукич чуть ли не определен был уже тогда, хотя еще не посвящен, во священника.

К концу курса постигло семинаристов испытание. Царствовал Павел, и, несмотря на затрапез и крашенину, в которые облачены были студенты, они обязаны были, подстригая перед и брея бороду, отпускать и заплетать косы по форме, высочайше установленной. На головах обязательно шляпы. Когда рассказывал об этом отец, он всегда называл шляпы «коровьими». В чем была сущность этого наименования? Понятно, что поярковые, а тем более пуховые шляпы заводить голякам-семинаристам было не под силу, и не в этом смысле отец о коровьих шляпах упоминал; должно быть, ввиду указа изготовлялись какие-нибудь специальные шляпы, получившие, однако, название не от формы своей, а от материала. Любопытное, должно быть, зрелище представлял этот маскарад молодых людей в затрапезных и крашенинных халатах или понитковых кафтанах, без жилетов и без брюк, но с придворною косой и с форменною шляпой на голове!

К слову, об одежде. Знаменитый исторический деятель учился в той же семинарии, несколькими курсами моложе моего отца. Филарета мой отец помнил как очень скромного мальчика, «рябенького» (?), во фризовом сюртуке. Последнее обстоятельство придавало ему вид щеголя среди своих сверстников. По дедушке Никите Афанасьевиче будущее светило состоял соседом нашим. Зачатская церковь, в которой был священником дед Филарета, а после священствовал его брат Никита Михайлович, была одна из трех ближайших к Никите Мученику церквей, о которых было упомянуто в первой главе. Диаконом у Никиты Афанасьевича был Иван Яковлевич, двоюродный брат моего отца (сын Якова Федоровича) и мой крестный отец; у Ивана Яковлевича сын Григорий Иванович, впоследствии известный протоиерей Троицы на Листах, зять митрополита Филарета, женатый на его сестре Аграфене Михайловне и отчасти сосватанный за сестру самим владыкой. Когда родители спрашивали его совета, за кого пристроить дочь, он и указал им студента, давно им известного, которого и Аграфена Михайловна знала с детства. Так гласит наше семейное предание; сохранилось ли оно в родстве знаменитого митрополита? Дроздов (будущий митрополит) гащивал у дедушки. Несмотря на свою скромность, он не чужд был и шалостей. На моей уж памяти, раз во время посещения владыкой родины, напомнил ему о детстве один из купцов. «А помните, владыка, — сказал он ему, — как мы с вами лазили через забор за яблоками в сад Корчевских?» Это были соседи Никиты Афанасьевича.

О коровьих шляпах и обязательной косе родитель мой вспоминал не иначе как с горечью, чуть не с проклятием, и не из-

за них самих, а из-за того, что обязанность отправляться к цирюльнику для приведения головы в указный вид познакомила его с употреблением хмельного. До того он рос как красная девушка, в родительском доме, не отлучаясь никуда, кроме школы и родных, у себя в городе и Черкизове. Но там, в Запруде, где помещалась цирюльня, помещался и погребок; в нем угощались товарищи, сходившиеся для убранства голов. Там-то и вкусил мой родитель, упрошенный более опытными семинаристами, сначала «романеи» и какой-то наливки. Негодование возбуждалось воспоминанием об этом обстоятельстве в моем родителе потому, что спиртные напитки производили на него раздражающее действие. Употребленные без меры, они перерождали ягненка, каким он обыкновенно бывал, в зверя. Он знал это и не поминал добром запрудской романеи.

Приближалось окончание курса. Оставался всего один год. Старики Федор Никифорович с Михаилом Сидоровичем, давно ударившие про себя по рукам, о чем, без сомнения, предуведомлен был и Матвей Федорович, объявили о решении молодым людям. Состоялась помолвка. Благословили, и девятнадцатилетний жених каждую субботу и канун праздника отправлялся к невесте в Черкизово. И не с пустыми руками выдавал прадед Маврушу: из заветного сундука сто серебряных рублевиков приготовлены были к выдаче в приданое, не говоря о полном хозяйстве, лошади с упряжью, коровах, овцах; и вдобавок готовое место, да еще в кругу родных. Два деда под боком; теща, свояченица со свояком-дьячком при том же приходе и первоначально в одном доме. Двадцатилетний хозяин имел и готовых руководителей. Все улыбалось, все готовило счастливую и веселую будущность. По окончании курса не замедлили последовать свадьба и посвящение Петра Матвеевича Никитского к церкви Собора Пресвятые Богородицы в селе Черкизове. Со ставленою грамотой, подписанною Мефодием, епископом Коломенским и Тульским, отправился юный иерей в новое гнездо, не задержанный обязанностью учиться священнослужению, как другие. И на этот раз судьба благоприятствовала. Согласитесь, весело ли проводить медовый месяц на чужбине? А это неизбежно происходит со всяким ставленником, обязанным обучаться священнослужению под руководством кого-нибудь из старших в епархиальном городе.

Читателю видно, что моему батюшке фамилия была уже Никитский, а не Черкизовский, как у его дяди. Дядю отдали в семинарию из Черкизова, и потому прадед назвал сына Черкизовским. Матвей Федорович, не бывший в школах, остался без фамилии, подобно своему отцу; повторить фамилию брата он

не рассудил, а назвал своих сыновей по церкви. И эта фамилия, однако, не уцелела: младший Никитский своим сыновьям придумал уже другую, более, казалось ему, красивую и благозвучную.

С окончанием курса Петром Никитским почти кончилась и Коломенская семинария. Не более года, кажется, она после того просуществовала. Вместе с епархией переведена была она в Тулу; епископ Коломенский стал именоваться Тульским, а к титулу Московского митрополита прибавлено «и Коломенский». Епархии были разверстаны по губерниям, семинаристы — по епархиям, к которым оказались принадлежащими. Опустела родина. Она подошла под тот тип казенщины, который там раньше, там позже, но неуклонно повсюду овладевает Россией, стирая все бытовое, местное, историческое, не щадя ни одного уголка, ни одного отправления общественной жизни. РЕ ныне развенчаны Ростов и Переславль, позже или одновременно с Коломной — Белгород и Переяслав. С каким-то кажущимся озлоблением, а в сущности даже безотчетно преследовались самые названия, и притом когда они ничему не мешали и никакого затруднения административной машине учинить даже не могли. К каким затруднениям, например, могло повлечь именование епископа «Тульским и Каширским»? Второй титул архиереев ровно никаких практических последствий за собой вообще не влечет, хотя бы назвали кого Гвинейским иль Новозеландским. Однако Тульский епископ именуется теперь «Тульским и Белевским».

Кашира все-таки древний город, значился в старых архиерейских титулах; так нет же, долой ее. Для чего это?

Для чего! Вопросом этим предполагается цель, умысел; расширение и углубление казенщины хотя и продолжается неутомимо, но давно перестало быть последствием чьих-либо расчетов. Оно совершается самостоятельно; люди служат направлению, а не двигают им. На каждый раз найдутся частные объяснения и побуждения. Недавно, кажется не более года назад, Белгородская семинария переведена в Курск. Объяснения нашлись, конечно: в губернском городе «удобнее» быть семинарии; сношения с начальством легче, да и мало ли каких возражений можно набрать против оставления семинарий в уезде? Лет десять, двенадцать назад велась в печати оживленная речь о том, чтоб и Московскую духовную академию перевести из Троицкой лавры в Москву. Тоже находились поводы и основания благовидные. Но, в сущности, во всех этих проектах и мероприятиях действует фронтовой идеал, который заседает в душе русских умников. Разнообразие коробит, волнистые линии колют глаз, личная самостоятельность, местная особенность

приводят ум в замешательство. Безотчетное чувство понуждает приводить все к одному уровню, превращать, хотя бы насильно, всякий органический процесс, если возможно, в механический. Между прочим и мысли спокойнее. Она приучается к общим местам, следовательно, к безмыслию; жизнь совершается по общим формам, следовательно, двигается, а не живет. Что такое губернский город? Город, в котором находится губернатор, архиерей и острог, а кстати и гимназия с семинарией; беспокойно представить «губернию», в которой бы не доставало этих атрибутов гражданственности или представить иное вообще их размещение.

С плачем проводили коломенцы архиерейский двор, консисторию, учителей и учеников семинарских. Отселе они живут в городе исключительно торговом. Торговые интересы будут отселе главные и единственные; на них будет сосредоточиваться и покоиться общественное внимание: гурты, барки, хлеб, сало. Экономическая жизнь города с выводом епархии не потерпит; она держится на твердом основании, не зависимом от административных деяний; ей нанесен будет удар чрез шестьдесят лет, но с другой стороны.

ГЛАВА V
НА ПЕРЕХОДЕ

Не такова сладость жизни досталась молодому Петру Никитскому, какая обстоятельствами сулилась. С поступлением на место он попал, по его выражению, в жернова. Двадцатилетний юноша, возросший под крылом батюшки с матушкой в городе, видавший деревню только мимолетом во время кратких побывок у родных, не умел отличить ржаного колоса от ячменного. Между тем вся дальнейшая жизнь должна основаться на хозяйстве; довольство ее будет зависеть от земледельческого труда и уменья. Ни дед, ни теща, а и того менее свояк-дьячок со свояченицей не могли быть довольны белоручкой, как они его называли, попавшим к ним в дом: «Смотри, ученый, соху от бороны не отличит, лошадь даже путем запрячь не умеет». Начнут, бывало, меня пилить, вспоминал родитель, в четыре пилы, урекать, жаловаться, стыдить, насмехаться, а жена плакать… И каждый-то день так! Тяжко, невыносимо становилось моему родителю, который отгрызнуться не умел, да притом сознавал правду упреков. Пойду, бывало, объяснял он, через мост на другой берег, посмотрю на Коломну и плачу. С другого берега действительно коломенские церкви видны были как на ладони, так бы и полетел под родительскую кровлю! А в сущности батюшка ведь был главой дома; повелительным тоном он мог бы прикрикнуть, тем более на дьячка-свояка, лицо, по-видимому, вдвойне подчиненное. Но он был беспомощен, против него было все в заговоре кроме жены. Бедовое дело поступать «в дом», хотя бы и хозяином, когда порядки в нем установились и лица действуют те же.

И служба оказалась тоже не очень веселою. Курная изба с дымом, режущим глаза, краюха хлеба вместо денег за требы, и в довершение холодная церковь. В храмовой праздник, 26 декабря, случалось, руки примерзали ко кресту и губы к потиру.

Как быть должно, с поступлением на место молодой соборный поп первым делом отправился на поклон в княжеские палаты, к владетельному князю Борису Михайловичу Черкасскому, бригадиру в отставке, обладателю многих тысяч душ в окружности, не считая имений в других губерниях. Застенчивый Петр Матвеевич растерялся, не знал, как ступить, как сесть, и рад был, что аудиенция продолжалась всего несколько минут. Откланявшись князю, направился мой родитель по паркетному, от роду не виданному полу к выходу, и можно

вообразить его смущение, когда вместо двери он наткнулся на стену. Чопорная симметрия, в какой расположены были все княжеские хоромы, сказалась и здесь: с двух боков гостиной были одинаковые двери, и одни из них фальшивые. При входе уже закружилась голова у трепещущего иерея, и он не помнил, откуда зашел. Пренебрежительно-покровительственный голос князя вывел моего отца из смущения; князь указал на стоящие двери.

С кем же разделить душу? Оставались дворовые люди, эта интеллигенция села. Большинство приняло нового батюшку с сочувствием. Их требования были выше того, чтобы довольствоваться Болоной в его нагольном тулупе, не способным рассуждать о чем-нибудь, кроме мужицких дел. А они видали кое-что, бывали в Москве, многие состояли уже вольноотпущенными, иные даже почитывали. Но величайшим благодеянием и главною отрадой было для отца, что в приходе у него кроме князя оказался еще помещик, в версте от погоста, Василий Любимович Похвиснев. Не иначе как с самым теплым чувством вспоминал о нем под старость батюшка.

Василий Любимович Похвиснев принадлежал к числу тех представителей среднего дворянства, которые олицетворяли тогда (да и теперь олицетворяют) главный ум России. Сколько можно судить по рассказам отца, Похвиснев был Новиковской школы. Он получал тогдашние журналы, читал все, что выходило. С соседом-князем не водил знакомства.

«За хвостом дядюшкиной лошади ездил; вот вся заслуга, за которую он получил бригадирский чин», — так отзывался о князе Похвиснев. (Князь доводился племянником фельдмаршалу Румянцеву). Князь любил удить и, окруженный челядинцами, просиживал иногда на мосту целые часы за этим занятием. «Знаете ли, батюшка, какая будет правильная дефиниция удочки?» — спрашивал Василий Любимович моего отца по этому поводу. «Удочка есть орудие, оканчивающееся с одной стороны поплавком, с другой — дураком». Эта дефиниция и записана была у батюшки в особенной книге, куда он заносил замечательные изречения, вычитанные или слышанные им. Туда же переписывал он стихотворения, нравившиеся ему. Книга листового формата, в черном кожаном переплете; заведена она, судя по отметкам, еще в Черкизове, и до десятых годов нынешнего столетия продолжались вклады в нее.

Василий Любимович обласкал молодого священника, дал ему свою библиотеку в распоряжение, и отец находил в чтении усладу, отдохновение от непривлекательной действительности. Естественно, что сухо смотрел на близость попа к соседу-помещику князь, ненавидевший Похвиснева за независимость

вообще и за то в частности, что никак не соглашался тот продать сиятельному соседу свою Бохтемеревскую усадьбу, которая бельмом на глазу сидела у князя. На десять верст простирались княжие владения, а тут торчит это чужое Бохтемерово, да еще в руках этого досадного вольнодумца. Дворяне и не беднее его состояли при дворе князя, потешая его и прислуживаясь к нему: как не гневаться на такое резкое исключение!

Кроме дворян-прихлебателей князь, как и подобало особе такого ранга и звания, кормил несколько сот дворни и несколько тысяч псарни. Он был холост. Но в палатах его, при самой их постройке, предусмотрительно выложена была потайная каменная лестница, по которой водили к нему в спальню метресс из дворовых и крестьянок, им облюбованных. Многих он бросал после первых наслаждений. Но две долго владели его сердцем, оспаривая его одна у другой. Одну звали Наталья Ивановна; я зазнал ее еще в живых, и скончалась она почти столетнего возраста, пережив даже освобождение крестьян. Очевидно, она была красавица смолода; да, впрочем, об этом свидетельствовал и медальон с ее волосами и портретом, подарок князя. Она доживала остаток дней на месячине, среди той же дворни, в особой, впрочем, приличной квартире. Бывшей барской барыне оставили это положение сын и потом внук князя, из уважения к памяти отца и деда. Счастливее Натальи Ивановны была ее соперница, дочь кузнеца. Счастье ее было то, что она приносила детей сиятельному другу. «Если бы мне Бог дал детей, не то бы я была», — говаривала Наталья Ивановна. Детей князь воспитывал достойно их происхождения. Их народилось уже пятеро, если не шестеро, в том числе четыре сына. Раз, выбрав час и день, когда князь расположен был к мягкосердечию, мать со всеми детьми вошла к нему и пала на колена. Что происходило далее между ними, это известно им одним; но вскоре князь сочетался законным браком с матерью своих детей, и тогда-то Наталья Ивановна поступила за штат.

Кто же, однако, они, эти дети? Некрасиво значатся они в метриках: они — незаконнорожденные дворовой или крестьянской девки такой-то. К числу имений князя принадлежал известный Нижний Ландех, отчина знаменитого Пожарского, в несколько тысяч душ, перешедшая по наследству в род Черкасских. Князь решился продать ее (кажется, крестьяне сами выкупили себя), чтобы детям, рожденным до брака, купить дворянство. В те времена покупка этого товара не была невозможностью; в Польше шляхтою хоть мост мости; оставалось найти подходящего шляхтича, который бы решился продать свое имя; затем — найти дельца, который бы оформил куплю. Делец

найден, и экспедиция отправлена. Молва болтала, что в числе дельцов, главным или второстепенным, был известный впоследствии археолог П.В. Хавский, скончавшийся недавно столетним стариком. Он сам этого не отрицал, хотя лично мне не удалось его об этом расспросить. Да и по годам его так выходило. Молодость Хавского принадлежала еще Екатерининским временам: к воцарению Павла он был уже таким для провинции значительным чиновником, что приводил жителей (кажется, Егорьевска) к присяге новому царю. Притом он был коломенец.

Экспедиция совершена была удачно. Незаконнорожденные дети кузнечихи обратились в дворян Витоновских. Впрочем, ненадолго: с высочайшего разрешения они были усыновлены (это было при Александре I) и стали князьями Черкасскими. Напрасно только потратился князь и спустил такое богатейшее имение, как Нижний Ландех!

Жить вместе со свояком стало невмоготу отцу. Да и не порядок попу вести общее хозяйство с дьячком: доли разные. Пришлось разделиться и разойтись, а отцу строить новый дом, или, точнее, дом просто, потому что прежнее помещение была изба, а не дом. Я видел памятник зодческих способностей отца чрез тридцать лет после того, как он был воздвигнут. Дивлюсь ненаходчивости зодчего. Она была, впрочем, общая тогда всем. Ту самую черту неразвитости искусства замечаю и в коломенском доме, который построен был дедом и дошел в девственной неприкосновенности до моего времени.

Историю дедовского дома рассказывают так. Бревенчатый четвероугольник перегорожен рублеными стенами на четыре равные части. Одна половина четвероугольника была «покои» (две комнаты равной величины); другая состояла из холодных сеней и «топлюшки» или «стряпущей», по-нынешнему — кухни. Снаружи лестница и крыльцо. Должно быть, неприглядны были и для тогдашнего времени поповские хоромы. И.Д. Мещанинов, о котором уже знают читатели, заметил деду, что пора бы этому дому и на покой. «Да с деньгами не соберусь», — был ответ. На другой же день явились к деду возчики с вопросом: «Куда велишь сваливать?» Привезен прекрасный шестивершковый сосновый лес, подарок Мещанинова; явились и плотники от него. Дед построился, но как? Старого дома все-таки было жаль; он его перебрал и передвинул, а к нему приставил новый такой же величины, и образовалось следующее:

Величина была очень порядочная, и давалась возможность полному комфорту; возможна была и фигура. Ничего такого не оказалось. С потугами на нечто более цивилизованное разделена

была новая половина по крайней мере на части неравные. Но снаружи симметрии никакой; окна были неровные, и все простенки разной величины. Не было догадки, да очевидно и потребности, на изящество и удобство. Лица подобного звания и достатка, как дед, имели пред собой с одной стороны избу, и притом курную, с другой — барские хоромы, назначенные для житья при более или менее многочисленной прислуге. Среднего типа не представлялось.

Чтобы не возвращаться к этому чудному на нынешний взгляд дому, доскажу об его постройке и внутреннем расположении. Срубили дом; предстояло озаботиться о печи. Могли удобно поместиться две печи с отоплением всего дома. Но это было бы таким смелым нововведением, которого от Матвея Федоровича нельзя было ожидать. Печь была сложена одна, правда, на славу, огромная и притом с лежанкой; зато половина дома оставалась холодною. Рассказывали мне, что кладка печи была великим событием Для печника не жалели угощения. Печник — великое дело! Или сложит такую, что не будет греть, помрешь от сырости и угара; или, что особенно страшно, что-нибудь такое положит в печь, что пойдет несчастие за несчастием, не то домовой заведется, нечистая сила выживет (печник и мельниц слыли неизменно колдунами: их мудреного дела иначе народ и не умел себе объяснить). Но печник попал богобоязненный: «Такую, батюшка, сложу, что дом переживет». И действительно, чрез пятьдесят лет после кладки я знал ее: она стояла, как была, ни разу во все время не потребовала починки, когда дом уже обветшал. Славная печь! На ней укрывалось, бывало, в зимние вечера, все наше семейство: мать или тетка с сестрами за работой, и я тут же; иногда отец подсядет на лежанку. А на полатях против печи можно и еще поместиться троим, четверым, и помещались при случае, когда у нас гащивал кто-нибудь. Но возвращаюсь к описанию дома.

Снаружи лестница открытая и за ней крытое крылечко (см. на чертеже I). На нем висит глиняный рукомойник, тот гениальный рукомойник, который изяществом фигуры напоминает этрусков, а удобством превосходит рукомойники всего мира. Смеют ли по удобству соперничать с ним разные хитрые снаряды со сложными механическими приспособлениями, а и того менее — обычный европейский таз с кувшином, при котором или предполагается прислуга, или же предоставляется мыть себя тою же водой, которая стекает с грязного лица и рук?

С крыльца ход в холодные сени (3); ведет в них широкая дверь с кольцом. Сени разрезывают середину дома, упираясь в топлюшку. Из них лестница на верх, в светелку (тесовую) с

балконом, смотрящим в сад и на реку. Налево из сеней ход в нижнюю светелку (И), холодную, хотя из рубленого леса; направо в маленькую «прихожую» (Ж); прямо, как сказано, — в «топлюшку» (Б). Из топлюшки налево одностворная дверь в другую светелку (А), тоже рубленую, но тоже холодную. Против светелки одностворная же дверь в другую прихожую (В), параллельную первой. Здесь драгоценная лежанка, идущая с печью чрез всю комнату. С лежанки, если угодно, отправляйтесь на печь (Г), с нее на палата, простирающиеся надо всем свободным от печи пространством. Далее ход в «боковую» (Д). Печь с лежанкой занимает столько места, что двери негде было навесить. Из боковой двухстворчатая дверь в «горницу» (Е), из горницы двухстворчатая же в прихожую N 1 (Ж) и оттуда в сени. Или наоборот, пойдем парадным ходом: из прихожей N 1 в горницу (по-теперешнему «залу»), отсюда в боковую; назовите ее спальней или гостиной, как угодно. Из боковой чрез прихожую N 2 и кухню снова в сени. Светелки были непроходные и одна с другой не соединялись.

По стенам неподвижно прикрепленные лавки, и только в горнице крашеные стулья, обитые кожей, лоснящеюся и блестящею от долгого употребления (так же лоснилась и лещадь на печи от полустолетнего на ней сиденья). На стенах в горнице портреты, должно быть из мещаниновского дома, выброшенные оттуда за негодностью. Один изображал Екатерину, другие два — каких-то мальчиков в белых воротничках. Почему-то в малолетстве воображал я в них великих князей. Должно быть потому, что первый портрет был царский.

Прошу извинить за подробности, но они кажутся не лишними для истории быта вообще, для выяснения пути, каким двигалась и распространялась цивилизация в теснейшем ее смысле бытовых и хозяйственных удобств. Стулья, как видит читатель, были еще роскошью, и в нашей семье они оставались недосягаемою роскошью до тридцатых годов текущего столетия. Знаете ли, между прочим, чему обязаны знакомством со стульями даже селения, лежащие под самою Москвой? Нашествию французов и за ним последовавшему нашествию крестьян на ту же Москву с целию грабежа. Награбленная мебель послужила образцом для комфорта и типом для ремесла. И еще: кто разносит, знаете ли, и сейчас цивилизацию домашней утвари по всей России? Станционные дома железных дорог, внезапно появляющиеся там, куда изобретение диванов и стульев еще не дошло.

Родитель мой выстроил себе дом тем же крестовидно разделенным четвероугольником, какой был у деда в старом доме. Лишнего материала не было, чтобы позволять себе такую

роскошь, как прихожая. А просто: ход с крыльца в сени, по обыкновению холодные, хотя рубленые. Налево та же «горница» с «боковою» и прямо та же кухня и та же одна печь; нет нужды, что кирпич был дешев, а дрова даже свои, собственного церковного леса. В тридцатых годах брат, поступивший в Черкизово на то самое место, на котором был некогда отец, и получивший в обладание дом, сооруженный родителем, возмущался тем особенно, что не было передней: из холодных сеней прямо в залу (горница тогда уже переименовалась в залу). Время успело совершить свое: у духовенства явились верхняя одежда и калоши, которые приходилось оставлять вне покоев, да и посетители бывают такие (с лакеями, пожалуй), что без передней обойтись нельзя.

С добрый десяток лет пробыл батюшка в Черкизове, схоронил обоих дедов и даже успел попасть под суд чрез одного из них. Практический старик Болона смастерил какую-то незаконную свадьбу. Жених с невестой толкались в разные места, но получали отказ. Священник одного из соседних сел, двоюродный брат отца и, следовательно, родственник Болоны (Иван Лукич, упомянутый в прошлой главе), обратился к старику. Поп-родственник обвенчал, старик же достал черкизовские метрики, куда и вписано было венчание. Воспользовался ли он отсутствием отца или как иначе ухитрился, только дело открылось, и отца обвинили в том, что он не донес, и послали за это на неделю под начало в Голутвин монастырь вместе с венчавшим попом, двоюродным братом. Наложенное покаяние было не очень сурово. Эпитимия более состояла в попойках и угощении монахов; но отец до старости не мог простить деду этого злоупотребления доверенностью. Сиротой выглядывал он потом, когда после Двенадцатого Года все получили известные бронзовые кресты, а он нет, за то, что был штрафован. Воспоминание о дедушке Болоне, полагаю, вскипало в нем каждый раз, когда в крестном ходе приходилось ему выступать среди священников-сверстников, как бы оплеванным. Уже чрез двадцать с лишком лет после знаменитого Двенадцатого Года несправедливость была заглажена: крест был надет на батюшку, и при обстоятельствах загадочных. Неожиданно получено было из Москвы приглашение от викарного архиерея (Николая) явиться на подворье. Много было тревоги и недоумений: у меня, мальчика, сжалось тогда сердце. Приглашение притом необычное, не чрез благочинного, а прямо от преосвященного, за его подписью. В тоске ожидали все мы, дети, возвращения батюшкина из Москвы: какой и откуда гром грянет? Однако возвратился отец, и загадка разъяснилась, иль нет — задалась еще другая, мудренее. Владыка принял отца и

объяснил коротко: «У вас нет еще креста за Двенадцатый Год; вот он, получите». Кому пришло в голову, чьему вниманию обязан, что вспомнили? Не из тех юрких людей был мой отец, чтобы об этом дознаваться; а чтоб идти для этого еще задним ходом каким-нибудь — Боже сохрани! Лишь бы скорее до дому. Так и осталось для нас всех загадкой. И так как И.И. Мещанинова привыкли мы все считать своим добрым гением и знали его неисчерпаемую доброту, то домашним советом было решено: «Наверное, это он; это он ездил ко владыке и просил. Кому же больше?»

ГЛАВА VI
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Десять лет, проведенных в селе, не приучили отца к хлебопашеству, хотя земля и должна была служить главным подспорьем для жизни. Пашни и покос в воспоминании его не занимали никакого места, хотя не прочь он был припомнить о том, например, как ходил по грибы и собирал ягоды. Никогда ни с сыном, ни с зятем, занимавшимися земледелием, не перебросил он слова об урожае, почве, удобрении. Уверен я, что он не выучился косить. Обзавелся ли он даже лошадью? Вероятнее всего, хозяйство ведено было им в Черкизове так, как шло оно у брата Сергея Петровича в первые годы по поступлении на то же черкизовское место. Сено косилось «помочью», а земля сдавалась в аренду, с платой отчасти зерном и отчасти деньгами; может быть, высевалась какая полоска и собственными семенами, но при посредстве крестьянских рук. Земли у черкизовского причта было много, даже очень много; в теперешнее время, по соединении обеих церквей, Успенской и Соборной, считается если не 800, то более 600 десятин во всяком случае. Это богатство, воля ваша. Я упомянул о последовавшем слиянии двух церквей в предположении, что, может быть, прежде часть земли приписана была и к Успенской церкви, следовательно, отец, в качестве Соборного священника, ею не владел; но сомневаюсь: при Успенской, как ружной церкви, едва ли была земля. Итак, при многоземелье кормиться можно было, особенно с теми ничтожными потребностями, какими ограничивались мои родители. Кушали они бесспорно свое. Овцы и птицы были у них свои, следовательно, было и мясо, не на каждый день конечно, да и не на каждый скоромный день. Хлеб свой, крупа своя, овощи тоже, масло тоже — и коровье, и конопляное, и льняное. Чего же еще? Одежды для отца в течение десяти лет, конечно, не требовалось. В этом, между прочим, преимущество рясы; на моей памяти, в течение двадцати лет, раз только, один только раз обратился батюшка к портному за шитьем рясы «казинетовой» (казинетом назывался пониток, то есть материя из ниток с шерстью, но менее грубая, нежели обыкновенный крестьянский пониток). Ряса эта была еще перекрашена, и из нее мне сшили «чуйку». А то были все вековечные рясы, некоторые еще от деда и прадеда. На зимнее время требовался еще полушубок под рясу; при своих овцах за нагольною овчиной дело не могло стать. Летом же подрясник почти и нужен не был: батюшка ходил в

рубашке обыкновенно, да крашенина для подрясника могла опять быть поставлена домашними средствами; лен свой, пряха своя; матушка была даже замечательной искусницей: за один ее холст менялись охотно крестьянки двумя. Матушке для одеяния столь же мало требовалось; на сарафан шла та же крашенина. Белье для обоих свое, и для детей тоже; а детям кроме рубашонок ничего и не нужно. Обувь была статьей более важною: валенки, как и рукавицы и чулки, домашнего изделия из своей шерсти; но сапоги и черевики, как у нас их называли, употребляя слово, напрасно принимаемое некоторыми за исключительно малороссийское, — это требовало денег. Прибавить к этому соль и вино; вот и все статьи, требовавшие цивилизованного «орудия мены», то есть пятаков. Даже свечи, насколько они могли понадобиться, макались из домашнего сала, собственноручно. О чае с сахаром не упоминаю, потому что эта городская прихоть родителям моим была незнакома, и самоваром они еще не обзаводились, когда были в Черкизове.

Меня удивляет другое: как родитель мой не приохотился к земледелию теоретически или дилетантски? Он читал, читал много. Труды Вольно-экономического общества не проходили мимо него; академическое издание Миллера тоже было им читано, и не бесплодно. Высказывал он иногда суждения о состоянии и способах земледелия в той или другой стране, о разных хозяйственных произрастениях, о домашних животных, — суждения и замечания, почерпнутые из книг. Как было не приложить своих знаний хотя в уголку, не говорю пашни, но сада, огорода?

Нет, впрочем, я и этому не удивляюсь. Того, что называют практическим, не было вообще и тени в отце, а книги еще более уносили его в мир идеальный, и чем далее от действительности, тем было ему любее. Он рассказывал о путешествиях, о далеких странах, о морях, о флотских обычаях, о древних и новых героях, о Сократе и Диогене, о переходе Суворова через Альпы, о Ломоносове, забирался на звезды; любимою его угрозой семье было, что он уйдет во флотские священники. Сколько могу судить, в нем развилась мечтательность, и он жил в мире фантазии, куда уносился, не делясь с другими своею внутреннею жизнию. Догадка эта приходила мне еще в малолетстве, когда, выпивши, удалялся он, как бы спать, в горницу, а мы с тревогой посматривали в дверную щель, успокоился ли он. Чаще всего я видел его не лежащим, а сидящим и как бы рассуждающим, с живыми телодвижениями, с поворотами головы, размахами рук. Когда отворялась дверь, он с каким-то испугом оборачивался к вошедшему и спрашивал ласково, что нужно, хотя бы удалился

гневный; как будто бы чувствовал себя пойманным в чем-то нехорошем. Читатель увидит после, что черта эта перешла отчасти к младшему сыну при однородных обстоятельствах воспитания. По себе судя, воспроизвожу душевное состояние родителя. С идеалами, которых не разделяют вокруг и даже никто не понимает, с познаниями, которыми не с кем поделиться и которым нет никакого практического исхода, при материалистически-коммерческом направлении кругом, что же оставалось делать? Погружаться снова в чтение и играть в умственные куклы, создавать другой мир, жить с ним и утешаться им. Возиться с пашней, распоряжаться рабочими, продавать хлеб… да куда же это было моему родителю, когда самой простою куплей, не говоря о продаже, он стеснялся? Мальчиком сопровождал я его иногда за покупками в «город»; отец никогда не торговался; единственный вопрос его в таких случаях бывал: «Нельзя ли подешевле?» И то произносилось несмело, как бы в опасении оскорбить торговца подозрением в запрашивании. Стоило купцу сказать: нет, это настоящая цена, — и батюшка велит отвешивать или отмеривать. И любопытно: с особенною живостью рассказывал он анекдот об одном семинаристе, которому нужно было купить сапоги, а денег было всего полтина или менее — словом, менее того, сколько нужно за сапоги. Он приходит, спрашивает сапоги. Показывают. «Что стоит?» — «Два рубля». — «Нет ли похуже?» — спрашивает семинарист, не домекнув, что надо бы спросить: «Нет ли подешевле?» Ему подают другую пару. «Что стоит?» — «Полтора рубля». — «Нет ли похуже?» — спрашивает снова, и так далее, пока получает оборванные опорки, которые и надевает за свою полтину. Сдается мне, рассказывая о семинаристе, батюшка воспроизводил собственные чувства, испытываемые при покупках.

Практический ум заменяла отцу мать. Она и вела хозяйство, но потому хозяйство и не могло простираться далее избы и двора. В важных случаях хозяйственной практики вне двора выручал отца, без сомнения, свояк, Василий Михайлович, с которым наша семья жила по-родственному, несмотря на раздел, вызванный домашними несогласиями. Я не застал Василия Михайловича. Это был, по общему сказанию, замечательно живой и смышленый человек, что называется, в одно ухо влезет, а в другое вылезет. К числу особенностей его принадлежало, что он был, как выражались, «лунатик», из чего выходило много потешных историй. То выбежит днем с подушкой в село и расположится среди улицы, разумеется, сонный; то жена ранним зимним утром идет затопить печку, достает первоначально в печурке огниво и осязает неожиданно чьи-то ноги. Подымается крик. Оказывается,

что стоит пред «челом» Василий Михайлович в трубе. Раз возвращаются он и отец к вечеру из Коломны. Дело было зимой, и ехали по Москве-реке. Как раз на повороте реки, у «луки», Василий Михайлович останавливает лошадь и говорит, что ему нужно выйти. Вышел. Немного погодя отец тронул лошадь и завернул за луку. Отец думал пошутить: «Свояк посмотрит, что лошади нет, подумает, что я уехал, побежит, а я сейчас тут же и стою». Случилось не так. Ждет отец, нет свояка; ждет еще, нет. Воротился назад, нет. «А, это он вздумал ответить шуткой, взошел на берег и пошел пешком в Черкизово; встретит ужо со смехом: что это, батюшка, так запоздали? рассчитывая, что я его буду ждать и искать». Отец стегнул лошадь и приехал домой. Свояка нет. Вечер и ночь, свояка нет. На другой день гонцы по обеим дорогам, речной и береговой. Один из них видит Василия Михайловича, направляющегося на дорогу по сугробам из Семибратской рощи. Что ты, брат, как ты туда попал? Василий Михайлович рассказал следующее. Когда он обернулся назад и увидал, что лошади нет, он ускорил шаг. Долго ли он прошел, не помнит, но его нагнал знакомый мужик. Разговорились. Мужик позвал его чуть ли не к себе в избу. Пошел Василий Михайлович с ним, и мужик пропал. «Оглядываюсь, вижу, что сижу на высокой березе в лесу. Пришлось слезать и выходить на дорогу».

Смерть деда вызвала отца в Коломну. Место Матвея Федоровича было ему предоставлено, но с условием купить дом у сестер-вдов, живших на попечении деда, Марьи и Татьяны. Последние деньжонки, какие были, отчасти полученные за черкизовский дом, отчасти сохранившиеся от материнского приданого, отчасти скопленные матерью, пришлось отдать, и пришлось занять еще. На время предоставлено было наследницам деда проживать в том же доме в светелке; дело было летнее. Не на добро пошли деньги. У молодых вдов начался кутеж; откуда взялись приятели и приятельницы, пьянство, песни, гам, топотня! «А я сижу, — рассказывала мать моей старшей сестре, — слушаю да и плачу. Вот куда идут кровные деньги, вот как поминают родителя! А ведь несчастные к нам же опять придут промотавшись; куда же иначе денутся?» Предсказание матушки сбылось. Спустив наследство, прибегли к нам, и, к счастию, нашлась возможность устроить по крайней мере одну сестру, Марью. Ее старшему сынишке было уже лет четырнадцать, и он определен был причетником к Никитской же церкви; младшего отдали в монастырь. Здесь из послушников он дорос до иеродиакона.

Не знаю, предстанет ли мне случай вернуться к этим чадам Марьи Матвеевны. Расскажу их судьбу. Ивана Евсигнеевича

(старшего) перевели скоро в другой, соседний, приход вследствие указа, запретившего служение близких родственников в одном причте. Много ли мало ли он там прослужил, но он был отрешен от места; должно быть, за пьянство, хотя я его не знал пьяницей. Как сквозь сон помню, рассказывали, что на следствии он отзывался «падучею болезнью». Отсюда подозреваю, не повалился ли он когда-нибудь пьяный с амвона при самом чтении Апостола. Помнится, как будто так и передавали. Подобный казус, конечно, должен был возбудить дело, хотя, может быть, и не повести к отрешению от места, при более милосердом взгляде начальства. Как бы то ни было, много попесталась с ним несчастная мать. Беды какие-то большие угрожали Ивану Евсигнеевичу, и тетка отправилась в Москву, где ежедневно путешествовала с Девичьего поля в город. Из рассказов ее узнал я, что есть в Москве «Боровицкие ворота», и старался их себе представить. От самого Ивана Евсигнеевича, возвратившегося целым и невредимым, узнал, что в Москве есть «яма» и есть «острог», где он сидел. Каким образом он мог попасть в «яму», назначенную для должников? Но в остроге он видел Николая Павловича, и государь давал ему вопросы.

Не лучше судьба постигла и младшего сына, Алексея, в монашестве Арсения: он был расстрижен, понятно, тоже за добрые дела. Оба брата промышляли чтением и пением в церквах, помогая причетникам, а главное — чтением Псалтырей по покойникам — занятие, в котором упражнялся дед Федор Андреевич и которое оставил он в наследство Вагатке (так называл он Ивана Евсигнеевича, когда тот был ребенком). Жена Ивана Евсигнеевича с двумя детьми бросила его и жила отдельно, прокармливаясь работой, а он принанимал угол у нашего дьячка. Алексей Евсигнеевич пропадал по разным местам, изредка появляясь.

Иван Евсигнеевич был философ и художник. Редкое ремесло не было ему знакомо: он шил башмаки, делал клетки, собирал и разбирал часы; починка замков не обходилась без него. Первоначальным учителем у него был дед Федор Андреевич. Иван Евсигнеевич рассуждал, что птицы говорят и звери говорят и что надо понимать их язык; что воробьи говорят отчасти даже по-нашему, один: «жив, жив, жив», другой отвечает: «чуть жив, чуть жив, чуть жив». Посмотрите на галок, ворон, как они переговариваются; молчат долго и вдруг все заговорят; сговариваются, куда лететь и что делать. Гуси, утки при отлете дожидаются товарищей на определенной станции и летят, когда прибудут ожидаемые. Скворцы осматривают квартиры сообща, приводят сначала знакомых посмотреть, хорош ли скворечник.

Убивать животных по-настоящему грех; не знаем, кого убьем: может быть, душу человеческую загубим. От Ивана Евсигнеевича я узнал, что есть страна, с которою никогда не бывает и не будет войны; такое у нее положение, — Китай. Он же передавал, что русский царь каждый день тратит по миллиону на войско и что государь (Николай Павлович) родился в 1796 году и потому ему ровесник. Воспроизводил рассказы, слышанные от деда Федора Андреевича о солдатском житье-бытье и особенно о солдате Щипакине, который потешал всю роту в страшное время Павла и который не плоше дяди Василия Федоровича, разбивавшего стекла голосом, на пари сдувал четверик круп со стола и гасил двенадцать свеч, стоящих рядом, только не голосом. А более всего утешал меня Иван Евсигнеевич своими рассказами о покойниках. Я жался к нему содрогаясь, но просил рассказывать. Лет двенадцати был он, и пришлось ему читать по покойнику в церкви, притом ночью, чередуясь с пономарем; тело стояло в приделе, отделяющемся от коридора, за которым был другой придел «фарамугою» (стеной из стеклянных рам). «Читаю и слышу, будто кто-то по стеклам фарамуги прутиком ведет. Стало жутко; пойти к пономарю, спавшему на паперти, — надо пройти чрез эту самую фарамугу. Я подошел к алтарю, двигаясь задом от покойника и задом возвращаясь. Взял пук свеч и весь его зажег, чтобы было веселее. Звук продолжается; начинаю читать громче, чтобы заглушить его, а он меня заглушает. Уставился в книгу, но поднял случайно глаза и вижу — вдруг царские двери растворились. Упал и больше не помню; пономарь потом, когда пришел на смену, поднял меня». Рассказывал он мне, что здесь, в Никитской церкви, совершилось чудо, и с негодованием прибавлял: «Кабы не такой ваш дедушка был, то церковь бы прославилась. Икона Силуамской Божией Матери, знаете, стоит налево в холодной (я знал, что она есть, и киваю ему головой). Снилось слепой деревенской бабе, что она выздоровеет, когда пойдет к Никите Мученику и отслужит молебен Силуамской Божией Матери. Она знала, что есть Никита Мученик, но что есть там Силуамская Божия Матерь, не слыхала.

Является к вашему дедушке. И тот путем не знал, что это Силуамская, но по объяснению старухи отслужил молебен. Старуха выздоровела и прозрела; каждый год потом являлась на богомолье». Я передавал о рассказе Евсигнеевича отцу и спрашивал подтверждения. «Да, что-то было такое», — отвечал он небрежно. Отец был отчасти рационалист, хотя самым строжайшим образом исполнял мельчайшие постановления церкви. Удивительное сочетание двух токов: одного, унаследованного от семьи, а другого — от лютеранского

богословия (Мозгейма), по которому учился, и от книг, которые читал.

Несколькими заключительными чертами дополню духовный образ моего родителя. Когда случалось ему вести продолжительный разговор (для этого нужно было, чтоб он был несколько навеселе), он бывал остроумен, меток в суждениях, давал читанному, слышанному, лицам и поступкам дельную оценку. Прозвища, которые он давал, так и прирастали к человеку: назвал одного раз «сомовьим рылом», иначе потом не звали его и другие. Другую окрестил «аршин проглотила», и говоря об этой гордой особе, прибавляли и другие ту же характеристику. Помимо наружности, клеймил он столь же метко душевные качества. Мысли свои способен был излагать толково и литературно. Таковы его письма к родным. Но во всю жизнь не решался написать проповеди, кроме той, которую поневоле должен был сочинить, когда был еще в семинарии студентом; очередные проповеди ему писали сыновья. Я знаю еще другой такой пример богатого внутреннего содержания, но которое не шло далее изустной речи, и притом не от лености. Покойный Ф.А. Голубинский, профессор философии в Духовной академии — глубина и широта учености необъятные, импровизация блестящая; но заставить его написать что-нибудь было выше сил человеческих. Ректор Алексий (скончавшийся потом архиепископом Тверским) поступил с ним, как с английскими присяжными, запер на ключ. Написал взаперти профессор предисловие к письмам «О конечных причинах», но тем и кончил; труд, начало которого было уже напечатано, продолжен был другим. Что же это такое? Я не думаю равнять своего родителя со знаменитым профессором, но явление однородное. У Голубинского мы, слушатели и сослуживцы, объясняли этот недостаток подавляющею громадой знаний, с которою, как нам казалось, не совладевал ученый. Суждение, может быть имеющее долю основательности, но натянутое: излагал же Голубинский своим слушателям целую систему. Это недостаток не ума, а воли: где-то, что-то надломлено, какой-то проводник оборван, и даже не между мыслию и словом, а между словом и письмом; какое-то своего рода суеверие пред начертанным звуком. Я склоняюсь видеть причину этого явления в семинарском воспитании. «Сочинение» — это есть последняя, главная, можно сказать, даже единственная задача семинарского воспитания. Мерка для определения удовлетворительности сочинения в силу того преувеличенно возрастает у обязанных «сочинять», и они отступают, по застенчивости, как мой отец, и по смирению, как Ф.А. Голубинский.

ГЛАВА VII
ПОП ЗАХАР И ПОП РОДИВОН

Наступил 1811 год, преддверие грозного 1812 года. У Петра Матвеевича с Маврой Федоровной трое детей, два сына и одна дочь; было больше, но те померли. Старшему сыну, Александру, уже восемь лет; пора в училище. На месте разрушенной Коломенской семинарии, чтобы «не угасал свет учения», устроено училище неопределенной формации, ни то ни се, с двумя классами, «Высшим грамматическим» и «Низшим грамматическим», не соответствовавшим никакой ступени обычного семинарского курса с Инфимой, Фарой, Грамматикой, Синтаксией, Поэзией и так далее. Два попа учительствуют, третий, протоиерей, главноначальствует. «Поп Захар и поп Родивон»: поп Захар в Низшем грамматическом классе, поп Родивон в Высшем, оба не прошедшие полного курса семинарии, равно как и их начальник протоиерей. Ведут Александра Петровича, по фамилии пока еще Никитского, к попу Захару. «Что, Петр Матвеевич, пришел оболванивать парня?» — «Да, пора». — «Как же его записать, Никитским, что ли, как ты?» Дело происходило за рюмочкой; поп Захар счел нужным принять гостя. — «Не нравится мне моя фамилия, — отвечал Петр Матвеевич, — нужно какую-нибудь другую». — «Какую же? Давай посмотрим в Лебедевой». Обратились к Латинской грамматике Лебедева, очень хорошей по своему времени, к слову сказать, — более толковой, нежели Амвросия, по которой я учился. Но Амвросий был митрополитом ко времени преобразования училищ, чуть ли не получил докторскую степень за свою грамматику, и учебник Лебедева отставили.

Стали перелистовать: Celer — скорый, Jucundus — приятный, не то; Honor, Honestus… — «А, постой: что он у тебя, веселый мальчик?» — «Да ничего». — «Хочешь Hilaris — веселый? Гиляров, как тебе кажется?» Петр Матвеевич одобрил, и сын его, шедший из дома Никитским и просто поповичем, возвратился Александром Гиляровым, учеником Низшего грамматического класса.

Горе было, а не ученье. Учили, разумеется, одному латинскому и ничему более. Греческий и в семинариях, и в Академии (Славяно-греко-латинской) считался тогда роскошью; он и после, несмотря на все преобразования, не прижился в духовной школе. А наук каких-нибудь и в помине не было. И ученье не то шло, не то нет; в классы редко ходил поп Захар: то

на крестинах, то на молебне, то просто выпивши. В первый же день задан был брату урок, безо всяких разговоров, первая страница Лебедева. Пришел малый домой, засел учить; не дается ему: твердил, твердил, никак не запомнит. Твердил он вслух, сидя на лежанке; матушка против него за прялкой на лавке. Мальчик плачет, и она готова плакать. «Да ты запомни, Саша, — говорит она, — Федьку Каратаева». В уроке, между прочим, было foedus — союз (как пример двоегласного ое), и уже матушка запомнила это слово, а мальчику не дается. Федька Каратаев, сын соседнего купца, товарищ брату в играх, должен был, по основательному рассуждению матушки, напомнить о проклятом не дающемся слове.

Училище вскоре удостоено было архиерейского посещения. Приехал Августин. Классы разделялись только сенями. Двери настежь там и здесь. Входит тучная, низкорослая фигура Августина. После обычных церемоний садится на ученическую лавку, заставляет переводить. Ни в зуб толконуть никто. Тем временем мальчик, около которого сел архиерей, стал играть архиерейскими орденами.

— Как тебя зовут? — спрашивает мальчика архиерей.

— Григорий Богослов (Богословский).

— А ты это что же, богослов, любы, что ли, тебе? — спрашивает преосвященный, показывая на ордена.

— Да, — отвечает ученик, отняв руку и начав ковырять ею в носу, не переставая сидеть в то же время.

— А, так ты хочешь, чтоб у тебя такие были! Учись, и будут, только в носу не ковыряй. А ну-ка скажи: praelatus как «начало» (то есть, как первое лицо глагола в настоящем времени).

Ученик молчит.

— Praelatus как начало? — провозглашает архиерей громко, своим обычным звонким тенором на весь класс.

Молчание.

— Ну, ты, учитель, praelatus как начало?

Поп Захар потряс головой и отвечал вполголоса:

— Nescio (не знаю).

— Что же это ты своею козлиною бородой трясешь? Я не слышу. Поп Захар повторил свой постыдный ответ.

— Ну, ты, толстопузый, praelatus как начало? — обратился архиерей к попу Родивону. Тот отвечает то же, что поп Захар, уже не тряся бородой.

— Ну, ты, отец, praelatus как начало?

Протоиерей Михаил Федорович дал ответ, которого ждал Августин. «Учи их, дураков», — примолвил архиерей, выходя из класса и указывая на двух попов, учителей Высшего и Низшего

грамматического классов.

Протоиерей, оказавшийся знающим слово praelatus, был отец уже начинавшего восходить на высоту Филарета Дроздова; а из попов один, именно Родивон, был Иродион Степанович Сергиевский, зять Михаила Федоровича, женатый на его дочери, сестре Филарета, Ольге Михайловне.

Вскоре наступил Двенадцатый Год, и училище было распущено. Не буду отвлекать читателя рассказом о «Неприятельском Годе», как называли его у нас в Коломне, и продолжу о судьбе училища. Двенадцатый Год прошел, и тринадцатый прошел; ни то ни се продолжалось; совершался перелом «старого» образования на «новое». Новый устав вводился в Московский округ с 1814 года, и до того времени брат не то учился, не то болтался. С 1814 года началось регулярное учение, и к 1818 г. Александр Гиляров кончил курс, пройдя «Низшее» и «Высшее» отделения училища, с латинским и греческим языком, географией, катехизисом и Священною историей. Учение процветало? Правда, попа Захара уже не было, но поп Родивон, не умевший объяснить слова praelatus, оставался учителем Высшего отделения. О степени процветания может дать понятие следующий достоверный рассказ. В числе существеннейших занятий были так называемые «задачи», по-нынешнему extemporalia, состоявшие в переводе с русского на латинский. Иродион Степанович имел Тита Ливия, переводил его на русский язык, диктовал перевод ученикам, назначал латинские слова, которые должны быть употреблены, и ученики обязаны были восстановлять текст писателя. Из ребят кто-то достал Тита — Ливия и поделился с товарищами. Дело пошло ходко, и притом, в известном смысле, честным порядком. Безошибочный перевод дозволялось представить только первому ученику, а прочие обязаны были делать ошибки или выражаясь технически, «класть ероры» (errores), по степени того как на самом деле кто учится и сколько силен в латыни. Было благовидно и шло благополучно; но попутала речь матери Кориолана, начинающаяся, как известно, словами sine me, priusquam te amplexar, то есть «позволь мне, прежде чем я тебя обниму». На грех учеников и учителя, sine, повелительное наклонение глагола sino, есть вместе и предлог без; sine me может быть переведено без меня. Не догадался Иродион Степанович и предположил предлог. Однако видит чепуху. Что он нагородил, неизвестно, но он понимал сам, что соврал, и потому был уверен, что ученики должны наврать непременно в том месте, где он с полным сознанием перевел неправильно, но лишь бы связать как-нибудь смысл с проклятым без меня. А в этом-то месте ни один из учеников и не догадался

«положить ерора». С отчаянием приходит Иродион Степанович и восклицает: «Вы все умнее меня! Я отказываюсь вас ценить; составьте конклав и выберите, кто из вас первый, кто второй; назначьте и подайте мне список». «Конклав» — это значило вот что: он же, Иродион Степанович, преподавал географию, то есть задавал из нее уроки и выслушивал их; без сомнения, и он сам впервые из нее узнал, что папа выбирается «конклавом». Слово ему понравилось.

Конклав собрался, список составлен, подан, сделана пересадка, и так продолжалось до конца курса: списки составлялись конклавом, и всегда самым добросовестным образом; не было ни жалоб, ни споров.

Остановлюсь на минуту. Против духовных училищ много писали и пишут, и в большей части основательно. Но сколько мне известно, ни один из писавших не потрудился подметить положительные качества, которые, однако, были в духовной школе, и чем далее пойдем мы в старину, тем их было более. Ни один из безусловных хулителей не отдал себе отчета даже в том, откуда в нем самый этот протест, это негодование. Ах, если бы знали они, есть сферы, где не возникает и протеста, где даже не зачинается самосознание! Придется мне, без сомнения, много говорить о духовной школе, и не я буду щадить ее: едва ли найдется много людей, кто бы столько вытерпел от нее, сколько я. Но я подниму затоптанные ее достоинства; я не скрою, чем ей обязан и чего бы не получил, кроме нее, нигде.

Возьмем этот случай, случай достоверный; деятелем был мой родной брат; его конклав и выбрал первым учеником, и продолжал выбирать. «Дико, нелепо, дурак учитель, какое же после того ученье?» Все так; но ребята учились и продолжали учиться под конклавом. Не во многом успели, не их была вина; но они не злоупотребляли доверием учителя, они поступали добросовестно. И вот что скажу: в духовных училищах, до моего по крайней мере времени, этот дух справедливой, беспристрастной оценки товарищей царствовал безусловно. И затем: лучшим, даровитейшим и старательнейшим ученикам оказывалось ото всех безусловное же уважение, и притом невзирая на происхождение. Пред аристократией ума и образования преклонялись без протеста; лентяй, сорванец, не говоря уже о малодаровитом, считал за счастие, если можно сказать так, погреться около солнца дарований и прилежания.

Это раз. Не упустите из внимания и другую черту. Иродион Степанович отдает составление списка на произвол учеников. Вы думаете, это — сумасбродство? На этот раз сумасбродство, но оно вытекло из более глубокой причины, из уважения к личности: за

учениками признана их личность, признано их право. Припомним Малинина и учеников, просивших на него. Как поступлено было бы, не говорю в кадетском корпусе, но в гимназии и, вероятно, даже в теперешней семинарии? Это — бунт. Но архиерей не счел это бунтом, сам учитель не видел бунта, не думали бунтовать ученики. Во всей истории понятие бунта отсутствовало, и с вытаращенными глазами посмотрели бы ученики, и архиерей, и учитель на того, кто заговорил бы по поводу этого о субординации и ее нарушении. Как ни далек, по-видимому, пример, но я укажу на английскую оппозицию, «оппозицию ее величества», как она себя величает. Как ни горячи прения, сколь ни ожесточенна борьба, но в общих принципах преданности государственному уставу, верноподданничества, служения величию отечества, сходятся правая и левая единогласно. На этой почве они и спорят. Ни одному из учеников, жаловавшихся на Малинина, ни на секунду не приходила мысль, чтоб архиерей мог одобрить поведение учителя за то одно, что он учитель; архиерей и равно учитель не допускали мысли, чтобы со стороны учеников было озорство. Всех одушевляла одинаковая идея, что в отношениях учителя к ученикам в семинарии вообще должна быть справедливость. Справедливость — своего рода конституция; на ней стоят одинаково обе стороны, и одна другую в этом подкрепляет. Придет время, мы встретим еще много случаев, странных с точки зрения формальной дисциплины. Но они странны только тогда, когда форме придается безусловное значение. Словом «отеческий» злоупотребляют; но представьте себе отношения, по существу отеческие или даже полубратские, словом, семейные, и вы поймете, как могло случиться, что ректор помирился на персиках, после того как ученик отпустил на его счет остроту. Острота была сказана не с тем, чтобы посмеяться над ректором; сам ректор был в этом уверен и, конечно, первый же бранил себя, зачем он неосторожно раскрылся и отнесся братски к ученику, тем более уже назначенному во священника.

Пребывание брата в училище ознаменовалось еще другим высоким посещением, кроме Августина. Приезжал архимандрит Филарет, Петербургской академии ректор, назначенный обревизовать новооткрытый Московский округ. В глазах коломенцев стоял он на высоте тем более недосягаемой, чем менее иерархическая степень его соответствовала его действительной силе. Всесильный архимандрит, со звездой на груди (тогда это была новость), прославленное чудо ума и учености. Выражаясь фельетонным языком, в свою очередь заимствованным из меню французских обедов, посещение Филаретом Коломенского училища представляло особенную

пикантность в том, что здесь смотрителем был его отец, учителем — зять. Конечно, заранее можно было предсказать, что найдено будет все в отличном виде. Но Филарет вел себя при посещении с тонким достоинством: относясь к зятю как к обыкновенному учителю, он обратился к своему родителю со словом «батюшка» и пригласил его сесть. Не долог был осмотр, не мудрены вопросы; но на один из них, очень простой, по-видимому, ученики затруднились ответить, и по вызову «кто скажет» ответил брат. Вопрос был о том, что такое «купина». Филарет дал брату еще несколько вопросов, спросил фамилию и занес ее в свою записную книжку. Брат был наверху торжества; ученики его поздравляли, и сам Иродион Степанович благодарил, что «выручил».

Столетний юбилей воскресил память Филарета; появились характеристики, воспоминания, поднята его жизнь, отношения к родным и сами родные его. Что касается родных и родителей, нельзя не сказать против некоторой преувеличенности в описаниях. Не для того, чтобы положить тень, а для того, чтобы восстановить истину с мясом и костями, по совести должен упомянуть, что родители приснопамятного владыки были люди со слабостями. Они не гнушались приносами кизлярской водки и сами не прочь были выкушать. Михаила Федоровича относили, случалось, на руках домой из лавок около Пятницких ворот. Так говорила Коломна. Авдотья Никитична, вдовая протопопица, когда жила в трех шагах от нас у сына своего Никиты Михайловича, была тоже как все уездные протопопицы старого времени. Но к чести ее надо сказать, что сиянье сына как бы озарило и ее. С переездом в Москву, под бок к высокопреосвященному сыну, чтимому всею Россией, она приподняла свой образ жизни, чтобы не ронять владыки (она была умная женщина). В Москве Авдотьи Никитичны и невестки ее Анны Ксенофонтовны не могли узнать те, которые зазнали их и бывали у них в Коломне.

За посещением Филарета, скоро ли, долго ли, последовала награда Михаилу Федоровичу необычайная: крест «за заслуги или за дарования сына или что-то вроде этого. А Иродион Степанович вознесся, особенно по смерти тестя. Он был произведен на место его в протоиереи, в смотрители училища, в благочинные и удостоился ордена. В училище я едва-едва его не застал; но помню его, когда он раз, благочинным, приезжал в нашу церковь для осмотра и зашел к нам в дом. Увидев меня, спросил, учусь ли я. Я сидел на азбуке и помню, как теперь, что стоял на титлах и именно на словах „Милость, Милосерд“. Заставив меня прочитать, Иродион Степанович погладил меня по голове, сказал

тенором, переходящим в баритон: „Хорошо, братец“, и я заметил его орден — красноватый крест на ярко-красной ленте с желтыми каемками. Эту диковину я в первый раз тогда видел и долгие годы потом не видал. Это было в 1828 году.

ГЛАВА VIII
ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД

После всего писаного о Двенадцатом Годе многое ли могу добавить своими рассказами? Но я не хочу умолчать о простодушии моих земляков. Черкизово также бежало от нашествия; но куда? В лес, и что замечательно — всего за полверсты. Туда перешло все село с лошадьми, скотом, пожитками и расположилось табором. Скот выпускали на пастьбу, как обыкновенно, а ранним утром, перед светом, осторожно выходили из леса дозорные и с опушки смотрели на оставленные слободы: не шевелится ли кто-нибудь, нет ли неприятеля. Меня занимает психология этого происшествия; в общем оно повторялось повсюду, но, может быть, нигде с такою потерей здравого рассудка, как в Черкизове. Повторена была известная история страуса, прячущего голову, чтобы его не видели. Ту же историю отец мой рассказывал, как подлинное происшествие, о чьем-то теленке в Черкизове, проходившем зажмурясь чрез сени. Повторяя своего теленка, черкизовцы всем селом и на довольно долгое время (несколько недель) совершали то же, что бывает при пожарах и вообще неожиданной опасности. Но растерянность отдельных единиц на несколько минут объяснима; продолжительный же период отсутствия сообразительности у целого населения — задача психологическая.

Собрались убираться из Коломны. Зарево осветило северо-запад, и дошла ошеломляющая весть: «Москва горит, и там неприятель!» К Никите Мученику внезапно нахлынули гости на нескольких подводах. В Москве был у батюшки свояк Алексей Михайлович, дьячок от Иакова Апостола в Казенной, женатый на старшей дочери Федора Андреевича. Москва вся готовилась к бегству, и бежал всяк, кто мог. Иерей от Иакова Апостола в числе других подумывал, куда направить путь. Алексей Михайлович предложил своему «батюшке», не убраться ли им вместе в Коломну: «Я дума: туда, если не в самый город, то в село; там два свояка у меня». Одобрил иерей намерение. Снарядились. Случай привел яковлевского батюшку где-то видеть, во время самых сборов, еще священника, из другой стороны города, от Пятницы на Божедомке, близь Пречистенки. «Тоже собираюсь, — говорил Лука Милохоров (Божедомский), — только не знаю, куда: не возьмете ли с собой?» Таким образом целый караван нагрянул на маленький двор у Никиты Мученика. И не совсем кстати. Наши тоже убирались. Шли хлопоты о спасении церковных

драгоценностей: снимали оклады и ризы с больших икон, малые целиком укладывали в сундук: облачения, сосуды убирали, и все это поместили в подвал под церковию. Предание не дошло до меня: зарыты ли были сундуки, или поставлены в подвал на открыше, с повторением черкизовского теленка.

Когда объявлено было московским гостям, что и здесь им не предстоит оседлости, они отвечали: «Куда вы, туда и мы: мы от вас не отстанем, благо, нашли приют; вы все-таки здешние, а мы на чужой стороне, не знаем, как и что». Батюшка между тем заранее решил семейным советом переправиться в Княжи, погост за несколько десятков верст, стоящий в лесу, среди болота. Кажется, это уже в Рязанской губернии, за Окой. Там дьячком был родственник. Выбор был сравнительно удачный, насколько позволяли обстоятельства: неприятель в эту глушь не пойдет, тем более — и поживиться там нечем. Прибрав церковь, батюшка вручил ключи богобоязненному мещанину-прихожанину с наставлением беречь церковное добро и хранить тайну (дьячки тоже разбежались). В доме ничего не убирали, только привесили замок к сеням.

Отправились в Княжи; прожили там сентябрь. Время проходило нескучно. Гости московские приехали и с запасами, и с деньгами; были и карты; преподаны были уроки в нескольких играх, которых коломенские не знали (да и карт у них вообще не водилось); прогулки по лесу доставляли тоже своего рода отраду. Возврат последовал, когда от гонца, нарочно посыланного в Коломну, получено известие, что «все спокойно».

Было не только все спокойно, но оказалось и все сохранно. Не дохваченный на дорогу кувшин с молоком, случайно оставшийся на крыльце, стоял в том же положении; только вместо молока в нем была уже сметана.

Пребывание московских гостей составило своего рода эпоху в домашнем быте Никитских. Столичные отцы держались некоторых обычаев, дотоле неведомых нашим. Одно из существенных отличий, поразивших тогда брата моего (уже восьмилетнего), был ежедневный чай. Распивание его было для наших чем-то вроде торжественного богослужения. Яковлевскйй иерей подзывал ребят, давал им по куску сахару, с наставлением, как его употреблять. Научил, что после второй чашки (больше детям-де не полагается) нужно накрыть чашку донышком кверху; это-де означает «довольно». Затем должно «благодарить», то есть подойти и поцеловать руку. Наставления просветителей соблюдались коломенскими малютками свято и послужили кодексом правил на дальнейшее. Много и в одежде они увидали нового, невиданного; с почтительным удовольствием смотрели на

карманные часы, о которых прежде не имели понятия, любовались на складное зеркало.

Я бы мог остановиться; но перенесу читателя за сто верст; познакомлю его с тем, что происходило в другом близком мне семействе, тоже церковническом, но в Москве. Рассказ мой будет основан на показаниях тестя моего Алексея Ивановича Богданова, который служил тогда дьяконом в Москве при церкви Симеона Столпника за Яузой. Целый рой воспоминаний поднимается, но я ограничусь тем, что тесно связано с описываемым периодом.

Алексей Иванович Богданов — коренной москвич; в Москве родился, в Москве учился; кончил курс в Славяно-греко-латинской академии. Это был уже совсем другой мир, далекий от первобытных нравов старой Коломенской семинарии. Учители не ходили в нагольных тулупах, как дед-протодиакон. Шелк и сукно появились здесь и на духовенстве. Из Академии хотя тоже отсылали в университет некоторых; зато и в нее для «усовершенствования» присылали кончивших семинарский курс из разных епархий. Это была действительно академия, с блестящими диспутами, с громкими проповедниками. Студентам не закрыт был доступ и в высшее общество, в качестве учителей конечно. У некоторых были фраки; были из них танцоры, были театралы, были болтавшие по-французски или по-немецки, хотя большинство и не намного вообще обгоняло коломенских тюфяков. Алексей Иванович был из числа владевших французским языком, и вообще с лоском; его и на «благословение» с невестой взяли с бульвара, где он весело прогуливался, забыв об урочном часе. Взял он за себя воспитанницу епифанской помещицы. Были две барышни, две вечные девицы, с ними мать старушка. Период кукол прошел. Женихи не приискались или не нравились; материнские потребности, однако, говорили. По пути из «степной» деревни в Москву семейство старушки Козловой останавливалось по обычаю на передышку в «подмосковной». В подмосковной у дьякона родится дочь к этому времени. Дьякон барыне в ноги: «Не откажите крестить» (мог ли он упустить такой случай?). Барыня отпустила барышню; барышня согласилась, но сказала: «Только уж, отец дьякон, эта девочка — моя. Ты перестань и знать ее; забудь ее. Надя (названная так по имени крестной) — моя дочь». Дьякону оставалось благодарить за такое счастье и Бога молить за добрую барышню.

Таким-то путем из дьяконской избы попал ребенок в барские хоромы, где и воспитывался как бы родное дитя действительно; к нему приложено было любви по меньшей мере, сколько к любимой кукле. Но вышла катастрофа. У другой барышни-

сестрицы тоже своя преемница, своя любимая кукла. Соперничество сестер, твоя или моя лучше, слезы, и в конце всего — решение сбыть Надю. Обратились в Москве, где был свой дом у Козловой, к приходскому протоиерею, чтобы нашел жениха из духовных, приличного. Алексей Иванович найден, представлен, понравился и невесте, и маменьке. Состоялся брак и поступление на место во дьяконы. Для Алексея Ивановича был клад. До того времени он болты болтал; занимался по окончании курса корректурой в типографии Селивановского (единственной тогда частной), давал кое-где уроки. К духовному званию его не влекло: идеал его был светская жизнь, общество, гулянье, театр. Девушка из неприкосновенного духовного быта не могла ему понравиться. А здесь, как угодно, не просто поповна; да и манило обеспечение впереди от названной матери.

Обстоятельства, сейчас рассказанные, необходимы к пояснению последующего. Наступил наконец август; прогремела Бородинская битва; обозы раненых потянулись по Москве; уехал с Иверскою Августин, провожаемый чуть не проклятиями за оставление столицы. Воззвания Ростопчина разжигают народ; разносятся слухи, что идут на помощь англичане; тем не менее население валит вон.

У Надежды Федоровны Козловой, названной тещи Алексея Ивановича, был родной брат сенатором. С приближением сентября Надежда Алексеевна (жена Алексея Ивановича) отправляется к нему узнать, в каком положении дела. Сенатор успокоивает ее, но на другой же день (это было в самых последних числах августа) присылает человека с советом или приказанием, чтобы Наденька сбиралась немедленно ехать в деревню; оставаться в городе невозможно. Наскоро собралась, простилась с мужем Надежда Алексеевна (детей у них после четырехлетнего супружества еще не было). Карета с нею и с сенатором в сопровождении нескольких подвод выехала в Серпуховскую заставу по направлению в Тулу. Вся дорога вплоть до Каширы представляла как бы гулянье, точнее — крестный ход: пешеходы валят толпой, подводы в несколько рядов одна другую теснят, сталкиваются. Не один раз нагайке сенаторского лакея, или, может быть, курьера, приходилось работать. Но часто и сенаторский сан оказывался бессильным; особенное затруднение представлялось под самой Каширой, когда приходилось переезжать через Оку: не сотни, а тысячи подвод по нескольку дней стояли на берегу, дожидаясь возможности переправиться; берег был запружен, и добраться до него карете чрез ряды телег стоило немалого труда, увещаний, денег, побоев, обращения к сельским властям.

Оставим Надежду Алексеевну доезжать с сенатором до Епифанского уезда и возвратимся к Алексею Ивановичу. Он остался и не мог не остаться. 1 сентября Симеон Столпник, храмовый праздник, обязательная служба. Положим, и прихожанам было не до того, приход опустел. Сам по себе и бросил бы Алексей Иванович Москву, последовав за женой, но не допустит богобоязненный священник Николай Федорович. Николай Федорович умрет на пороге храма, а исполнит священнослужительский долг, хотя бы тысячи неприятельских штыков грозили ему. Это был тот неустрашимой веры иерей, который из всех двух сот в Москве один выискался совершить нечто, для слабых духом невозможное. Кто-то из священников изрыгнул Св. Дары тотчас после принятия почти в момент причастия. К архиерею с докладом. Архиерей кладет резолюцию: на совершившего епитимия и затем, если его блазнит обратно принять изверженное и если не найдет другого, кто бы согласился, — сжечь Дары. Заместитель выискался: Николай Федорович, осенив себя крестом, потребил предложенное, не блазнясь и не сомняся. Таково было в духовенстве предание о Николае Федоровиче.

Итак, праздник неизбежно было справить. Всенощная, обедня с подобающим священным торжеством, праздничный звон, водосвятие, хотя и в пустой церкви. К вечеру 1 сентября Алексей Иванович был свободен. По обычаю пошли со крестом по приходу; но из прихода выехали все. Один принял посещение — староста Верещагин.

При имени «Верещагин» читатель вспоминает историю о растерзанном Верещагине в 1812 году. К нему-то я и веду речь. Староста Симеона Столпника был отец растерзанного Верещагина, и сам растерзанный Верещагин — приятель Алексея Ивановича Богданова. Эту темную историю я расскажу в том виде, как принял от тестя.

В числе тогдашнего образованного общества были сочувствовавшие Наполеону, и молодежь преимущественно. Сличая с настоящим временем, приравниваю тогдашних поклонников Наполеона к теперешним либералам-космополитам. То были тоже либералы и тоже космополиты. Наполеон — не только великий человек, но чадо революции, наследник великих идей свободы и восстановления человеческих прав. Грубая, невежественная, рабская Россия получит свет и свободу от всемирного гения. В числе воодушевленных такими чувствами был молодой Верещагин, связанный, между прочим, дружбой с сыном почт-директора (Ключарева): а это был рьяный поклонник наполеоновской миссии. Ключарев-отец, а чрез него и сын,

получали свободно иностранные издания. Какая-то статья ли, прокламация ли (тесть называл прокламацией) была переведена Ключаревым, передана Верещагину; Верещагин ее распространял. Был ли то листок печатный или письменный, я не дознал от тестя. Но в одно утро Верещагин вошел к Алексею Ивановичу с листком и сказал: «На-ка, прочитай»; сам тут же ушел. Едва Верещагин за порог, как явился квартальный.

— Что такое? Как вы пожаловали?

— Да что, вот служба, не приведи Бог! Листки тут разносят и разбрасывают, прокламации от Бонапарта; велено отбирать. Вожусь с этим целое утро. Дайте у вас передохнуть; да, кстати, нет ли закусить?

Квартальный был тоже приятель. Поставлен графинчик. «Тары да бары, а я сижу ни жив, ни мертв, — рассказывал Алексей Иванович. — Листок-то тут же, на подзеркальнике. Только оглянись туда гость, пропал я!»

Однако гость ушел, не обратив внимания на подзеркальник. Верещагина взяли. Ростопчин знал, как происходило дело, рассказывал Алексей Иванович, и он добивался, чтобы Верещагин выдал Ключарева. Тот был непреклонен, несмотря на такую явную улику, что сам не знал же иностранных языков. Ростопчин вызвал отца; отец на коленях умолял сына пощадить его и пощадить себя, сказать правду. Молодой Верещагин не сдался. В последний раз, пред самым выездом из Москвы, призвал его Ростопчин и наконец объявил, что упорство будет стоить безумцу жизни. Верещагин остался нем. Тогда-то Ростопчин выбросил его народу со словами: «Вот изменник!»

Не один и не два раза передавал мне Алексей Иванович свои приключения Двенадцатого Года, и всегда в том же стереотипном виде эпизод о Верещагине. При этом никогда не выражал он ни тени негодования на Ростопчина, ни участия к сыну-Верещагину, которого считал сбившимся малым, погибшим от собственного безрассудства.

Настало 2-е сентября. После обеда показались нерусские мундиры на улицах. «Англичане на помощь пришли!» — объявил Алексею Ивановичу кто-то, церковный ли сторож, или сосед. Вышел Алексей Иванович на улицу, спустился под горку и видит синие мундиры; расставляются пикеты. Настолько он был сведущ, что знал национальные цвета. Он понял. В тот ли самый вечер, на другой ли день, солдаты на улице с восклицанием «un juif» (жид) подошли к нему и потребовали сапоги. Он отдал беспрекословно. По бороде, по кудрившимся волосам и по подряснику его приняли за еврея. С другими сапогами, в которых рискнул мнимый еврей выйти снова на улицу, повторилось то же; то же с

третьими, старыми, и он остался в кухаркиных опорках. На ночь явился постой: два итальянских офицера. По соседству, в доме Баташева, Шепелева тож (теперь Чернорабочая больница), стоял какой-то маршал.

Постояльцы-офицеры спали со своим хозяином на двуспальной супружеской кровати, положив его между себя. Он не спал всю ночь, но при каждом его движении постояльцы поднимались и хватались за сабли.

Владея французским языком, Алексей Иванович разговорился потом с гостями. Они признавались ему, что поход им не по сердцу и дерутся они не по своей воле. Пока оставались в доме Алексея Ивановича, они защищали его добро, гоняли солдат, являвшихся поживиться. Но с отлучкой их начался грабеж, кончившийся тем, что вытащено все, что могло быть унесено. Тем временем вспыхнул пожар, разлилось огненное море; кухарка ушла и пропала; стало нечего есть: нужно было думать о спасении. К тому же Верещагину-отцу отправился Алексей Иванович: староста был единственная знакомая душа в окружности, оставшийся частию по своим церковным обязанностям, а главное по милости сына. Выходить за свой околоток поискать других знакомых или родных было страшно: убьют (отнять уже нечего было), не то сгоришь; в самом милостивом случае обратят в возовую лошадь, заставят нести тяжести. Верещагин предложил Алексею Ивановичу отправиться вместе с ним на его завод. Оставалось только благодарить, и они вышли пешком в Рогожскую или Проломную заставу; Алексей Иванович — в старом худом подряснике и в кухаркиных опорках.

ГЛАВА IX
ДОМАШНЯЯ ШКОЛА

Я был младшим в семье, «поскребышем», как называл меня отец с улыбкой прихожанам, «Давид Иессеев», как шутил со мною Иван Евсигнеевич: старший брат обогнал меня на двадцать один год и ко времени рождения моего уже оканчивал курс; ближайшая по возрасту сестра была старше меня тремя годами.

Первое воспоминание мое имеет некоторое отношение к книгам и к школе. Летний день, в светелке, рядом с топлюшкой, окна открыты; за столом сидит несколько ребят; пред ними книги. Ближе к окну висит люлька, и в ней я сижу. Очень живо представляю себе эту люльку и набойку с заплатами, на нее натянутую, веревочки, привязанные к тому же, должно быть, крюку, на котором висит люлька. Я сижу, держу в руках веревочку, раскачиваюсь и распеваю «ла» «ла» «ла», изображая звон и воображая в себе звонаря. Когда это было? Неужели я еще спал к тому времени в люльке? Только мне не было еще четырех лет во всяком случае.

Ребята с книгами, это — школа, домашняя школа. Мать была «мастерица», бравшая детей на выучку грамоте и передавшая это ремесло сестрам, которые одна за другой наследовали звание «мастериц». Приходское и уездное училища были в городе, но горожане отдавали туда детей неохотно. Кроме нашего дома, были школы и у других из духовенства. Славилась особенно школа Николая Матвеевича, дьячка от «Николы в городе». Я видал эту школу, когда у Николая Матвеевича квартировал мой брат, учитель, с которым мы скоро познакомимся. То была настоящая школа, с партами в несколько рядов; ученики считались десятками, и Николай Матвеевич выучкой составил себе состояние; он слыл богатым дьячком. Учительский гонорар послужил и для моих сестер главным фондом, из которого составились их приданые.

Курс состоял из чтения и письма, не далее. Учились по славянской, синодской азбуке; за нею следовал Псалтырь, у некоторых еще Часослов (пред Псалтырем, непосредственно после азбуки); затем письмо. За выучку положенная цена: пять рублей за азбуку, десять за Псалтырь, десять за письмо; за Часослов прибавлялось пять рублей, — всё на тогдашние ассигнации. Способ учения был первобытный. Давалась указка в руки; ученик или ученица крестился, «мастерица» начинала: «аз, буки, веди, глаголь, добро». Это повторялось несколько раз. Дни,

недели, месяцы проходили, пока доползет дитя только до ижицы, то есть кончит алфавит. Затем «склады» и «титла», потом знаки препинания: «оксиа, исо, вария, кавыка, звательцо, титло» и пр. Объяснения никакого. Смысл читаемого едва ли понятен был самим мастерам и мастерицам, по крайней мере в упомянутом перечислении знаков препинания. Спросить, что такое «исо» или «вария» и зачем это учат, — никто бы не ответил. Даже изучение складов совершалось механизмом самым неосмысленным. Читали, и сама мастерица или мастер начинали так: «буки-аз-ба — ба», «веди-арцы-аз-ра — вра». Словом, вся процедура перечисления букв до окончательных вра или ба (последнее притом еще повторялось) производилась задаром. В учащемся, при произношении этой тарабарщины, не проходило соображения, что это, мол, отдельные буквы и если-де их приставить одну к другой, то выйдет вот что. Последствие было бы то же, может быть учащемуся было бы даже легче, когда бы заставляли его просто читать: «ба» или «вра». Смысл складов доходил бы до сознания другим путем, а не тем, которым доводили. Живо это помню по себе. Я читал, помню, так (и все так читали): «буки, Бог, Божество»; это значило, что титла расположены были в азбучном порядке и начинались «Б. Бог, Божество». Б. было заглавием строчек, в которых слова с титлами начинались этою буквой: и это заглавное название буквы все-таки заучивалось. Но так повелевалось преданием.

В той же азбуке за славянскими буквами следовали гражданские, и за славянскими складами и молитвами несколько страниц гражданской печати с нравоучениями, начинающимися: «Буди благочестив, уповай на Бога и люби Его всем сердцем». У нас то и другое пропускалось, равно и катехизис (церковно-славянскими буквами), следовавший за азбукой и начинавшийся словами: «Вопрос: отчего ты называешься христианин?» Выучившиеся читать и сидевшие на Часослове и Псалтыре лазили иногда в азбуку, смотрели и нравоучения, и катехизис. То и другое породило шутки, переходившие по преданию. Так, начало катехизиса передавали следующим образом: Вопрос: отчего ты бос? Ответ: лаптей нет. Символ веры и молитвы в азбуке выучивались, но тоже без понятия, как и склады, титла и знаки препинания. «Чаю воскресения мертвых»… Что такое «чаю», я не понимал и не находил нужным спросить; только недоумевал о подобозвучии «чаю» с чаем. Разумение читанного не входило в программу учащегося. Грамота представлялась механизмом, который нужно одолеть, — и все тут.

Издали, летом, когда окна открыты, можно было «слышать» школу (которая, впрочем, этим именем никогда не называлась).

Дети твердили нараспев особенною, традиционного интонацией. Сидит матушка или подле нее сестра. Возле мастерицы на столе или на лавке — плетка, неизменная принадлежность. «Ну, что, дети, стали?» И начиналось галдение, кто во что горазд, вроде звона на Ивановской колокольне. Один медленно читает: «живете… зело… иже… и». Другой: «веди-арцы-аз-ра — вра»; третий поет Псалтырь. Плеть употреблялась только как понуканье, никогда как сеченье. «Ну, ты, опять за свое!» — обращается мастерица к кому-нибудь, занимавшемуся пойманною мухой или пристающему к соседу со щипком либо щелчком. Удар плетью, и порядок восстановляется: ученики (учениц у нас почти не было) встряхивают обстриженными в кружок головами, и пение начинается. «Я вытвердил», — объявляет кто-нибудь и читает вытверженные три, четыре строки Псалтыря. Мастерица «начинает» далее, новый урок строки на три, не обращая внимания на смысл; уроки шли не по точкам, а по строчкам; не останавливались только в полуслове. Уроки «стверживались», то есть последний урок прочитывался вместе с прежним. Повторением пройденного неизменно начинался каждый класс: это называлось «читать зады». Приходит ученик, и если он стоит на Псалтыре, то, помолившись и усевшись, берет книгу и читает с начала той кафизмы, которую учил. «Васятка уже на пятой кафизме, а ты третьей не кончил; а вместе начали!» — говорит с упреком мастерица какому-нибудь Мишутке.

После двадцатилетнего запоя звуковым методом вопрос об обучении грамоте поставлен снова на очередь. Действительно, если сравнивать две системы, старую с «буки-арцы-аз-ра — бра» и новейшую, усовершенствованную, трудно сказать, которая из них заслуживает пальмы первенства по неудовлетворительности, хотя и в противуположных смыслах. Механизм обучения чтению был затруднен в старой дьячковской системе до последней степени. Как бы старание приложено было, чтобы возможно долее ребенок не овладевал первым шагом грамотности. Ныне, наоборот, механизм упрощен; но затем производится сбивание с толку дальнейшим мнимым облегчением, состоящим в скучном пережевывании того, что давно и без науки известно дитяти; в этом анализе того, что само по себе дается безо всякого напряжения; в этом предположении, что учитель имеет дело с полуидиотом. Старая школа, напротив, оставляла все на самодеятельность учащегося: прямо можно сказать, что его не учили даже; если он доходил до чего, то сам; учебник скорее был поводом, а не орудием к ученью. Понятно, учась без малейшего облегчения и вспомоществования, немногие, очень немногие достигали цели, которую предполагает ученье; большинство

останавливалось на механической грамотности. Но то же с новейшею школой. Зато из старой выходили начетчики, любители чтения, и притом для которых славянская и русская книги были одинаково доступны по смыслу и из русских нетрудны даже при самом отвлеченном содержании. Мне приходилось наблюдать за вышедшими из теперешних школ грамотности: любви к чтению прививается во всяком случае не больше, чем после старой.

Само собою разумеется, я не проповедую возвращения к буки-аз — ба, но думаю, что излишние помочи и разжевыванье скорее вредны, чем полезны; что всегда нужно оставлять уму место для труда, для углубления, и притом по собственному побуждению. В этом, между прочим, смысле я стою за начинанье церковною азбукой, а не гражданскою. После церковной азбуки гражданская дается сама собой, ей не нужно учить, тогда как переход от гражданской к церковной требует особого ученья. И первоначальное чтение опять должно бы быть церковно-славянское, и именно потому, что язык затруднительнее. Облегчите механизм чтения, но заставьте преодолевать, не без внешнего пособия, а все-таки преодолевать невнятное содержание читаемого. При начатии чтения с церковно-славянского в уме дитяти происходит приблизительно процесс, переживаемый умом при обучении классическим языкам. В таинственной лаборатории ума недоведомо производится сличение понятий и форм одного языка с понятиями и формами другого, работа формального умственного развития, — развития, заметьте, самостоятельного.

По выучке чтению приступали к письму; оно начиналось выводом букв по написанному мастерицей. Мастерица также «начинала», писала строку и более. Пропись на столе. После механического обвода букв, начертанных чужою рукой, ученик должен был выводить сам, и когда пройдет всю азбуку, списывает с прописей, как там назначено, сперва по крупному, потом по мелкому, красующиеся там изречения.

Занятие учениками не мешало мастерице заниматься своим делом, шитьем, вязаньем чулка, плетением кружев. Приходила гостья, завязывались разговоры, ученики навастривали уши. «Ну, вы опять стали? Чего вы!» И снова встряхивают головами мальчишки, и снова начинается пение или причитание, не знаю, как назвать точнее.

Тот же процесс и мною пройден, только без письма. Письмо осталось пробелом, по обстоятельствам, от меня не зависевшим. По преданию, как подобало, 1 июля, в день Космы и Дамиана, посадили меня за азбуку. (Почему дни Космы и Дамиана, июльский и ноябрьский, признаны в народе законными к начатию ученья, недоумеваю до сих пор. Мальчиком, не знаю с чьих слов,

я рассуждал, что правильнее бы начинать ученье 1-го декабря, в день пророка Наума, потому что он наставляет на ум). Предварительно была куплена азбучка в красненькой обложке (отец выбрал какая покрасивее); куплена костяная указка с петушком, немножко даже подмалеванная в ручке. Отец велел отпереть церковь и повел меня. Поставил меня на солее пред местной иконой и сказал, чтоб я молился; затем прочитал несколько молитв. Полагаю, что он служил молебен, хотя и без дьячка (которого трудить не хотел, конечно, для частного дела), потому что покрыл меня епитрахилью и читал что-то, очевидно Евангелие. Я наклонил голову по приказанию и рассматривал в это время отцовский подрясник. Пришли обратно в дом, и меня посадили за азбуку. Далее пошло обычным порядком.

Нет, не совсем обычным. Ученики приходили утром, часов в восемь, отпускаемы были обедать часов в двенадцать, возвращались и распускаемы были окончательно к часу вечерен. Меня же учили и не в учебное время, может быть, потому что в учебное время менее мною занимались. Раннее, раннее утро. Сижу на лежанке, и мать подает мне кашу для завтрака в глиняной муравленой чашке. «Ну, теперь азбучку возьми». Помню ее, с покрытою непременно головой, в зеленом с коричневыми полосками сарафане, весьма, весьма полинялом. Или вечер. Почти все на печи. Я с азбукой. «Да ну же; а вот я тебе приготовила», — и показывает винную ягоду. В письме к брату, случайно сохранившемся, отец упоминает о подобном обстоятельстве. «Разбирает, — пишет он, — слова премудреные Буки, Бог, Божество и охотно учится, когда ему обещают какую-нибудь гостинку». Гостинки были редкость, и они были не купленные, — остатки свадеб. Свадеб две, три в год все бывало в приходе; неизменно приглашались батюшка с матушкой. Из лакомств, которые подавались, два, три мятные жемка, винные ягоды, чернослив, иногда финик приносились матушкой и запирались в шкаф впредь до случая полакомить из детей кого-нибудь.

Кроме ласк действовали и страхом. К окнам подходил иногда Калина, нищий старик, за подаянием. Ему подавали, а на меня почему-то страх нападал при виде его сумы и палки: так и представлялось, что вот возьмет он меня, посадит в суму и унесет невесть куда. «Погоди, вот Калина придет, отдадим тебя!» Это была сильная угроза.

Но пятый год прошел, прошел и шестой, четвертый месяц истекал и седьмого. Писать меня не начинали учить. К тому времени матушка захворала. Канун нашего храмового праздника, 14-е сентября. Торжественная всенощная, насколько в состоянии

придать себе торжества уездная церковь. Приглашался дьякон (причт не имел своего дьякона); являлись какие-то сборные певчие, то есть просто мещане-любители. Матушка отстояла всенощную. Легли спать. Я спал с ней ночью; я попросился. Она встала и босиком проводила меня в сени. На другой день она почувствовала себя дурно. Поражающую противоположность представляли хлопоты около больной при праздничном виде погоста, раздраженных богомольцах, торжественном звоне. Но ей было худо. Накидывали горшок, прикладывали к животу пареное семя льняное. Явились откуда-то знахарки и советницы. Матушка слегла окончательно.

День ото дня ей делалось хуже. Доктор. В первый раз я увидел аптечные пузырьки, впрочем не с хитрым лекарством. Врач, несмотря на свою докторскую степень, полученную, как говорили, по протекции дяди своего, профессора Мудрова, немного, должно быть, разумел. Кроме мятных и гофмановых капель и магнезии, помнится, не прописывалось ничего. Магнезия нас с сестрой (младшею) поразила, и мы находили вкусным ею лакомиться. А о мятных и гофманских каплях, как о лакомстве, просили старших сестер, чтоб они накапали на кусочек сахара и дали нам.

Болезнь усиливалась; по нескольку часов матушка кричала во весь голос. Мы притаивались, забирались все в топлюшку, и мрачный отец молча щепал сухое полено, приготовляя спички; они будут потом обмакнуты в серу. Раз мы выбежали с сестрой на двор, взяли корытце, из которого кормят кур, поставили его на голову, понесли и запели «Со святыми упокой» или «Святый Боже». «Ах вы, бесстыдники, расстрелы, что вы делаете! Смерть на мать накликаете!» — крикнула на нас тетка. А мы решительно не понимали, что делали и почему. Корыто было брошено.

Плохо, несдобровать. Начинают говорить, что приметы дурные, воробей влетел в церковь. Дано знать родным в Черкизово. Приехали к больной старшая сестра (вдова Василия Михайловича) и племянницы. Матушка потеряла язык, поманила проститься; крестила, взяла свою руку и, пересчитав пальцы по числу детей, с особенным выражением пожала означавший старшую сестру. Двадцати одного года оставляла она ее, давно невесту. При бедноте, при отце-ребенке в практической жизни, удастся ли ей пристроиться? Не могла не тосковать ввиду темного будущего любящая душа матери при отходе в другую жизнь.

Затихло что-то, никого нет, пусто. Я иду в светелку; там есть, я знаю, лепешки, оставшиеся от праздника. Подхожу к столу, выдвигаю ящик, протягиваю руку… Вдруг слышу прикосновение к

плечу и тихий голос отца: «Иди, мать умирает». Окруженная детьми и родными, мать напряженно и редко вздыхает. Еще реже… еще… Последний вздох. Секунда, и дом огласился криком. Тетка и замужняя дочь ее сорвали повойники, рвали волосы, колотились головой о притолку. Мои сестры плачут, и я тоже.

Тяжелая картина, тяжелое воспоминание! Отец стоял молча; глаза его увлажнились, и он вышел.

Чтение Псалтыря по матери-покойнице не миновало Ивана Евсигнеевича. Помню гроб из дубовой колоды, подсвечники около него, похороны с поразившим меня видом сестер, одетых в черное, с головой, обвязанной белыми платочками, отца, стоявшего в церкви наряду с прочими, не в качестве священнослужителя; служили другие. Отнесли матушку на кладбище, и читателям памятен мой вопрос кучеру: «Куда это маменьку несут?»

Пока тело лежало в комнате, ночью мы приносили скамейку с сестрой и открывали у покойницы глаза, эти прекрасные большие голубые глаза. Иван Евсигнеевич, при всей ласковой почтительности, с какою всегда с нами обходился, отогнал нас, пристыдил и положил покойнице по медной монете на каждый глаз.

Уныло, похоронно потянулись дни. Жизнь не могла наладиться. Приглашена тетка Марья Матвеевна заменить мать в стряпне; так она и осталась. Приехал средний брат, только что кончивший курс в семинарии, но пробыл недолго. Во мне он оставил по себе тогда воспоминание только своим необыкновенным картузом, с чрезвычайно длинным козырьком, не круглым, а четырехугольным; после, чрез несколько лет, козырек обрезали и дали мне картуз донашивать. Вскоре наступила холера. Тарелки с хлорною известью, разложенные по углам, распространяют острый запах. Из Москвы от старшего брата получались протыканные письма и с вестями одна другой мрачнее. В довершение бед сваливается отец.

Когда лежал больной отец на той самой постели, в боковой комнате, на которой скончалась мать; когда мы садились вечерами около него и прислушивались, не попросит ли он ослабевшим голосом чего-нибудь (обыкновенно клюковного морса или сухарной воды): только тут я оценил, что такое смерть, ощутил, что значит потеря близкого, а особенно главы дома, единственной опоры существования семьи. «Что, если тятенька умрет тоже?» При этом мысленном вопросе вступал такой ужас, обнимала такая непроглядная темь безнадежного будущего, что и теперь не могу вспомнить об этом чувстве без трепета. Куда мы

денемся? Чем будем жить? Что с нами будет? Туманилась детская голова, и я боялся заглядывать даже сестрам в глаза. Страх беспомощности, чувство безнадежности так глубоко проникли меня тогда, что не знаю, представляет ли кто живее меня подобное положение, когда рассказывают о других. Вот что содействовало, между прочим, укоренению моих основных социальных воззрений. Изучение историческое и философское только подкрепило вывод, встававший в виде призрака предо мной, еще шестилетним ребенком. Обеспечение быта единиц должно быть положено в основу общественного устройства, при свободе и обязательности труда. Беспомощных сирот не должно быть, ни в виде малолетних, ни в виде взрослых. Самый труд, то есть способность к труду, может и должен быть капитализован. Капитал происхождением своим прежде всего обязан именно стремлению человечества застраховать себя от случайностей. Но к страхованию себя способен и труд. Капитал в своем понятии не предполагает непременно ограничения определенным видом, и в этом смысле попытка к великому мировому шагу совершается в настоящее время Бисмарком; попытка нерешительная, в некоторых отношениях жалкая, тем не менее великая.

Я уклонился однако. Батюшка выздоровел. Прошла зима, пришла весна. Жизнь воротилась на старое. Старшая сестра в верховном хозяйстве дома заменила мать, а равно в мастеричестве. Меня посадили снова не за азбуку уже и Псалтырь, а за письмо. Но письму стали учить по-новому, по-ученому, заставляли писать «палки» по настоянию брата. Ученье шло с перерывами; от палок до букв я едва доплелся к той поре, когда летом жалоба сестер вызвала смутившее меня слово: «А вот я его отведу в семинарию».

ГЛАВА X
ПЕРВЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ ИСКУС

После обеда отец велел мне одеваться. Это значило, что я должен был надеть сапоги, сюртучок и взять картуз. Сапогов я обыкновенно не носил и не любил носить. Даже после, в училище, с удовольствием по выходе из класса снимал их и брал под мышку. В летнее время особенным наслаждением для меня было шлепать голыми ногами по горячей пыли или брать настоящую ножную ванну, не пыльную, а водяную. Против нашего дома река по мелководью была перепружена вдоль плотиной. По сю сторону от плотины мелко, и вода в летние дни почти горячая; как приятно, засучив брючонки, ходить в этой воде и шлепать по воде длинным прутом!

Мы заворотили за угол, прошли улицу, повернули направо, вступили Пятницкими воротами в Кремль, дошли до собора и повернули против него в отворенные большие ворота, над которыми — икона, обвешенная гирляндой завядших цветов, и какая-то надпись, извивающаяся лентой. Налево тянулось длинное двухэтажное здание, направо — такое же, только меньшей величины, квадратное. Последнее, во время епархии, служило помещением для консистории. Во дворе у этого дома по стене хоры, то есть галерея, и в ней лестница. Она была очень обыкновенная, двойная, но меня поразило и долгое время поражало: как это, налево ли пойдешь, направо ли пойдешь, все придешь к одному? Поднялись в верхний этаж и вступили в длинную залу, показавшуюся мне огромною. Бросился в глаза потолок, на котором изображена какая-то птица с венком вокруг. Подобного я еще от рода не видывал; великолепие я мог измерять только своею церковью, а она только побелена, придел только покрашен. Длинные, черные скамьи стояли по обеим сторонам, двоякого вида: скамьи низенькие и узкие, и скамьи высокие и широкие. Класс был пуст, и лишь на одной из высоких скамей лежал брюхом малый годами четырьмя, пятью меня старше, в зеленом нанковом сюртуке. «Где Иван Васильевич?» — спросил его отец. Едва повернув голову, школьник указал пальцем дверь, в которую мы было вошли. Мы повернули обратно, прошли в другую дверь, в другой стороне дома. Вступили снова в класс, меньшей величины и со скамьями уже некрашеными. Класс, в который мы вступили, был «приходским училищем», занимавшим четверть этажа. Первая зала, в которую прежде попали, была «Низшее отделение уездного училища», занимавшее половину

этажа. Из приходского училища между парт направились мы к двери, противоположной с тою, в которую вошли. Здесь две комнаты, и одна из них принадлежала Ивану Васильевичу Смирнову, учителю приходского училища, к которому меня вели, а другая — Ивану Макаровичу Дроздову, учителю Низшего отделения. Итак, учительские квартиры, то есть по одной комнате у каждого, помещались между двумя классами: ход и выход у них только чрез класс. Но мне все казалось великолепным и несколько даже страшным.

Ласково встретил меня Иван Васильевич, двоюродный брат, сын Василия Михайловича. «А, что, попал!» — сказал он, поцеловавшись со мной. Ребенком Иван Васильевич сам был у моих родителей вместо сына. Учась в училище, он жил у нас. Иван Васильевич посадил меня за свой стол, обитый зеленым сукном, со шкафчиками взади, дал в руки книгу и сказал: «Вот, выучи». Это была «Российская грамматика», и задана была мне вся первая полная страница. Иван Васильевич растолковал, как нужно учить: «Сперва прочитай вот до точки; потом снова прочитай; потом отложи книгу и попытай прочитать, в нее не глядя». Драгоценное наставление! Многого ли оно стоило? Но не все были так счастливы, чтобы получить его. Как учить наизусть? Вопрос, по-видимому, не мудреный, но добрая половина ребят именно этого-то и не знали, и не выучивали урока, несмотря на старание, или же осиливали его долбежкой, утрачивая смысл. Большинство учили, не прочитывая до точки и даже до запятой, а приступали к учению так: «Грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть» и т. д. раз сорок, может быть сто. Потом: «Грамматика есть наука, есть наука, есть наука, грамматика есть наука…». И весь курс, всю училищную жизнь продолжался потом тот же способ! Можно прозакладывать что угодно: большинство отставших и затем совсем отвалившихся не двинулись просто потому, что не умели учить. Лет чрез пять, во время моей школьной славы, останавливал я иногда ребят, своих одноклассников; брала жалость при виде, как они долбят, наклонившись над книгой и зажав уши. Растолковывал им, повторял драгоценное наставление Ивана Васильевича. Тщетно! Складка уже образовалась и расправить ее было выше сил чьих бы то ни было. Послушает тебя, попробует, но потом бросит. «Нет, трудно, так лучше, так я привык. Грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть…» Боже, сколько, может быть, дарований пропало, сколько сил загублено, и от такой пустой причины!

Отец распростился с Иваном Васильевичем и оставил меня со словами, обращенными к учителю: «Секите его больше».

Замечание это мне не показалось. «К чему это? — сказал я себе. — Добро бы сам меня часто сек!» Сек он меня действительно редко, хотя и метко. Разумеется, это размышление осталось при мне; я углубился в книгу, а Иван Васильевич ушел в класс, где уже начинали мало-помалу галдеть. Отец меня привел:

1) во время обеда, и потому мы никого не застали, кроме зеленого сюртука;

2) не в урочное время года, не осенью, когда начинается ученье, а пред вакацией, и потому я не посажен в класс, а оставлен в учительской комнате; «запишут» меня осенью.

Со страхом я принялся учить, но, к великой радости и несказанному удивлению, одолел очень скоро. Иван Васильевич рассчитывал занять меня на все время до своего возвращения, а я освободился живо. В ожидании моего ласкового брата, я начал осматриваться, вслушиваться. Из следующей учительской комнаты (Ивана Макаровича) ведет тоже дверь, но в другой класс, «Низшее отделение», туда, куда мы вошли было с отцом сначала и где мы видели зеленый сюртук. Дверь заперта, в нее нет хода. Прислушиваюсь, и холод обступил меня. Я услышал крики о пощаде. «Секут». О сеченье я слыхал, сделалось страшно. Но скоро звонок пробил. Иван Васильевич вошел, спросил, сладил ли я с уроком. Я ему отвечал. Он прослушал меня и сказал: «Молодец! ты будешь отлично учиться». С восторгом, не слыша земли под собой, я побежал домой, забыв даже о смутившей меня розге, звуки которой до меня несколько минут назад доносились.

Это почти было гулянье, а не ученье. Я приходил, легко выучивал уроки и уходил счастливый. Скоро я был совсем отпущен; подходили экзамены; Ивану Васильевичу было не до того. «Вот, — думал я, — настала воля!» Но я ошибся. После экзаменов отец упросил Ивана Васильевича, чтоб я ходил к нему ежедневно, даже во время вакаций. Брат согласился, и я ходил к нему уже на другую квартиру. Вместе со мной приходил еще мальчик, из купеческих детей, которого отдали учить моему брату, между прочим и французскому языку. Мое ученье шло легко. Брат редко даже бывал, иногда поручал мне нарвать травы для кроликов, которые у него были. Это исполнялось с удовольствием. Кремль был не мощён, и в самой его середине, пред собором, был лужочек. Я выбегал туда щипать траву, бегал и подальше, приносил целую полу и кормил кроликов.

В чем состояло мое ученье, не умею и сказать. К сентябрю меня записали настоящим образом в училище, поместив во второй класс. Это означало, что я умею читать и писать. Но это несправедливо: писать я положительно не умел и, когда приходилось, царапал каракули не то письменные, не то

печатные.

Второй класс помещался с первым в одной зале: второй на правой стороне, первый — на левой. Я вступил в товарищеский мир, в стадо. Оно различалось, во-первых, по шерсти: были затрапезники, были нанковики, были в брюках и без брюк. Поправлюсь: в брюках был только я один, потому что лишь я один оказался городским. Затрапезники принадлежали к казеннокоштным. Вообще беднота, так что я даже, при всей недостаточности отца, был из богатых. Зимой на всех нагольные тулупы, которые в классе не снимались; на мне была заячья шубенка, и притом крытая; я был аристократом. Суждения, самые телодвижения поражали меня грубостью и цинизмом. Крик, вечные драки кого-нибудь с кем-нибудь, это было не по мне. Я почувствовал себя одиноким; да притом все были старше меня. Лишь один школьник возбуждал мое сострадательное сочувствие, которого я не осмеливался, однако, показывать. Я за него страдал молча; это был Иван Лосев, первоклассник, следовательно, сидевший еще на чтении и письме. Как сейчас вижу его. Он был беднее всех: у него не было даже тулупа, даже сапог. Он одет был в простую крестьянскую свиту с рукавами, помню, отороченными кожей; мужицкая шляпа и лапти довершали убранство. Над беднотой его не смеялись, но смеялись над его возрастом; вероятно, ему было лет девятнадцать. Насмехались над тем, как он женится, как будет службу править; «приводи к нам своих детей». А он был необыкновенно кроток, ласков, услужлив; улыбался в ответ на грубые шутки, вызывался на услуги — достать что-нибудь из другого угла, поправить завернувшийся подол тулупа, разлиневать бумагу. Я страдал за него, но не мог подать голоса, потому что рисковал получить клочку, на которую не в состоянии дать сдачу по молодости и малосилию.

По тем же причинам молодости и слабосилия редко выходил я и на двор училища и лишь с завистью смотрел на игры и беготню, в которых не мог принять участия, между прочим, и потому, что в грубом ухарстве, которыми игры сопровождались, не находил себя в состоянии участвовать. Тон этого стада, в которое я вступил, был совсем не тот, к которому я привык в теплом гнездышке среди сестер.

Не знаю, доплелся ли кто-нибудь из тогдашних моих одноклассников до окончания семинарского курса, переполз ли даже кто через училище. Сомневаюсь. В приходское училище попадали только дети дьячков или полные сироты. Прочие учились по «билетам». Такова была разумная льгота, предоставляемая родителям. Сохранена ли она доселе, не знаю, но это был дельный порядок, облегчавший учителей, а вместе

дававший ребятам подготовиться основательнее, нежели возможно в школе, среди сотни сорванцов. Родители все прошли тот же курс, учились многие в свое время лучше теперешних учителей: педагогия рачительному отцу не могла быть трудною. Такое домашнее подготовление дозволено было для всех классов училища вплоть до семинарии, и понятно, чем моложе класс, тем более бывало билетных. Какой отец не в состоянии дома обучить ребенка чтению и письму, посвятив в русскую этимологию, преподать начатки Закона Божия и арифметику простых чисел? А в этом и состоял курс приходского училища, и еще в нотной азбуке. Дальше уже пойдет латинская и греческая премудрость, в которой не всякий родитель мог чувствовать себя достаточно сильным.

Год в приходском училище прошел, я и не видал как. Я был лучшим учеником; все давалось мне легко, благодаря хотя и кратковременной, но предварительной подготовке. Пред каждым роспуском (на Святки и Святую) были экзамены, производимые торжественно смотрителем в присутствии учителей. Я скажу об этих порядках впоследствии, а здесь упомяну о том лишь, что в воспоминаниях осталось исключительно от этой нижайшей ступени училища.

С приближением роспусков на Святки и Святую ребят не столько занимал предстоящий экзамен, сколько перспектива самого роспуска и лепешки, ожидавшие в деревне вместе со славлением. И в тот, и в другой роспуск они соберут по приходу несколько грошей, а в Светлую неделю сверх того и целый короб яиц. Собирались кучами, толковали, кто как пойдет, с кем. У иного, может быть, есть земляк из синтаксистов (учеников Высшего отделения), надежный путеводитель и руководитель. Присылка лошадей из дома редкими предполагалась, да те и не участвовали в совещаниях. Передавалось о препятствиях, грозящих на дороге, злых мужиках, иногда попадающихся, зажорах на дороге в оттепель. А то хорошо, кабы нагнал знакомый односелец, возвращающийся с базара!

Мне нравится, как вспоминаю об этих малолетних митингах теперь, эта выковка характера, эта самостоятельность, к которой приучается мальчуган с девяти, десяти лет. Живет он здесь в общине, состоящей из таких же малолетков, как он, а то много тремя, четырьмя годами старше, — общине, в которой он есть равноправный член с другими. Но вот приходит ему путь-дорога, и он, надевая за спину котомку со скудным бельем, отправляется верст за тридцать, сорок, сперва сопровождаемый одноклассниками, вышедшими в ту же заставу, затем одиночкой, чрез леса, буераки, речки и овраги, надувшиеся и шумящие пред

водопольем. Вот это help yourself: оно есть, было, по крайней мере и у нас, и именно в том звании, в котором я родился. Пройти малютке пешком, с парой сапог и котомкой за плечами, сорок, тридцать верст, — это целая школа.

Ввиду радостного отпуска особенную прелесть для ребят получало писание для себя отпускных билетов. Это было некоторым священнодействием, а кстати, оно же было своего рода экзаменом. Каждый отпускаемый на родину обязан был написать себе билет, который будет представлен для подписи смотрителю. Живо представляю формат этого билета: он писался не вдоль листа, а поперек; чтобы строки не выходили очень длинны, загибались с обоих концов поля, сходившиеся между собой, если сложить их. У меня сохранилось воспоминание о двух мучительных чувствах, которые я тогда испытывал: во-первых, боязнь, что придется и мне писать билет, а писал я хуже последнего лавочника; во-вторых, меня мучило недоумение о первых словах билета: «Объявителю сего (такому-то)». Почему объявителю сего? Надобно: объявителю сему. Помнится, я обращался даже к учителю, доброму Ивану Васильевичу, и он, помнится, даже объяснял, что разумеется тут билет; но все-таки не мог я в толк взять и про себя продолжал быть уверенным, что это что-то не так, смысла нет.

Тщательно, щегольски, насколько умел кто, писались билеты; показывали друг другу, хвалились, кто лучше. Не жалели гроша, чтобы купить лучший лист бумаги; свинец очинивали (карандаши были роскошь недоступная) тщательнейшим образом.

Несмотря на мои беспокойства, билета мне ни разу писать не приходилось, и еще не приходилось ни разу сдавать экзамен и даже быть спрошенным из одного предмета, который, однако, стоял в программе — из нотного пения, и я переведен был в следующий класс, в «уездное» училище, с самою отличною аттестацией. Не был ни разу я и сечен, да сколько помню, не был ни разу высечен в течение года никто, хотя лозы и готовились аккуратно к каждому дню. Ребята объясняли эту благодать тем, что уже год как поступил к нам на место Иродиона Степановича новый смотритель, Василий Иванович Груздев. Прежняя патриархальность бывшего чтителя конклавов отменена, и между прочим, как слухи носились, у учителей отнята власть сечь. Секут, но только по разрешению смотрителя, и сечет не «секутор» из учеников, а солдат Давыд. С почтением посматривали поэтому на Давыда, а бурсаки делились с ним ломтями хлеба. Но толкования были лишь отчасти основательны. Дело в том, что Иван Васильевич сам по себе был мягкий человек, и притом с тем чувством порядочности, которого так часто недостает у

«вахлаков». По окончании курса он жил некоторое время у князей Черкасских учителем побочных детей Александра Борисовича (Борис Михайлович уже умер). Вот отчего нам было всем легко, а мне, как родственнику, и тем легче перейти первый школьный искус.

ГЛАВА XI
КОНСТИТУЦИЯ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ

Хотя училище, в которое я поступил, состояло из двух, приходского и уездного, и последнее из двух отделений, Низшего и Высшего, как приходское из двух классов, первого и второго, и хотя употреблял я эти названия в предшедшей главе, но они ученикам были почти неизвестны. Нам были известны: 1) Бурса (первый класс приходского училища, одногодний), 2) Фара (второй класс, тоже одногодний), 3) Грамматика (Низшее отделение уездного училища, двухгодичное), 4) Синтаксия (Высшее отделение, опять двухгодичное). Названия шли со старых времен, когда еще была семинария. Почему первый класс назывался Бурсой, тогда как это слово есть название не класса, а общежития; почему второй класс назывался Фарой и откуда самое это слово, предоставляю разыскивать другим. Названия Грамматика и Синтаксия соответствовали курсу старых семинарий; старые семинарии, в свою очередь, были сколком с западных школ. В средние века на Западе быть ученым и знать по-латыни было однозначительно; ученая литература была исключительно латинская, общая всей Европе, как и римская вера, официальным языком которой был латинский же. Отсюда школа имела задачею прежде всего обучить по-латыни, открыть дверь, ведущую в храм премудрости. На основании этого расположилось и преемство классов в таком порядке: Грамматика, Синтаксия, Поэзия, Риторика.

Латинский язык (или, по-теперешнему, классическое языкознание) признаваем был орудием знания; самостоятельную образовательную силу классических языков выразумели уже позднее. Сами учителя старой школы, подвергая посредством латыни ум учеников гимнастике, не думали о том; они старались только обучать языку.

Духовная школа поэтому совсем несоответственно носила название духовной; она была общеобразовательная, более даже отвлеченная и менее специальная, нежели всякая другая. Латынь была в ней средоточием курса, как во всякой другой школе, и притом по всей Европе. Но она была сословная, и это клало на нее свой отпечаток и давало ей особенность. Отпечаток врезывался тем глубже, особенность выступала тем виднее, что преемственность школы не прерывалась: никакой полковник и никакой штатский чин не врывались в ее администрацию, и никакому новатору из других систем воспитания не давалось

вторгнуться в ее внутреннюю педагогию. Она шла как шла, с неизменными преданиями, одинаково святыми, прибавлю, для учителей, для начальников, для учеников, для родителей, ибо все они прошли тот же, совершенно одинаковый путь, вышли из того же быта, с теми же привычками и с одинаковыми бытовыми воззрениями.

Внешние распорядки школы, в которой я учился, хранили ту же печать старины, наравне с внутренним строем учения.

Каждый класс имел цензора, авдиторов и дневального. Дневальные назывались некогда эдилями, но к моему времени наименование утратилось. Цензорами и эдилями воспроизводилась в школьной корпорации Римская республика. Предание сказывало, что бывали в числе должностных лиц некогда еще квесторы; в чем их состояла обязанность, до меня не дошло. В мое время у цензора, обыкновенно первого ученика, был классический журнал, в котором отмечалось, чем учитель с учениками занимался в классе, кто из учеников не явился и почему; наконец, часть страницы назначалась для отметок: «которые в классе резвились». Последняя графа в большинстве оставалась пустою; нужно было случиться необыкновенному происшествию, вроде разодрания у кого-нибудь одежды или залития казенной вещи чернилами, чтобы попасть в «резвившихся». Журнал подписывался учителем и ежедневно подавался цензором смотрителю.

У цензора, сверх того, была нотата — разлиневанный лист с фамилиями учеников и с клеткой для каждого числа, в которой вписывалось, кем как выучен урок. Какие отметки употреблялись в Фаре, хотя чуть ли не было нотаты даже в моих руках, я не припомню теперь; но в дальнейших классах писалось: sc, ns, er, то есть scit, nescit, erravit (знает, не знает; ошибался). На отсутствующих писалось abs или aegr (то есть absens, отсутствующий, или же aegrotus, больной, когда известно, что отсутствует по болезни). Sc или, по ученическому выговору, сит — вожделенная отметка. «У него во весь год только одни ситы и есть», — говаривалось о ком-нибудь с благоговением.

Отметки в нотату вносились «авдиторами», то есть лучшими учениками, между которыми разделен был класс и которых обязанность была выслушивать ученические уроки пред приходом учителя. Сами авдиторы тоже «слушались» у другого кого-нибудь.

«Дневальный», по-старому «эдиль», о, эта должность замечательная! На ней чередовались поденно все, начиная от первого до последнего. Обязанность дневального — подмести класс, а для этого иметь в запасе метлу; иметь наготове мел и тряпку (не губку, о которой понятия не имели), и наконец, на

обязанности же дневального лежало приготовить «лозы» (розги). В течение шестилетнего курса ни разу не приходилось мне нести фактические обязанности дневального, хотя по очереди я и числился наряду с другими. В первые три года подступающая очередь всегда повергала меня в беспокойство: где я возьму метлу или лозы? Но судьба постоянно меня избавляла, потому что в каждом классе были бескорыстные любители дневальства, для которых приготовить метлу и лозы было своего рода страстию. Он пойдет в лес, выберет самые гибкие, самые плакучие ветви, устроит метлу и в особенности совьет лозу артистически, щегольски, художественно. Пусть, между прочим, на свою спину, но охота не теряла от того своей прелести. Она бывала уделом тупых к учению мальчуганов, но из них были мастера на все руки. Они были прекрасные рыболовы; благодаря им бурса лакомилась иногда раками, для ловли которых тот же любитель дневальства доставал обруч и переплетал его крест-накрест мочалами. С приближением зимы охота за синицами; у иного есть пара голубей, за которыми он ходит с нежностью матери. Класс для него такое же дитя. Не углубляясь в науки, он ото всего сердца заботился тем не менее, чтобы классная комната была в наружном порядке, чиста и опрятна, насколько хватает идеала опрятности. Артист дневальства есть сиделка за больным. Не помню, в котором я был классе, но в бурсе заболел и умер один оспой. Нашлись добрые сердца, и именно из плохо учившихся, которые сидели около больного, ухаживая за ним, пропуская для того класс и подвергаясь опасности быть поставленными за то на колени (да, конечно, и ставили их). Такие люди всегда находились для каждого класса: их надобно было искать в конце списка, а в самой зале классной — среди вечно коленопреклоненных. И опять, как вспомню об этом, сколько способностей гибло от одного несоответствия их с обязательным курсом! Добрые сердца, смышленые умы, деятельная воля, подвижность всего существа, и идет звонить на колокольню среди снисходительного пренебрежения однокашников-товарищей и под более грубым презрением старших — попа, благочинного, не говоря об архиерее! А вышел бы и не звонарь.

Женские институты старого времени делились на отделения: первое, второе и третье. Каждое слушало свой курс, хотя из тех же предметов (за исключением третьего, курс которого, кажется, был ограниченнее).

Сколько я слышал, такое разделение отменено теперь. Но по-настоящему, при каждом училище должно бы быть место для отседа менее способных, пожалуй, и столь же даже более способных, но по другому роду развития. В неоднократных

беседах с покойным А.П. Ахматовым (бывшим обер-прокурором Святейшего Синода перед графом Д.А. Толстым), ввиду предпринимавшегося преобразования духовных училищ (последнего), я раскрывал ему эту мысль подробно, чуть ли не подал об этом даже записку. Устройство параллельных классов при семинариях и училищах, не на теперешнем основании полного равенства курсов, а именно с применением к различию способностей, не потребовало бы особенных расходов, а между тем повысило бы курс духовной школы, оставив для нее только отборные зерна, с тем вместе не оставив без воспитания, может быть, целую половину, для которой тяжела головоломщина. В том и заключалась жалкая особенность старой духовной школы, что умственная выправка, которую она давала, была не для дюжинных натур. Отсюда бьющая глаза противоположность: наряду с выдающимися умами, с оригинальными и глубокими мыслителями, с учеными, поражающими разносторонностью знаний, она выпускала олухов, невежд, за которых стыдно пред четырехклассниками гимназий; выпускала, заметьте, таких олухов по окончании курса наряду с Павским, Голубинским, Горским, Надеждиным.

Я два раза упомянул о бурсе. Была она у нас и в теснейшем смысле слова, то есть в виде казеннокоштных учеников, воспитывавшихся на «полном коште» и на «полукоште». При всей тогдашней моей неприхотливости я не мог входить без содрогания и оставаться долее нескольких минут в грязных и душных казармах, служивших помещением для бурсаков в нижнем этаже бывшей консистории. Особенно отличалась одна, почти лишенная даже света, который заслонен был стеной монастырского двора с одной стороны и стеной собора с другой. Грязи на полу не менее осьмушки вершка; по крайней мере половицы не были видны; по веснам и в дождливую погоду стояли лужи, стекавшие со двора (пол был ниже двора). На убогих кроватях (деревянных) подушки тиковые, с грязью опять настолько толстою и настолько долговременною, что лоснились. Не описываю внутренней жизни бурсаков, с которою незнаком. Но бурсаки казались мне вообще грубее своекоштных, потому ли, что набирались из такого слоя, полные сироты и дети сельских причетников, до семи или восьми лет не видавшие нравственных попечений; или потому, что, несмотря на близость к начальству, надзор был за ними и в бурсе слабее в сущности, нежели над своекоштными. Своекоштные жили небольшими кучками на квартирах под присмотром все-таки хозяек и хозяев, до известной степени ответствовавших пред родителями.

Полнокоштному бурсаку давали, кроме помещения и стола,

затрапезный халат, фризовый сюртук (праздничная одежда), тулуп нагольный, картуз и сапоги. Нижнего платья и жилета не полагалось. Платье носилось до последней возможности; продырявленные локти были не редкость. А сапоги… о! сапоги шили такие, что я дивлюсь, где находили сапожника. Они были обыкновенные личные, мужицкие, но столь прочные, что выводили ребят из терпения, и видал я, как иной, насыпав полсапога песком, нарочно бьет им об стену, авось отвалится подошва, — подлое варварство с вещью, данною из благодетельного сострадания, но психологически понятное!

Учреждение «старших» замыкало конституцию школы. Они были из синтаксистов, и на их обязанности лежал надзор за домашним житьем и бурсаков, и квартирантов. В каждом из четырех бурсацких нумеров был свой старший. Кроме того, несколько старших было для квартирных, надзор за которыми разделен был по районам города. Их обязанностью было от времени до времени навещать ученические квартиры и смотреть, добропорядочно ли там поживают.

Такова была иерархия из самих учеников. Поверх их на оба училища пять учителей; из них двое занимали с тем вместе один смотрительскую, другой инспекторскую должность.

ГЛАВА XII
ВРЕМЕННОЕ ОТУПЕНИЕ

Как смутно, как темно! Напрягаю усилия, и память отказывается служить. Следующие два года за приходским училищем, то есть пребывание мое в Низшем отделении уездного, или, как называли у нас, в Грамматике, почти пропали для меня; пропали глубже, нежели год предшествовавший. Два года! Сколько было экзаменов, прошла целая вакация, потом самая последовательность этих двух лет, чем один год отличался от другого, все потонуло во мраке. Остались некоторые отрывки, иные даже неизвестного времени. А мне уже было 8 — 10 лет. Что это значит?

Читатель не осудит меня, что я занимаюсь своею личною судьбой, по его мнению, может быть, более надлежащего. Пускай тогда он бросит чтение. Проследить личное развитие — одна из целей, побудивших меня взять перо. Здесь вопрос не о том, чье развитие описывается, а о психологическом факте, иногда странном, и я ловлю такие факты. Имею притязание думать, что они не лишены научного значения.

Читатель помнит, что весело, шутя прошел для меня первый год школы. Все давалось легко. Я был сообразителен и улыбался, когда мои сверстники сбивались на вопрос, задаваемый Иваном Васильевичем: «У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет; кто их был отец?» Ребята заминались, мне было смешно. Я живо писал грамматические разборы, бегло отвечал на все вопросы в пределах программы. На публичном экзамене чем-то даже особенным отличился вместе с Яковом Никулинским, «билетным», которого только привезли пред экзаменом и которому нашли справедливым дать место первого ученика, мне — второго. Но потом вдруг будто оборвалось. Позднейшее осталось темнее и в памяти, и самое развитие стало туже, как будто остановилось (оттого, очевидно, и в памяти осталось мало).

В классе, куда я поступил, началась латинская и греческая грамматика. Кроме того, продолжалась и русская; в программе еще стояли славянская грамматика и церковный устав; катехизис с арифметикой и нотным пением сами собою. Внешняя особенность, для меня оказавшаяся существенною, была та, что класс уже имел не один десяток учеников. Из приходского в уездное или из Фары в Грамматику переводили ежегодно; в Грамматике же курс был двухгодичный. Таким образом, одним приходилось сидеть два года, другим три года. Мы попали в

«курсовой» год; чрез два года мы можем перейти в Синтаксию; но ранее нас годом перешедшие дождались нас и перейдут с нами вместе чрез три года по поступлении в Грамматику. Существенно было то в этом обстоятельстве, что мы, новички, должны были догонять тех, кто ранее тому же учился целый год, и самою судьбой, стало быть, мы были обречены оставаться слабейшими.

Помню первый урок из латинской грамматики. Это уже не то, что первый урок из русской, который дался так легко благодаря ласковому двоюродному брату. Здесь не было брата. Учитель, который показался мне сердитым, задал нам урок, велел его выучить и, между прочим, выучиться писать латинские буквы. Он их показал на доске, написав сам. Легко сказать: показал! Всех было девяносто человек в классе, и мы, как младшие, сидели в заду. Я напрягал зрение, старался запечатлеть в памяти, но, придя домой, забыл. Удивительно, как вспомню теперь, забыл я самую простейшую из простых букв, прописное Н. Казалось, как же не догадаться, что это простой русский «наш»; но не приходило в голову! По случаю сестриной свадьбы пребывал у нас тогда гость, один священник; завидев меня с грамматикой в руке, осведомился, чем я занимаюсь. Я передал свое недоумение. Он мне написал Н и сказал, что это просто; я увидал, что действительно очень просто, но чрез полчаса забыл. Вспоминал, что это что-то очень простое, но никак не мог уцепиться, не мог найти нити, по которой бы дойти до затерянного памятью начертания. Удивительные казусы бывают в детских головах.

Другое затруднение мучило меня. На первой же или на второй странице грамматики встречается в скобках слово diphthongi. Я мучился его разобрать и не мог по простой причине, что объяснение произношения ph и th шло далее: высокопреосвященному автору грамматики (Амвросию) было невдомек, что употреблять такие знаки, произношения которых еще не объяснено, не подобает.

Что же было далее? Не помню. Помню, что я учил уроки; понимал ли что-нибудь, не знаю. Помню положительно, что не мог понять одной страницы Востокова о причастиях. Не понимал, и только. Именно этой страницы не понимал: почему, не знаю. Я искал ее потом в зрелом возрасте, чтобы составить себе понятие о том, чем могут затрудняться детские головы в учебниках, но, к великому огорчению, не отличил этого места; а я помню живо, что именно тут, о причастиях, было для меня непонятно, а все остальное в Востокове было ясно. Помню, что писал я и подавал задачи (occupationes), то есть переводы с русского на латинский и греческий; но никакого следа в голове и никакого тогда действия на голову. Никто ничего не объяснял, и как совершал я эти

«упражнения», затрудняюсь даже объяснить теперь. Происходило что-то бессознательное, механическое. Помню раз, отец, и то случайно, навел меня еще несколько на мысль. Учитель латинского языка дал нам упражнение на дом. В русском тексте стояло, между прочим, слово бСльшаго. Обратите внимание, сказал учитель, что стоит бСльшаго, а не большаго, помните это.

Расположился я дома писать. Отец полюбопытствовал. «Да ты как задачи-то пишешь?» — спросил он. Должно быть, я отвечал неудовлетворительно, потому что отец нашелся вынужденным растолковать: «Ты смотри, какой падеж на русском, такой клади и на латинском». И это меня как светом озарило! Тут только несколько понял я, в чем суть наших упражнений, то есть в соответствии выражений одного языка выражениям другого. Следовательно, я даже этого-то не понимал дотоле; и однако писал же я упражнения до того и подавал! Каким же процессом я совершал это и что выходило? Выходило, однако, не совсем скверно, потому что значился я не в последних учениках, хотя вместе с поступлением в Грамматику и сошел с первых.

К слову: над большим сколько я ни ломал голову, так и оставил тогда в латинском положительную, а не сравнительную степень. Учитель после объяснил нам, что это сравнительная степень, напомнив о своем предупреждении, но я все-таки не понял; точнее, не убедился, чтобы бСльшаго была сравнительная степень. Сказать правду, я и теперь склоняемого больший не признаю чистым русским словоупотреблением.

Славянская грамматика (Виноградова), по поговорке, в одно ухо прошла, в другое вышла, хотя я и учил из нее уроки. Надо отдать ей справедливости никуда негодна, и была она составлена, кажется, еще до Добровского, чуть не по Смотрицкому; чего же было ждать?

Мучителен был для всех ребят «Церковный устав». Его зубрили, ничего не понимая. Учебник предполагал в ученике сведения, которых у него не имелось, и ограничивался казуистикой: «Аще случится попразднство и предпразднство, то на „Господи воззвах“ стихиры на 6» и тому подобное. А мы не имели понятия, что такое попразднство и предпразднство, ни даже что такое стихира и тем более стихира на 6. Единственное, что могло быть нам понятно — «Господи воззвах»: мы это слыхали в церквах; но что такое само «Господи воззвах», и этого не было объяснено. Тогдашней Комиссии духовных училищ не делает чести, что столь несваримую книгу предложила она в учебник; не делает чести, что находила нужным ввести учеников в казуистику богослужения, прежде чем объяснен общий состав богослужения. И так шло десятки лет, ученики надседались,

зазубривали без смысла набор слов, имевший вид магических заклинаний; ездили по училищам из семинарии ревизоры, и никому было невдомек возбудить вопрос, в законности которого, однако, никто из них не мог сомневаться, потому что каждый из них прошел сам ту же пытку. Учителя не менее учеников тяготились этою частою программы: изо ста девяносто девять столь же мало понимали заклинания учебника, как и ученики; лучшие потому искали способа помочь горю. Учитель, поступивший к нам среди курса, оказался из таковых. Книжка «Устава» была отброшена, и нам велено было учить розданные нам записки. Записки содержали не «Устав церковный» и даже не объяснения службы вообще, а толкование, чуть ли не в азбучном даже порядке, названий, которые приписаны разным песнопениям: что такое «кондак», «тропарь», «икос»; толкование, отчасти филологическое и отчасти мистическое. Объяснения многие были натянуты и не строго научны; например, «икос» значит «дом», и так назван потому, что заключает пространную похвалу святому, а «кондак» — дом малый, потому что содержит краткое описание. «Экзапостиларий» — от греческого глагола, означающего посылать, и напоминает о послании апостолов на проповедь. Но мы были несказанно рады таким объяснениям; они были понятны, мало того — они возбуждали интерес: их учили охотно. Разумеется, и эта дешевая премудрость не от нашего учителя исходила, а достал он или попались ему отрывки из академических профессорских лекций либо студенческих записок.

Учение о составе богослужения вошло в духовно-учебный курс только уже в 1840 году, при новом преобразовании, да и то в семинарии, под названием «Учение о богослужебных книгах, обрядословии и церковной археологии». Привилось, однако, очень плохо и понято было односторонне. Символическое значение и историческое происхождение — вот единственные две точки зрения, с которых ученые мужи академий, а за ними и семинарий, находили нужным рассматривать богослужение. Для первого руководителем был Симеон Солунский, писатель XVI столетия, для второго — Бингам, ученый первых времен протестантства. Новенькие из профессоров пускались за помощью и к более поздним западным исследователям церковной археологии. Но символические объяснения все и искусственны и не научны; их достоинство нравственно-поучительное. Архиерейский трикирий пускай напоминает тебе о трех ипостасях в Божестве, дикирий — о двух естествах во Христе, пять просфор — чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами, и т. д. Что же касается церковной археологии, она вполне законное дитя протестантства, для которого вся церковь, в смысле внешнего

учреждения, стала отжитою древностью. Протестант смотрит на обряд, да иначе и смотреть не может, подобным же образом, как смотрит русский ученый на употребление кун или на обычай «выдавать головой». Ученому, который принадлежит к пребывающей церкви, к продолжающемуся живому организму, ограничиваться такою точкой зрения не пристало бы. Тем не менее «Устав церковный» продолжает оставаться не тронутою, по крайней мере не развитою наукой в духовно-учебных заведениях, и по причине той, что православной богословской науки вообще не начиналось еще; все, что имеем мы, продолжает быть компиляцией с западных богословов, у одних более удачною, у других менее, но компиляцией — не далее. В самое последнее время явившиеся диссертации магистров и докторов богословия — те же компиляции, хотя и высматривающие свысока, с цитатами из первоисточников. Знакомый с западною литературой, однако, легко открывает, что ученые изыскания авторов идут не далее вторых рук, и во всяком случае через них. То же и с богослужением. Старик Гоар, двести лет назад живший, издал «Rituale Graecorum» (Греческий Требник) с объяснениями, и он служит краеугольным камнем наших знаний о собственном богослужении. Есть книги и трактаты «О восточных литургиях», но опять западным же ученым принадлежащие.

Лет двадцать назад один из петербургских духовно-ученых, отец Никольский, попытал изложить в довольно объемистой книге Церковно-богослужебный устав, и мне пришлось пробегать его для составления рецензии на рукопись, имевшую притязание изложить систему Устава для учебного руководства. Начальство (я служил тогда управляющим Синодальною типографией) поручило мне рассмотреть представленную рукопись. Она оказалась совсем негодною, с грубейшими ошибками; но и труд отца Никольского преисполнен промахов. Так пробел в этой части духовно-учебного курса и остается пробелом.

Я бы не сказал всего, когда бы не упомянул о психологической причине, которая отвлекает русских богословов от исследований о церковном богослужении. Та же причина действует и по отношению еще к одному предмету духовно-учебного курса — церковному пению. Исполнение устава служб и техника пения есть дело дьячковское, немногим выше искусства звонить: вот глубочайшая, на дне лежащая посылка, в силу которой ум богослова отвращается от казуистики устава и от церковных нот. Я упомянул, что в приходском училище мне удалось даже не быть спрошенным ни раза по церковному пению; я оставался не спрошенным и во весь училищный курс; я не пропел соло вслух ни одной нотной строки, лишь подтягивал

хору товарищей, держа пред глазами Октоих или Обиход. Тем не менее я значился и в приходском училище, и затем после, в Высшем отделении уездного, отлично учившимся; по нотному пению стояли, вероятно, те же превосходные отметки, как по остальным предметам. И не со мною одним так было. Большинство прошедших семинарский и академический курсы были невежды в пении, за это можно поручиться, и чем лучше кто учился, тем стыднее становилось заняться — чем же? — дьячковским делом! Лично я, положим, не заражен был презрением к пению; только из застенчивости боялся на людях в одиночку ступать голосом; я пытал проходить гамму и распевать по нотам, но про себя. Вообще же пренебрежение к упомянутым двум статьям духовно-учебной программы истекало именно из ложного аристократизма, из боязни уронить свое достоинство, и затем из практических соображений о бесполезности. Да для чего-де это мне певческое искусство, эти дьячковские познания?

А жаль. Пробел в этом певческом искусстве и в этих дьячковских познаниях — одна из причин пасторского бессилия, холодности народа к церкви и порождения сект. Народ связывается с церковию все-таки чрез богослужение, и самое главное, чем можно привязать его к церкви или отвратить от нее, есть отношение служителя церкви ко внешнему отправлению богослужения; здесь исходная точка, откуда пошли старообрядство в одну сторону, молоканство, духоборство, хлыстовщина — в другую.

Боюсь надоесть рассуждениями и останавливаюсь. Не удержусь, однако, от следующего замечания, пусть оно и не покажется отцам иереям. Найдется ли сотня во всей России священников и диаконов, которые бы, не говорю о чем другом, умели читать? Да, читать, и только. Бессмертное: «Да не читай как пономарь» — остается заслуженным упреком и до наших дней. Читать в церквах не только дьячки, которым и Бог простит, но диаконы, иереи, даже епископы не умеют. Сносный, не говорю вполне удовлетворительный, — мне не удавалось еще таких встречать — чтец привлекает в церковь тысячи одним чтением. Народ теснится, когда настоятель, читающий во всяком случае удовлетворительнее дьячка, выходит на средину церкви возглашать Покаянный канон. Подумаешь: как мало нужно, чтоб удержать в церкви народ и привлечь к ней, и как мало для того делается пока! Демократизация, которая сделалась модой, и сюда, впрочем, стала проникать. Чрез полстолетия с удивлением будут читать наши внуки о времени, когда священнослужители не умели ни читать, ни петь и не умели править службы, потому главное, что считали практику в этом для себя унизительною!

ГЛАВА XIII
СЕКУЦИИ

В приходском училище, как я говорил ранее, я не был сечен и не был высечен никто, за исключением двух, трех случаев, когда производил расправу смотритель торжественно, в присутствии учителей, после экзамена, над несколькими мальчиками, заслуживавшими, по его мнению, чувствительного поощрения. Операция производима была каждый раз чрез известного Давыда; но в Грамматике секли учителя и руками «секуторов», любителей и знатоков сеченья, выискивавшихся между учениками. Были такие любители; были и любители приспешничества: этим словом я называю придерживанье рук и ног секомого. «Лозу!» — на это восклицание выскакивал секутор с орудием кары и двое ребят, которые брали подсудимого, валили на пол; один удерживал руки, другой садился на ноги; последний стаскивал нижнее платье… Но уволю читателей от подробностей, на описание которых, слышал я, нашлись мастера кроме меня.

Судьба и на этот раз оказала мне благосклонность. Несмотря на то что отец при каждом свидании с учителями не переставал повторять: «Секите его больше», — меня все-таки не подвергали экзекуции во весь двухгодичный Грамматический курс, хотя раз и предстояла опасность. Учитель (латинского языка) потребовал для меня лозы. За что? Не помню; по правде, едва ли было за что; я учил уроки исправно; шалостей за мной не водилось. Если познания, может быть, оказывались слабыми, то не слабее других многих, и по совести учитель не мог меня винить. Но как бы там ни было, а решено было меня высечь. Секутор с приспешниками уже стояли среди класса, готовые принять меня. Я уцепился за парту с рыданием; сидел я на задней лавке. Соседи пытались оторвать мои руки, но тщетно. Дело происходило пред концом утреннего класса. Ученики распущены, а я так и замер, держа скамью в объятиях, пока не пришел учительский «келейник» с приглашением к Ивану Макаровичу (учителю) на квартиру. Там их жило трое, и в том числе брат Иван Васильевич. Он оказался и на этот раз заступником. «Что это, брат, с тобой?» — спросил он участливо и уговорил моего гонителя отменить приказ, обнадежив его чем-то от моего имени.

Один из учителей, Петр Михайлович — не назову его фамилии, хотя он уже и на том свете, — не столько еще сек, сколько ругался над учениками. Ставил на горох на колени; приказывал готовить дурацкие колпаки, надевал на подвергаемых

наказанию и ставил несчастных во весь рост на задние парты, с предписанием притом держать руки распростертыми, а на руки велит положить на каждую по лексикону. Руки у несчастных опускаются под тяжесть; но — горе! — сзади поставлены тоже приспешники, с картузами в руках, обязанные бить изнемогавшего мальчика козырьком по голове при едва заметном понижении рук. Это было гадкое зрелище: шесть парт, по три на каждой стороне; мальчики сидят, и сзади их возвышаются, подобно статуям, по три, по четыре распятых с обеих сторон и за ними приспешники. Да что! Бывало хуже: велит кому-нибудь бить по щекам несчастного, плевать в лицо… И за что! За малоуспешность, за невыученный урок, может быть, даже только по малоспособности. Нет, такою педагогией знаменовалось нечто зверское в истязателе, отсутствие нравственного чувства; им говорило не желание исправлять, а желание тешиться ощущением власти и чужими слезами. Такого рода педагоги суть развратители школы. Нужно думать, их и нет уже теперь, а если в каком углу сохранились, к не-счастию, они заслуживают острога.

Но не острог, а повышение ждало Петра Михайловича. Он был переведен в одно из московских училищ, исправлял, кажется, даже инспекторскую должность и в конце концов награжден священническим местом в одном из лучших приходов Москвы. Он умер; но здравствует еще иерей, кажется даже протоиерей, в Москве, пользующийся общим уважением и вполне достойный уважения за свои высокие нравственные качества, за строгое свое отношение к пастырскому долгу. Когда он был учителем в Коломне, в том же училище и даже в том самом классе, о котором говорю, лет через пятнадцать после того, как я учился, он, говорят, прибегал к таким же мерам истязания мальчиков. Не называю его; я слишком уважаю его. Но он узнает себя, когда прочтет настоящие строки, и я обращаюсь к его душе, к его совести; пусть вспомнит он это прошлое и психологически объяснит, как случилось, чем доведен он был, чтобы также становить малоуспевающих учеников с распростертыми руками и класть им на руки даже не по лексикону, а по кирпичу, втрое тяжелейшему лексикона, да еще холодному? Что в нем тогда говорило? Детей своих, вероятно, не подвергал же он дома таким истязаниям. В высоком нравственном развитии его нельзя усомниться, его теперешняя общественная деятельность дает об этом свидетельство. Так что же это было? Как согласить, как понять? И это почтенное лицо, подобно как и в мое время Петр Михайлович, было единственным изо всех учителей, что потешался так учениками, и потешался, как сказывали мне, хладнокровно; голос его ни на полноты в таких случаях не

возвышался. Ниже я чистосердечно исповедую, что во мне лично, было время, поднялись зверские, гадкие инстинкты, и объясняю, откуда и почему. Услугу бы оказал отец протоиерей и педагогии, и человечеству, когда бы, углубившись в себя, пояснил и поведал, откуда в учительских душах, и именно в духовных училищах, только в них, возникала эта утонченная жестокость наказаний; чем воспитывалось, чем вызывалось это бесчеловечие…

Какая, однако, несправедливость судьбы! Почти одновременно с тем, как Петр Михайлович, несмотря на свою жестокость, повышался по службе, другой из педагогов нашего училища едва не попал действительно в острог и даже в Сибирь, обвиненный в смертоубийстве ученика.

Тяжелые впечатления вызываются воспоминанием об этом случае, темным пятном ложится он на приснопамятного Филарета! Читатель помнит Иродиона Степановича, чтителя конклавов, доводившегося зятем Филарету и скончавшегося протоиереем, смотрителем училища, благочинным и кавалером. Коломенское духовенство кишело тогда родными владыки, которого и мать еще жительствовала в родном гнезде, доме покойного своего отца. Ничего удивительного нет, что не хотелось филаретовцам упустить смотрительское и протоиерейское места. Родными, говорят, уже и намечен был священник, женатый на близкой родственнице владыки; не назову его имени, хотя он тоже скончался; слишком темные деяния лежат на его памяти.

Случилось, однако, вопреки ожиданиям родных, вопреки, может быть, ходатайствам самой матери владыки, Авдотьи Никитичны. Состоялось невероятное определение, даже из другой епархии: переведен был в Коломну смотритель из Галича, Костромской епархии, тамошний протоиерей Василий Иванович Груздев. Назначением своим он обязан был самому Филарету, который знал его еще по Троицкой семинарии, где Груздев учился (там и Филарет доканчивал курс) и чуть ли не был потом учителем. По преобразовании училищ Груздева назначили «профессором» в Костромскую семинарию. Налегаю на это наименование «профессор»: профессорами назывались, со времени преобразования училищ, наставники, имевшие магистерскую степень; прочие носили скромное название учителей.

Груздеву, не имевшему ученой степени, дан был титул профессора в виде отличия и едва ли не по рекомендации опять Филарета, в бытность ректором Академии ревизовавшего, между прочим, и Костромскую семинарию. Груздев был действительно наставником редким, образцовым. Я скажу об его учительском

таланте после, а теперь продолжу рассказ о драме, которой мне привелось быть если не участником, то свидетелем.

Легко вообразить чувства, с которыми встретила неожиданного пришлеца сила коломенского духовенства. Неудовольствие еще более усилено было последовавшим поведением Груздева. Он повел себя не гордо, но осторожно и холодно по отношению к владыкиным родным. Он с ними не водился домами, уклонялся; к счастию еще, он не был благочинным, а только цензором проповедей; случаев к столкновению не представлялось. Но, к его несчастию, он был замечательно острый человек; ирония его была зла, и не всегда он воздерживался от изречений по адресу присных владыки. Можно думать, что в течение четырех лет немало положено было трудов, чтоб очернить досадного протоиерея в глазах Филарета. Смотря из теперешнего далека на тогдашнее, заключаю, что митрополит не только охладел, но косо начал смотреть на человека, им же достойно возвышенного. В течение всего четырехлетия Груздев не получил никакой награды. Итак, недоставало только случая, чтоб совсем сгубить его. Случай представился.

К осторожности (а вместе и просвещенному педагогическому уму) Груздева должно отнести, между прочим, и то, что он не одобрял сеченья, производимого учителями. Сам, как смотритель, прибегал к экзекуциям редко, и когда прибегал, то старался действовать более на воображение, чем на шкуру. Оттого и сек у него Давыд, и сеченье было легкое; до десяти ударов едва ли когда доходило. Свидетельствую как очевидец.

Наступала Святая неделя и пред нею экзамен. Был у нас в Грамматике со мной вместе Константин Бажанов, как теперь вижу его, мальчик замечательный худобой и желтым цветом лица. Ребята говаривали, что у него были глисты (?!). Он оказался в числе неуспешных и подвергся после экзамена, с другими двумя или тремя подобными, экзекуции в общем присутствии учеников и учителей. Сек Давыд, по обыкновению. Ласково, полушутливо как всегда, Груздев (он никогда не возвышал голоса) обратился к Баженову. «Что же это ты, брат? Надо тебя посечь». Если я скажу, что дано было пять ударов, я преувеличу; три, много четыре. Словом, происходило самое обыкновенное сеченье из обыкновенных и самое снисходительное изо всех, какие видел я прежде и какие пришлось самому терпеть после. Но надобно было случиться греху. Буду продолжать словами уже Ивана Васильевича, слышанными десять лет спустя. Подробности, им рассказанные, не могли быть мне вовремя известны. Довольно того, что в училище экзекуция над Баженовым не оставила ни

малейшего следа. То ли дело, когда бы сеченье вышло сколько-нибудь из пределов обыкновенного! Какой бы гул пошел среди мальчишек!

Экзамены кончились; ученики распущены, получили билеты. Я собираюсь, рассказывал Иван Васильевич, к своим, в Черкизово; вдруг присылает за мною Василий Иванович (Груздев). Что я ему, думаю, понадобился? Прихожу.

— А знаете ли, — сказал Василий Иванович, — Константин-то Бажанов умер.

— Ну что ж, царство ему небесное, — отвечал я полушутя.

— Так-то так, — возразил Василий Иванович, — но мы его посекли. Ведь должно быть следствие, смерть скоропостижная.

— Что вы, что вы! Да какое же тут отношение?

Опасение Груздева, однако, оправдалось. Следствие-то было назначено, да привлекли и его в качестве обвиняемого.

Здесь начну речь уже от себя. П. В — ч, предполагавшийся конкурентом на место Груздева, начал ходить к ученикам, покупать им булки и подучивать, чтобы они в преувеличенном виде представили произведенное сеченье. Ко мне не забегал этот обвинитель из-за угла, да меня и не допрашивал никто, хотя я был тоже свидетелем сеченья; но мне передавали товарищи-мальчуганы, как шнырял ехидный иерей между ними, караулил их при выходе из классов (это после Святой недели, конечно). Передавали мне и всему классу мальчики в те самые дни: «Вчера (или давеча) остановил меня…» и проч.; передавали с негодованием и отвращением. Замечательная черта! Все училище, начиная от старших, 17-летних, и кончая последнею мелюзгою, уважало смотрителя. Его не любили; он не привлекал сердец, но питали к нему неограниченное почтение, как к великому знатоку, затмевающему учителей своим просвещением, и к начальнику в высшей степени справедливому. Смеясь, презрительно, сравнивали его с покойным Иродионом Степановичем, которого, заметьте, любили и который во время рекреаций панибратствовал с синтаксистами.

Что же далее?

Дело пошло в суд, в уголовную палату, затем по старому порядку — к генерал-губернатору. Груздев был оправдан; но Филарет не согласился с мнением палаты и генерал-губернатора. Н.Ф. Островский, родственник (шурин) Груздева, передавал моему брату слышанное им, что князь Д.В. Голицын (тогдашний генерал-губернатор) с негодованием отзывался о мнении высокопреосвященного как о несправедливой жестокости, не делающей чести его сердцу. Вот какова, однако, была сила родственных внушений, пусть и издалека подведенных!

С большим интересом просмотрел бы я теперь в судебном архиве дело о Груздеве, именно когда мне известна его подноготная, настоящая подкладка. Что нашел доктор? Кого вызывали в свидетели? Какие давались показания? На чем основался Филарет в своем жестоком отзыве, и действительно ли он был так жесток, как передавали? В ученическом мире о несчастной кончине Бажанова рассказывали так. Он пришел из класса, как и всегда, ничего, так. Играл с ребятами во дворе. Возвратившись домой, стал жаловаться хозяйке на дурноту, полез на печь и умер. Патологическая причина, сразившая несчастного, особенно и занимает меня ввиду этого простодушного рассказа, слышанного мною от живших на квартире с Бажановым. Поэтому любопытен и отзыв доктора, о котором неизвестно, в каких еще отношениях стоял он к обеим сторонам. О, старый суд! Страшный это был суд! Явные преступники, злодеи выходили из него чистыми и даже продолжали пользоваться уважением общества; но и невинные могли погибать от козней и ябед.

Гражданским судом Груздев был оправдан, но духовною властию московского святителя низвергнут с места и был переведен протоиереем — боюсь сказать куда — кажется, в Серпухов, на нищенское место. Счастье было его, что там узнал и оценил его известный тогдашний московский купец С.Л. Лепешкин, пользовавшийся большим расположением Филарета. Лепешкин стал долбить владыке, не уставал ходатайствовать и наконец выпросил Груздева к себе, в приход Троицы в Вишняках, на Пятницкой. Филарет не мог отказать. Кроме расположения, которым вообще пользовался Лепешкин, он был вдобавок еще храмоздатель. Такому лицу отказать в просьбе не приходилось. При церкви Троицы в Вишняках Груздев и скончался.

Я упомянул об образцовом учительстве Груздева. Два свидетельства предо мною. Во-первых, его ученики: от души сожалею, что не дано мне было у него учиться. В два года Синтаксического курса, к которому приготовлены были ученики, как и все мы грешные, то есть очень плохо, Груздев достигал того, что его питомцы читали свободно и Цезаря, и Саллюстия, и Тита Ливия, и Плиния, и Светония, даже Виргилия и Горация. Совершалось нечто чудесное, непостижимое; сами ученики его, оставшиеся в живых, дивуются и лично ему чрез двадцать лет после школы выражали свою благодарность и удивление.

Другое свидетельство: рукописный учебник его по риторике, бывший у меня в руках. Груздев преподавал по нем в Костромской семинарии. Необыкновенные ясность и толковость изложения! Не могу простить себе оплошности. Рукопись дана была мне для прочтения братом, которому автор дал ее тоже

только для прочтения (брат Груздеву доводился свояком).

Учась в семинарии, имел я неосторожность взять груздевский учебник раз с собой в класс и положил в пюпитр. В продолжение какого-нибудь получаса, пока я выходил в коридор, какой-то негодяй похитил у меня драгоценность. И для чего? Зачем она понадобилась? Так, ради одного озорства.

Рукопись не без основания называю драгоценностью. Она была на русском языке, и это было чудо своего рода: в те времена риторику преподавали по-латыни, и меня самого учили ей на этом языке. Каким образом пятнадцать еще, двадцать лет назад костромской профессор преподавал на русском? Откуда он взял такую смелость и кто дал ему право? Это загадка для меня; но учебник был тем более замечателен. Между прочим, восхищал он меня переводами с латинского, приведенными в виде примеров. Переводов, равных по точности, по глубокому разумению обоих языков, мало того по изяществу, я еще не читал, ни прежде, ни после. Не помню буквально текста, но, например, начало речи Цицероновой pro lege Manilia [3] — этот трехсаженный период — передан был на русском языке с таким, не говорю уже, пониманием, но с такою легкостью, что я поражался, читая. Самая высокопарность Цицерона как-то снималась, без нарушения, однако, свойственной Цицерону торжественности. А я тогда уже был способен ценить литературные произведения.

ГЛАВА XIV
УЕДИНЕНИЕ И ОДНООБРАЗИЕ

Если ум мой был заморожен в Грамматическом классе, то сердце горело, а к концу периода запросило пищи воображение. Привязанность моя, понятно, сосредоточивалась прежде всего на домашних. По смерти матери старшая сестра заступила ее место, и я перенес на нее всю сыновнюю любовь. Но она скоро ушла, тотчас по вступлении моем в Низшее отделение. Когда ее выдавали замуж, я при всеобщей радости терзался и плакал; я отказывался видеть ее жениха, меня тащили к нему насильно. Во время благословения их образом я, уединившись в светелке, со слезами пред образом на коленях молил смерти и всех напастей злодею, который увозит куда-то, Бог знает, за тридевять земель, мою неоцененную Машу. Она выходила действительно за тридевять земель, в Рязанскую губернию; а это было по тогдашним понятиям далее Хартума: Зарайский уезд по отношению к Коломне был тем почти, чем Коломенский по отношению к Москве тридцать лет назад, при моих дедах и прадедах. Маловероятным покажется теперь, но сношения с замужнею сестрой и вести от нее и о ней выпадали на долю нашу два, много три раза в год. И это в тридцати верстах! В тридцати верстах, так; но в другой епархии, за рекой, за бором, который тянется один двенадцать верст и в котором на свежей памяти были разбои. За Окой, по выражению нашему и по понятиям тогдашним, начиналась степь, какой-то другой мир, не наш.

Заместительницей первой сестры стала вторая. Шестнадцатилетняя теперешняя хозяйка уже не подходила мне быть матерью, но чтоб и другом быть в детском смысле — отошла годами. Младшая сестра, ближайшая мне по возрасту, с выходом сестры замуж и поступлением среднего брата на священническое место в Черкизово, в тот приход, где некогда был отец, редко пребывала дома: то брат, то сестра брали ее к себе. Я оказывался без товарища, а сердчишко искало его. Я прилеплялся к школьникам, с которыми доводилось сидеть рядом на лавке; отдавался им душой, делился чем мог, с радостью уступал им, чего они требовали; старался угадывать их желания и исполнять, не требуя возмездия; наслаждался самоотвержением; это был какой-то женственный период. В моем распоряжении бывали просфоры, оставшиеся после службы; их предоставлял мне отец на завтрак; бывало их по две, а одна непременно. Я голодал, а нес какому-нибудь Троицкому или после другому однокласснику,

Павлу Смирнову, которого в рассказах о нем дома называл «Голубеньким», по голубому цвету нанки, покрывавшей его тулуп: Голубенький был еще не грубый, тихий мальчик, но Троицкий — чурбан, и черствый, и глупый, и вдобавок драчун. Но мне пришлось сидеть с ним рядом некоторое время, и этого было довольно. Троицкий рад был меня эксплуатировать; он меня обирал, завладел даже моим кушаком. В довершение, чрез год, когда мы были в следующем классе, этот самый друг мой был из числа тех, которые, как после будет объяснено, пробовали на мне силу кулаков.

Так сердце оставалось без ответа; даже пути не было сблизиться с кем-нибудь из сверстников. В общих играх я не был участником. Я любовался, как другие играли в свайку, но сам не решался ее взять, да никто ни раза и не предложил мне. В бабки и кубарь игрывал, но дома, с Петей, сыном Ивана Евсигнеевича, который прихаживал к бабушке. Он был только годом меня моложе; по-видимому пара, но ничего у нас не завязывалось. Змей ли пустить, в бабки ли играть, было случайным делом, начинавшимся без плана и оканчивавшимся без уговора о продолжении. В училище я с кубарем не являлся, с бабками и подавно. У меня почти и не было их. А у настоящих школьников хранились целые магазины; игра была систематическая, велись целые кампании. На игре наживались состояния, разумеется считая по-школьничьему; был установленный рынок и определенная цена бабкам. Другие проигрывались в пух, ставили последнюю копейку, привезенную из деревни. Где же и с чем было мне приставать к такой организации, и кто бы меня принял? Все принадлежали к какой-нибудь артели; у них были общие интересы, независимо от школьных; тождественный мир окружал их; находились и разговоры, и заботы общие, которые мне были чужды и отчасти непонятны. На меня, с своей стороны, и другие смотрели, как на чужого; я не ходил в бурсу, не шлялся по квартирам, за то и ко мне никто; да и что было у меня делать?

Были еще купеческие и мещанские дети, ученики домашней сестриной школы. С ними завязывалось знакомство, особенно в вакационные недели; с более приличными находилось времяпровождение. Сын богатого купца-гуртовщика воображением уносился к занятиям своего отца. Стволы подсолнечников служили у нас «быками»: мы их собирали, гоняли, поили, ставили на покой. Но это меня мало занимало. Другой водил к себе на голубятню, давал любоваться своими турманами и «чистыми»; но тут я оставался только свидетелем, а не участником. Я подзывал своих знакомцев в игре, которую сам придумал; ей зато они не могли отдаться, как отдавался я.

Подо всею церковью, в том числе и под наружными папертями, были у нас подвалы. Под церковью они были заняты отчасти церковным имуществом, отчасти складами, кажется товарными; папертные были пусты и открыты. В них был ход или, точнее, лаз чрез полукруглые окна. Туда-то я любил удаляться и там-то находил занятие. Несмотря на относительную пустоту, в подвалах, особенно одном, наиболее мною облюбованном, было нечто. Во-первых, — переносное творило для известки, вроде бездонного ящика, оставленное когда-то, вероятно, рабочими при штукатурке церкви; во-вторых, черепа и кости. До чумы покойников хоронили при церкви; остались кругом надгробные камни, полувросшие в землю, а здесь под папертью более наглядные признаки. Я обрел в них орудие для игры. Раза два, три мне случалось быть в аптеке, куда меня посылали за мелилотным пластырем. Вид форменных шкапов, весов, ступки, стклянок, банок с надписями произвел на меня впечатление: я устроил в подвале аптеку. Творило послужило шкафом, несколько дощечек, принесенных нарочно, образовали прилавок; из двух черепов (верхней теменной части) слажены весы; остальные послужили вместо банок и ступки. Кости разложены в порядке. Я набирал трав и клал каждую в особенную чашку, то есть в череп; костяшкой растирал ее; на прилавке в порядке лежали бумажки, то есть рецепты. Но беда: у меня не было покупателей; к этому-то я и старался привлечь знакомых ребят. Они брались сначала охотно, бывали и лаборантами, и покупателями; но скоро остывали.

Другая, несколько подобная же забава придумана была мною в виде «пещеры», вырытой в снегу. Это послужило забавой на зиму, как аптека на лето. С младшею сестрой вместе, при пособии, самом легком впрочем, не знаю кого из старших, устроили мы на дворе «гору», катались с нее; а я в горе вырыл пещеру, в ней сложил снежный стол и лавку, лавку покрыл сеном. Проделал окошко, вставил в него рамку со стеклом от какой-нибудь, должно быть, гравюры, валявшуюся на чердаке. Я удалялся в эту келью, располагался в ней, учил уроки. Пещера служила долго; все кругом растаяло, а она была цела.

Случалось (это уже к концу описываемого двухлетнего периода), средний брат, приезжая в Коломну, оставлял у нас на несколько дней дочь, девочку, еще не ступавшую на ноги, и я находил удовольствие быть нянькой. Из «коровьего» стульчика (с которого доят коров) я устраивал своего рода тележку, катал племянницу и утешался ее весельем. Случалось, когда младшая сестра была не в отъезде, садились мы с нею за карточную игру в «пьяницы»; а по Святкам более обширная партия засаживалась в

«свои козыри». Но в общем свободных часов, особенно в вакационные недели и праздничные дни, оставалось довольно, и одиночество меня томило. Я забегал к пономарю, дьячку, находил там кого послушать; церковный сторож, например, которого я нередко заставал там, вкусно рассказывал о Суворове, под командой которого он служил, о Неаполе, где ему случилось быть. Радость бывала, когда к нам приходила старуха Кузьминична, повитуха, жившая тоже на церковном дворе. Она повествовала о моровой язве, которой была свидетельницей в Москве. Описывала фуры, в которых возили умерших; фурманщиков, одетых в кожу и вооруженных баграми, которыми вытаскивали покойников. Почти одна она осталась жива во всем доме, а дом был большой, каменный, во много этажей. Все перемерли. Фуры приезжают ежедневно с неизменным вопросом: «Живы ли?» — и умерших вытаскивают. На каком-то шесте ей, Кузьминичне, тогда девочке, подавали пищу, не выпуская ее из зачумленного жилища.

В вакационное время подзывал меня к себе брат гостить в Черкизово. Вынужден я бывал соглашаться, потому что так приказывалось; но дни в Черкизове были самые для меня тоскливые. Сверстников там тоже не обреталось, и дела не находилось, и слушать было некого, и видеть некого. Брат, разговорчивый в других местах, усвоил для дома родительскую привычку молчания. На улице пусто, в лес идти одному боязно. На усадебной земле, сзади дома, голо. День тянулся неимоверно и начинался одним из мучительнейших ощущений. Впросонках, на заре, регулярно слышал я звук, приводивший меня в отчаяние; уныние овладевало мной; я бы бежал, бежал куда-нибудь, сам не знаю куда, но чтобы не слышать этого отбивания косы, которое ежедневно будило меня и продолжалось час и более, равномерно и однообразно среди всеобщей тишины. Конец дня не менее был мучителен. Пригон стада, по-видимому, должен был бы развлекать; в смешанном блеянье и мычанье животных, равно и в суете баб, кличущих свою тпруконьку или загоняющих глупую овцу, порывающуюся на чужой двор, можно бы, казалось, находить отдых от однообразия. Но меня пригон стада с его музыкой угнетал, навевал грусть несказанную. А затем чрез час или полтора новая музыка, новые звуки, еще более ужасные. Село солнце, потемнело небо; водворилась тишина. Вдруг неожиданно бьет колокол, как бы над самым ухом; ударяет медленно, жалобно; звуки несутся, замирают, и не успело затихнуть последнее дрожание — удар снова. До конца я не мог привыкнуть к этому обнадеживающему оповещению сторожа, — «спите-де, православные, спокойно; я караулю». А я вздрагивал при первом

звуке, томительно ждал второго и бежал бы, зажав уши; как будто на смерть зовут меня эти редкие удары, как будто смертный приговор читают: вот еще, и умру!

Оживлялось времяпровождение сенокосом. Мне вырезывали деревянные рогульки, и я с удовольствием ворошил сено; с удовольствием смотрел, как навивают воза; охотно провожал их; присутствовал при угощении косцов, образовавших «помочь», которою брат работал. Косцов кормили по череду: сегодня поп, завтра диакон, далее причетники; луга у причта были общие. Но вот и все интересы; придет разве Наталья Ивановна иногда, расскажет о старине, или какой другой дворовый с повествованиями об охотах былого невозвратного времени. Я рвался домой и рад был, когда сажали меня в телегу и везли обратно к отцу, тетке и сестрам. Но какое разнообразие ждало и дома?

Служил отец обедню или не служил, все равно, он уже дома, когда я проснулся (беру день, когда я не в училище). Батюшка за столом с заплетенною косой сидит в рубашке; поясок на бедрах, на поясе ключ, очки на носу и книга на столе. Он читает. Сестра сидит с учениками, плетет кружева или вяжет чулок. Поодаль тетка, тряся головой от старости; с очками на носу, как отец; вяжет чулок, как сестра. Случалось, подойдет тетка, положив чулок, к отцу с каким-нибудь хозяйственным вопросом или замечанием, получает короткий ответ и удаляется. Лениво раздается гудение и причитание ребят-учеников. А вот скоро и двенадцать часов; не пора ли обедать? Ребята отпускаются, с шумом закрывают книги и разбегаются (непременно с шумом и непременно разбегаются, по поговорке, как сорвавшиеся с цепи).

Обед. Накрыт стол скатертью, салфеток нет; общая глиняная миска (муравленая), деревянные ложки по числу обедающих; пред отцом особая, большая, круглая. Меню неизменное: щи и каша по будням; вместо каши по праздникам большею частою картофель, почему-то считавшийся более аристократическим и потому праздничным. Вместо щей иногда похлебка картофельная, лапша, почки, которые подавались иногда и на сковороде. Неизменным спутником праздника бывал пирог, а то лепешки — пшеничные, не крупичатые. Щи, по преданию, съедались в два приема, как видывал я потом и на постоялых дворах, сперва без говядины, потом с говядиной. В будни и праздник подавался часто студень. Он был ни по чем в Коломне, большими партиями заготовлявшей солонину для флота; солонина также являлась на столе и с ней варили щи.

В постные дни говядину заменяли снятки. Нередко являлась уха из свежей рыбы, сравнительно недорогой в приречной

Коломне; реже соленая рыба, которая весной, между прочим, шла в ботвинье из сныти. Из сныти непременно, за сбором которой батюшка регулярно отправлялся, и большею частию взяв меня с собой, в мещаниновский сад. Также регулярно в летние ясные вечера отправлялся он пред самым покосом в городские луга, в моем сопровождении, сбирать тмин для хлеба.

Рыба разрешалась для обыкновенных постных дней. В Великий пост, за исключением Благовещения и Вербного, во дни Усекновения и Воздвижения, в сочельники — ни рыбинки, ни даже снятка. В первую и Страстную седмицу не употреблялось и масла; тут за все отвечали грибы, горох, картофель печеный. Вообще Устав церковный по части трапезы держался твердо, так твердо, что отступление от него и в голове не укладывалось. Квартировал от нас недалеко один офицер, о котором слух был, что он употребляет в Великий пост скоромное. Того же офицера видели мы в тот же пост причастником в церкви. Дом наш поражен был удивлением, как согласить две, казалось нам, несовместимые вещи: таинство принимает и в пост скоромное ест! О себе самом отец рассказывал, что при каком-то чрезвычайном случае пришлось ему «закусить» рыбой в Великий пост. Его целый день тошнило.

Я остановился, по-видимому, долее надлежащего на нашей незатейливой кухне. Но меня занимает отсутствие изобретательности, сказавшееся здесь, как и в домостроении. И это не в нашей семье только: изойдите из конца в конец Россию, да не по станциям железных дорог и «ресторанам» почтовых, а пройдите постоялые дворы на торговых трактах, сельские трактиры: между щами и кашей поселянина и котлетами, дошедшими в трактир чрез тысячи посредств от повара на барском дворе, — перехода никакого. Словом, кухня французская, и притом искаженная, лишенная вкуса, и — элементарная русская, другими словами, никакая. А оставшиеся записи дворцовых обедов XVII столетия не могут пожаловаться на однообразие.

Явление историческое, не лишенное значения! Как в архитектуре, так и в кухне заимствование чужого и распространение его в высших классах остановило творчество. Не повторилось ли это в одежде, и далее — в музыке? Способность к развитию из себя отшиблена, а чужое усвояется в виде заимствования одной формы. Суп или котлета постоялого двора съедобны разве для неразборчивого желудка; не лишенный вкуса человек помирится охотнее на простых щах того же постоялого двора.

После обеда батюшка идет соснуть в горницу. Встает; снова

очки на носу и снова книга. И так до ужина. Если завтра служба, то отслужена вечерня. Иногда дьячок подойдет к окну с докладом; иногда идет батюшка на рынок; иногда к И.И. Мещанинову — книгу или газеты отнести и взять новые. Ясный, тихий летний вечер: выйдет батюшка на дворик, сядет и задумчиво смотрит, барабаня пальцами.

Возьмем зиму. В долгий вечер тетка осмеливается сказать: «Что же бы вы, братец, хоть почитали бы нам что-нибудь». Если находится книга, удобная для чтения всем, вроде ли «Тысячи одной ночи» или чьего-нибудь старинного путешествия, например «Всемирный путешествователь» аббата Делапорта, батюшка читает вслух сам или, как потом было, предлагает мне. А то принесет из церкви Четьи-Минеи по просьбе тетки, и она назначает чтение. Она не грамотна, но помнит забирающие сердце жития, по преимуществу легендарные: Евстафия Плакиды или Киприана мученика. Все это мы слушали уже несколько раз, но слушаем в десятый, двадцатый, притаив дыхание. Романические подробности Евстафия Плакиды или в житии Киприана подробности сатанинского царства с престолом Зевса потрясали воображение.

День разнообразится праздником, приходом кого-нибудь постороннего (редким) или торжественными моментами года вроде рубки капусты, снимания хмеля и яблок. Рубка капусты определяется заранее; просятся напрокат корыто у прихожанина-купца и сечки. В торжественный день, точнее — вечер рубки, все за работой; работаем усердно, весело. Мы, молодежь, наслаждаемся кочерыжками. Хмеля и яблонь было в нашем садике немного, но обряд совершался, по преданию, от того времени, когда и того и другого было довольно. Аккуратно вынимает батюшка шесты и аккуратно же убирает их до будущего года. Он был человек примерной аккуратности: гриб, найденный в лесу, положит в лукошко не иначе, как очистив корешок ножичком. Мы обрываем шишки; они несутся на просушку и потом продаются. Яблоки не продажны; они кладутся на солому на погребице; часть (худшая) режется на ломтики, нанизывается на нитку и вялится на солнце. Да много ли их? И деревьев уже немного, но половину плодов постаралась молодежь сбить, еще не дав созреть.

Важнейшая из эпох — полая вода и вообще наступление весны. Далеко ли зайдет к нам вода? Садик наш оканчивался частоколом и по его линии ветлами, которые сажал дедушка в годы рождения детей: вот ветла, посаженная в год рождения батюшки, а вот — в год рождения Татьяны Матвеевны. Ветлами удерживались льдины; но частокол в редкий год не бывал сломан.

Ко времени половодья большею частик уже открывались и светелки, из которых одна, рядом с топлюшкой, ежегодно на зиму забивалась войлоками и рогожами. Как этот процесс забивания войлоками представлял нечто погребальное, обращал дом, стесняя жилье, в род тюрьмы, так отбивание веяло праздником, двойным, и весны, и наступающего Светлого Воскресения. Вон и едва заметная щетинка зелени пробивается на лужайке; вон и церковь холодную подготовляют; вон и ризы серебряные местных икон приносят. Таков порядок: к Светлому дню, если только он не очень ранний, служба перебирается из придела в главную, холодную, церковь. Ризы снимают с икон и чистят; мещаниновские дворовые на это специалисты: как блестит после того серебро! Как звонко раздается приятный тенор Андреевича под высоким сводом! Как светло в церкви, совершенно белой внутри. А то и праздник не в праздник в душной, низкой, темной церкви придела!

С открытием светелок предвидится возможность и отворить окна. Рамы во всем доме выставляются: в светелке выметают с окон мух, оставшихся с осени и мертвенно лежащих на оконнице. А вот и батюшка переберется с своею постелью из прихожей тоже в светелку, что рядом с сенями. То-то весело! Ход кругом; в окна, когда откроешь, врывается свежий весенний воздух; можно бежать и на верхнюю светелку и из нее на балкон. С чердака два слуховых окна на две стороны; теперь позволяется их открывать и смотреть вдаль на соседние огороды и вторые этажи. Но главный интерес сосредоточивался все-таки на реке. Трогается лед. Вот он пошел к устью лениво, вяло. Вода вышла на берег; когда она к нам? А это зависит от Оки: пойдет Очный лед. Когда? Завтра, послезавтра. А вот и он идет. Не найдется в целом городе равнодушного, кто бы миновал это зрелище.

Пред устьем Москвы-реки на Оке каменистый остров; далее, после впадения, тоже остров и, кажется, два даже. Трогается лед в Оке и, встречая на островах препятствие, начинает переть влево, в Москву. Москворецкий лед останавливается; напор москворецкой воды борется с сильною Окой. Но нет, ему не одолеть; подбывает сверху, из Каширы, и еще вода, и еще лед; пытается прорваться чрез острова. Лед ломается, льдины громоздятся одна на другую, вода прет вперед, напирая одновременно и на Москву-реку, не давая ей хода. Направо нет места: там высочайший берег, и на далеко. Наконец Москва изнемогает; она раздается, но, не находя по сторонам простора, поворачивает совсем назад. Очные льдины лезут на москворецкие, и все вместе несутся кверху, несутся быстро, несутся далеко, откидывают реку назад на целую полсотню верст. Вот это-то зрелище Очного льда и было самым

восхитительным. Плывут ледяные башни, колокольни, причудливые замки изо льда и снега, окаймленные иногда поперек, иногда вдоль разрисованные навозом, оставшимся от зимней речной дороги. А вот и проруби и плотомойни, ставшие то боком, то вкось и выглядывающие окнами и воротами в этих узорчатых замках. На самую вершину замка или колокольни забрался плетень от плотомойни. Ба, даже верша тут, а вон и рыбачья лодка, садок, перевернутый вверх дном: как чудно он висит! Смотрите, он словно в руках у какого-то снежного великана: вот его голова, вот руки, вот выпяченное брюхо и ноги, сквозь которые видим еще другие плывущие льдины. Ах, Боже мой, корова, корова, как она попала? Да нет, смотрите, сани, и с лошадью; где же мужик? Нет его; утонул он или спасся? Боже мой, где же он? Кто спасет эту лошадь, эту корову? Но едва успели ахнуть, новые льдины несутся, несутся, едва успевая дать налюбоваться на свои ежеминутно разнообразящиеся узоры. А вода все подбывает; с каждым плеском волны она подходит ближе на четверть, на пол-аршина, на аршин. Вот, вот она; частокола уже нет, он под водой; вот она идет; до самого дома не дойдет, этого не бывало никогда, но за черемуху в саду нынешним годом зайдет: это от дома пятнадцать шагов.

Четырнадцать лет мне было. Я знал языки, знал географию, перечитал книг множество по всем отраслям, пробегал журналы, и я недоумевал, что Очной лед, идущий вверх по реке, есть явление специально коломенское. Живу в Москве уже. «Лед пошел», — говорят. — «Который? Куда? — спрашиваю. — Вверх или вниз?» На меня смотрят с удивлением, и когда объяснили, что не может река течь кверху, тут только я сообразил и подивился своей недогадливости. Так иногда даже в более зрелых летах, и у людей с сильным и острым умом и с обширными познаниями, застрянет какая-нибудь мысль и уверенность от детских лет, и сойдет в могилу человек, до старости не догадавшись, что реки кверху не текут. В другом виде, но сколько таких предрассудков об Очном льде живет и даже двигает жизнию в науке, в быту, в политике!

Десятки верст заливает вода. Если бы не леса, можно бы проплыть по прямой линии до Бронниц; и леса, и эта самая роща, что пред нашими окнами на другом берегу, залиты. Видны только верхи и, как на острове, Бобренев монастырь, слободка которого покрыта водой, стоящею, может быть, по колено в избах. Залит Голутвин; из кельи в церковь переправиться, пожалуй, нужен плот.

Но несколько дней прошло, лед возвращается. Какой он тщедушный, чахлый! Где же эти замки? Нет их. Прибиваются к

нам их жалкие развалины, следы развалин, но не менее красивые. Многие — чистый хрусталь; снег, грязь частию стаяли, частию смыло. Любил я собирать эти хрустальные камни, хрустальные плиты, хрустальные жезлы, когда их прибивало к нам. Весело приставлять их к стене и составлять из них уже свои узоры, свои замки и колокольни.

ГЛАВА XV
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

При всей косности домашний быт наш к описываемому периоду все-таки тронулся с того времени, как я себя зазнал. У нас завелась лишняя мебель, явилось при доме крытое крыльцо, две комнаты оклеились бумагой, одна оштукатурилась. Как все это ничтожно, как обыкновенно, — но то, и другое, и третье были событиями. Столбы под домом сгнили, пришлось подводить новые и подымать дом. Подрядчик-плотник советовал, кстати, в отвращение гнилости, обшить столбы подбором, чего прежде не было; да, кстати, уж матушка решила и сама, при исправлении наружной лестницы, обшить ее и покрыть. Последнее почему? Потому что так уже начинало заводиться при городских домах: открытая лестница с висящим на ней рукомойником, это — деревня. По этому соображению лестница была покрыта, и рукомойник перенесен в топлюшку. Помню долгие приготовления к этому обновлению наружности дома и дорогую, тяжелую цену, во что оно обошлось, — тридцать рублей, на ассигнации разумеется. Цифру эту я твердо помню, и помню то, что родители находили ее тяжелою по своим средствам.

(Оштукатурена внутри одна из комнат, топлюшка, и это стоило целого рубля серебром, должно быть, работа только либо один материал. То либо другое подарено было подрядчиком, который штукатурил тогда церковь и предложил батюшке воспользоваться случаем, чтоб оштукатурить у себя что-нибудь. Мы с младшею сестрой воспользовались тоже этим случаем и оштукатурили часть подбора, думаю, что на пол-аршина или даже более; мало того что оштукатурили, но даже и окрасили в розовую краску, известкой смешанною с толченым кирпичом).

Тогда же оклеились горница и «боковая»; употреблена на это оберточная бумага, потом окрашена в одной комнате купоросом, в другой, должно быть, охрой. В горнице маляр даже расписал потолок по «трафарету», изобразив какую-то гирлянду.

Шестью стульями, диваном и ломберным столом поклонился родителям старший сын, получив дьяконское место в Москве. Письмом мы были предуведомлены о подарке и ежедневно сверялись, не подошла ли барка, долженствовавшая привезти невиданную утварь. О стульях мы имели понятие, но диван, или, как предпочитал называть его отец, «канапе», для нас по крайней мере, детей, был диковиной. По получении обновки выломана лавка в «боковой»; туда из горницы перенесены старые стулья с

лоснящимися сидениями, а горница убралась московскою мебелью. Мебель была очень немудреная, прямолинейная, топорная, но обшита сафьяном, крашена и покрыта лаком. Нам нравился этот запах, и вообще воображение было поражено, так что мы задумали устроить миниатюру стула. Взяли полено, начали вырезать, но где же сладить детским рукам? Помог уже средний брат, Сергей, приехавший на вакацию из Москвы; миниатюрный стул был вырезан точь-в-точь по подлиннику, даже выкрашен, покрыт лаком и обит, только вместо сафьяна коленкором. Сжалился над нашими трудами Иван Евсигнеевич и воспроизвел всю полдюжину, но не так изящно и прочно; ножки в его стульях были вставные, а наш стул весь был из цельного куска.

Диван, точнее пол под диваном, надолго обратился для меня с сестрой в любимую резиденцию, тем более что там мы нашли полочки, выставлявшиеся под сиденьем, послужившие нам своего рода чуланами. Я откладывал туда сахар, сберегаемый от чая. Пил я чай неохотно, опоражнивал чашку почти без прикуски, а сахар относил в свой чулан, время от времени обращаясь к нему и откусывая по крошке.

Когда молодые после свадьбы приехали навестить родителей в Коломну, нами, младшими детьми, испытывалось, вероятно, подобное тому, что некогда старшими при приеме московских гостей в 1812 году. Меня поразил шелковый подрясник брата, его широкий пояс, золотом шитый (брат поступил в Девичий монастырь, и пояс был подарен ему белицами-золотошвейками). Карманные часы, аляповатые правду сказать, луковицей, в двойном футляре, но, как невидаль, тоже привлекли мое внимание. Московские сайки береглись и елись исподволь, как лакомство. А два гостинца, назначенные специально для меня и для младшей сестры, даже и остались только на погляденье. Мне привезена была белая сахарная собачка, сестре — красная леденцовая кукла. То и другое копеечной стоимости; но ни того ни другого нам не дали, а только показали, объяснили, что кому предназначено, и поставили за стекло в шкаф навсегда.

Мы были и польщены тем, что член нашего семейства попал во дьяконы в Москву. Казалось бы, что особенного? Отец был не дьякон, а священник, священствовавший притом к тому времени уже тридцать лет, да еще должностное лицо — «увещатель» в судах. Но в понятиях духовенства, по крайней мере московского, столичный дьякон выше священника уездного, тем паче сельского. Перворазрядный студент семинарии брезгал, продолжает, вероятно, брезгать и теперь священническим местом в селе при вероятности получить дьяконское, но в Москве;

дьяконскими в Москве местами не пренебрегали и кандидаты академии. Образовались два вида духовенства, столичное и уездное, качественно различные, даже отрезанные взаимно; так что семинарист, хотя бы перворазрядный, попав в село, уже терял надежду выбраться в Москву, тогда как дьякону московскому, хотя бы второразрядному, переход на священническое место в столице не закрывался. Идти из дьяконов московских в сельские и даже уездные попы — это почти разжалование. Если же бы сельский иерей стал просить перемещения в Москву, хотя бы заслуженный, он в консистории возбудил бы не только удивление, но негодование, как забывшийся нахал; нужды нет, что на то же место завтра поступит дьякон из второразрядных и третьеразрядных семинаристов, притом ничем не выдающийся на службе, тогда как сельский священник вместе и примерный благочинный. Не удалось мне беседовать с покойным Филаретом об этой иерархической несообразности, да по всей вероятности и бесполезно было бы: он в отпор указал бы мне два, три примера, что отличившиеся сельские и уездные священники были переводимы в Москву, и — еще более обильные примеры, что переводимы были из уездов (Коломны именно) родственники самого митрополита. Ни те исключительные примеры, ни это систематическое возвышение родственников не изменяли существа; факт остается в силе: бытовая иерархия превозмогает церковную и даже отчасти государственную. Последнее в том смысле, что и награды духовенству сообразовались, в те времена по крайней мере, не с самым служением, а с местом, где оно проходилось. Сельский благочинный, депутат, увещатель и прочие должностные лица так и вековали, не дождавшись внешнего поощрения, хотя бы пятьдесят лет пробыли, и притом на такой должности, которая даже по статусу дает право на орден чрез двенадцать лет; столичное же духовенство хватало скуфьи, камилавки и ордена. В последние года по отношению к отличиям более применено равноправности, хотя и не скажу, чтобы к особенной пользе церкви; но в старые времена, не говоря об ордене, скуфья на сельском священнике Московской епархии была редкость. Сельский поп, будь он разблагочинный, за счастие должен почесть, если под конец укланяется и получит место «раннего», наемного священника при московском батьке, предоставляя последнему сибаритствовать летом на даче, а зимой отправлять службу и требы только для разнообразия жизни, посвященной в весьма посредственной степени приходу.

Правилен ли такой порядок, едва ли нужно объяснять. Если в положении, усвоенном со времени Сперанского и даже ранее, со времени Прокоповича, что школьное образование есть главная

принадлежность священства, заметен оттенок протестантства, то возвышение столичного дьяконства пред сельским священником было шагом к латинству, — тому латинству, которое пресвитеров и дьяконов царствующего Рима поставило в сане кардиналов выше даже епископов. Священнослужительское место есть награда за успешное окончание курса наук, а в самой должности священнослужителя существеннейшее есть доход, с нее получаемый: понятна и эта мораль установившегося порядка.

В течение нескольких лет не более двух или трех раз навестил московских отец; не чаще того и они к нам приезжали; но мы уже чувствовали себя приобщенными к свету. Средняя (по дому тогда уже старшая) сестра с неделю как-то гостила в Москве. Рассказам ее, по возвращении, мы внимали, как Шехерезаде; и надобно отдать ей справедливость, она так живо, так подробно и с такою наблюдательностью передавала свои впечатления, что, не видав, мы познакомились со столицей не менее самой счастливицы, побывавшей там. Когда спустя несколько лет пришлось мне быть в театре, я вошел в него, как человек бывалый; все подробности я заранее представлял себе по рассказам сестры именно так, как нашел их потом.

Отсталость в быте нас мучила. Припоминая это ощущение, сравниваю его с другим, которое, наверно, многими испытано. Снится, что в какое-нибудь отборное общество являешься вполне одетым, но босиком и не знаешь, куда деваться, как спрятать ноги, как не дать заметить другим свою небрежность, оплошность, рассеянность. Окружавшее нас духовенство, и именно из молодого поколения, даже более бедные, дьяконы например, пили чай ежедневно. У нас этого было не заведено. И мы старались этого не показать пред посторонними. Я носил личные сапоги; пусть стыда пред сверстниками я не чувствовал, потому что прочие носили ту же обувь; но моею мечтой было удостоиться «смазных» сапогов. По ходатайству сестры потом я получил их, между прочим крайне удивившись, что новые, праздничные сапоги оказались не только не дороже, но даже дешевле тех, которые прежде были у меня. И с каким же усердием я их чистил!

Сестры ходили в шубейках, покрывались платочками. О шляпках не смели они и мечтать, но переменить шубейку на салоп — это казалось достижимым, и сестра-домохозяйка копила деньги, получаемые от учеников, чтоб устроить себе желаемое облачение. И устроила; точнее — все мы трое устроили. Предшествовали долгие совещания, из чего сшить, чем покрыть, какой воротник поставить. Акакий Акакиевич не так радовался своей шинели, как радовались все мы трое сестриному салопу.

Сейчас помню: он был прадедамовый, зеленого цвета, на заячьем крашеном меху, с лисьим воротником. Почему именно зеленый, не просто черный, не оливковый, не какой другой? Заметьте, и сарафанницы, переходя к платью и в особенности от бумажных к шерстяным материям, начинают с зеленого, которым заменяют яркие цвета и крупные разводы прежнего одеяния; за зелеными платьями на ступень выше следуют обыкновенно синие. По этим цветам узнаете горничную, кабачницу, жену овощного лавочника. Тут действует не пример, не мода и не вкус портнихи. Помимо желания подняться внешностью до «господ» действует свой внутренний идеал красоты; совершается в душе неуловимый процесс, в силу которого перестают нравиться цвета, режущие глаз, но зрительный нерв еще требует возбуждения и не удовлетворяется ни серым, ни черным, хотя это и модно, и барыни так одеваются. Очевидно, сестры и я стояли на этой эстетической стадии, когда облюбовали зеленый цвет.

Я озаглавил настоящую главу словом «цивилизация», имея в виду не то понятие, которое с ним соединяют в Европе и которое равнозначительно просвещению. Мы — я и сестры — ко многому тянулись действительно потому, что находили новое более просвещенным. «Что это ты сказал: инда я испужался? — замечает мне сестра; — нужно говорить: даже я испугался». Не говори: «сем я возьму», а «позвольте взять». Это были уроки вежливости и благовоспитанности действительно, хотя по истине и жаль, что просительное «сем» не получило гражданства в литературе; оно так живописно и так идет к прочим вспомогательным глаголам, заимствованным от первичных физических действий: «стал», «пошел», «взял»! Но смазные сапоги и зеленый салоп не выражали благовоспитанности, не означали просвещения, не представляли даже удобства; салоп, особенно тогдашний безрукавный, несомненно холоднее шубы. А я готов был прятать ноги пред мальчиком в смазных сапогах; а мы умирали от стыда, когда случалось обмолвиться пред посторонними и сказать о комнатах «горница», «боковая», «топлюшка». Горница переименовалась в «залу», топлюшка — в «кухню», даже прихожая — в «переднюю». Что было необразованного, невежливого в «горнице» или «прихожей»? Тут действовал уже слепой пример, потребность приличия, в других случаях именуемого модой. Но мода сравнивает вчерашнее с нынешним, а здесь сравниваются не времена, а общественные слои. Переменой быта сказывается боязнь унизиться до простонародья или желание вырваться из него, поползновение на барство, и прибавлю, — барство в смысле тунеядничества. Мать-покойница сама стряпала; потом стряпала тетка; обе они и

сарафанницы. Бог продлил век тетке, но ни в каком уже случае не стала бы к печке на ее место сестра, как считает за стыд стать к печке теперь всякая попадья, дьяконица, даже дьячиха. Всякая лавочница при первой возможности наймет кухарку, не потому чтоб ей было тяжело или не хватало времени, а из стыда; труд разделился в понятии на благородный, безразличный и низкий.

Если бы случай поблагоприятствовал, дети никитского священника живо бы онемечились или офранцузились (скорее, конечно бы, офранцузились): до того нас тянуло быть выше, «благороднее»; а цветом «благородства», конечно, признавалось совершенное отрешение от народа. Меня еще спасал патриотизм, воспитанный чтением книг и рассказами отца; на всех нас, кроме того, был груз, невольно оттягивавший к низу, к народу — вера с ее обрядами. Однако и я, например, выучил наизусть (глазами, а не слухом) почти всю книжку «Французских разговоров», случайно оказавшуюся у нас; и сколько помню, одним из побуждений пробегать незнакомые французские фразы было именно желание духовно приблизиться к тому кругу, из которого выведены герои читанных мною повестей и романов. А в тогдашние времена не было беллетристического произведения, где бы в разговорах не пестрели французские фразы.

Если не на иностранном действительном, то на непонятном для других языке говорили мы, однако, и употребляли его именно при посторонних, подобно тому как господа объяснялись по-французски при прислуге, чтобы не профанировалась господская мысль даже внешним участием к ней Хама. Мы пользовались русским языком, но намеренно исковерканным. Сначала нас научили вставлять пред каждым словом зе: зе-я, зе-по-зе-шел, зе-до-зе-мой; это значило «я пошел домой». Но после с чьих-то слов прибегли к тарабарщине помудренее: вставляли между слогами по два слога и притом с гласными, изменяющимися сообразно слогу: я-нава, вы-нывы, ше-невел; это означало «я вышел». Мы говорили этою тарабарщиною чрезвычайно быстро и действительно достигали того, что нас другие не понимали. Знали мы еще и третий способ коверкать слова и прибегали к нему, но реже, и не усвоили полной быстроты. Этот способ состоял в перестановке слогов; пай-сту, мой-до, вут-зо — значило: «ступай, домой зовут».

Понятно после того, что молодежь у Никиты Мученика не развлекалась ни народными песнями, ни народными играми, напротив, сторонилась от них, как бы от неблагопристойности; напротив, купили мы на последние гроши какой-то дрянной песенник и разучили по нем «Звук унылый фортепиано» и «Черную шаль», хотя упивались и слушая Ивана Васильевича,

когда он играл на скрипке «Лучину-лучинушку» или «Не одна во поле дороженька». Но то уже игра на скрипке, занятие благородное, хотя песни мужицкие. Мы певали с сестрой иногда и народные песни, но только ради комизма, насмешливо передразнивая мужицкое пение. Зато просидели все мы целую ночь напролет у окна, когда в соседнем доме у городничего был бал по случаю именин. Мы подмечали каждую мелочь, которая доходила до нас от «образованного» класса, хотя бы чрез разряженную дворовую девушку. Мы сличали свое «грубое» с видимым у других, утонченным, по нашему мнению. Мы не знали, что такое «котлета» и «сыр», и я, в частности, вкусил то и другое не ранее тринадцати лет от роду; но вероятно, каков бы ни показался вкус того и другого, мы не менее бы усердно кушали, чем я «бисквиты», с которыми познакомился десяти лет. Это было памятным происшествием. Готовить ужин на свадьбе сестры приглашен был мещаниновский повар Яков Васильевич. Мое любопытство было возбуждено непонятным для меня взбиванием сливок.

— Что это такое будет, Яков Васильевич?

— А это, сударь мой, я доложу вам, крем к бисквитам.

— Какой крем, какие бисквиты?

— А вот будете кушать, изволите узнать.

Сели за стол поздним вечером; ужин тянется; одолевает меня дремота, и я засыпаю.

— Бисквиты, бисквиты! — восклицает, наклонясь ко мне, прислуживающий человек.

Я мгновенно просыпался, разочаровывался и снова погружался в сон, пока наконец восклицание «бисквиты» разбудило меня к действительным бисквитам.

С каким жадным вниманием прислушивались мы к рассказам брата Сергея Петровича, когда он рассказывал о знакомом ему княжеском и графском быте, что и как там едят, на чем сидят, как ходят и кланяются. Для брата (Сергея), как и для нас в том периоде, обычаи светского и именно высшего общества были верховным кодексом, и в этом отношении мы отличались не только от отца, но и от старшего брата (Александра). Для отца значение обычаев, можно сказать, не существовало; он жил в тех, которые унаследовал, именно в них жил, а не то что держался их. Он не переменял обычая, потому что не задавал себе, наверное, никогда о нем и вопроса, как не задает никто вопроса, жить или не жить вообще, носить ли вообще нижнее платье или ходить голоногим. Остался, например, никитскому священнику по преемству от Матвея Федоровича обычай приглашать к себе в день ангела (для батюшки он приходился в праздник Петра и

Павла) после обедни значительнейших прихожан «на чашку чая»; по тому же обычаю, после чая подносим был собственноручно каждому из гостей бокал сотерна. Почему сотерн именно, не другое вино? На этот вопрос батюшка, вероятно бы, затруднился дать объяснение. Потому именно, что так было при деде; а при деде шампанское и вообще шипучие вина до Коломны не доходили. Брат Сергей справлял праздник и принимал гостей уже с шипучим, правда «полушампанским», как его тогда называли, а не с шампанским (что такое за вино было полушампанское — не ведаю). Это было зеленое платье, как батюшкин сотерн — сарафан. Брат Александр относился прямее и свободнее. В нем не было поползновения на аристократизм, да не питал он и уважения к аристократам; скорее, наоборот. Зато не стыдился он ни звания своего, ни бедности своей, ни своего быта. Останавливаю внимание на этих трех типах, потому что они живут в обществе и теперь. Старина не рассуждающая, живущая как жила — один; другие не прочь принять обычай новый, но свободно, по справедливым требованиям гуманности, удобства, денежных средств; третий тип: рабская погоня за внешностью высших нас по состоянию и общественному положению. На этой стадии мы, младшие члены семьи, и стояли в описываемое время. Как известно, теперь есть еще и четвертый тип — нахального неряшества, намеренного, почти насильного пренебрежения внешностью, хвастовства незнанием приличий. Он народился в последнее двадцатипятилетие вместе с натянутым демократизмом разных видов: это то же рабство, только с переменой кумира и с утратой прежней добросовестности. Младшие дети никитского священника рабствовали простодушно, и притом пред требованиями светского приличия, отождествляя их bona fide [4] с требованиями образованности. Эта болезнь о приличии, этот страх оказать при случае неблаговоспитанность мужицкую, или мещанскую грубость, или кутейническую неловкость изощряли наше внимание и к рассказам Сергея Петровича. После, уже в семинарии, нота эта слышалась и у других. Одним из любимых рассказов между школьниками был анекдот о мифическом семинаристе, попавшем к барину в учители или гувернеры, и о похождениях его, не менее потешных, чем похождения по-шехонцев, что вот он, например, сморкнулся в «атмосферу» за неимением платка или заткнул себе скатерть вместо салфетки и, выскочив из-за стола, все потащил, всех залил и перебил посуду. Или анекдот о сельском дьяконе, которого потчевали в одном месте артишоками, в другом фисташками: артишоки он глотал целиком со шкурой, а фисташковые зерна откладывал, по мере того как грыз. «Что вы не кушаете, отец

дьякон?» — «Да они все гнилые», — отвечает гость, указывая на багровый цвет зерен. Подобные предания ходят, вероятно, не в одной Московской семинарии, хотя здесь случаев соприкосновения с господскими домами представлялось больше и стремление к светскости говорило сильнее, нежели где-нибудь. В других городах старый быт сохранился долее. Уже в пятидесятых годах москвич, попавший на учительское место во Владимирскую семинарию, рассказывал мне, что туда обычай носить брюки к тому времени еще не доходил. Семинаристы даже в Богословском классе ходили в халатах. Раз он — по крайней мере, так он передавал — предложил одному богослову свои брюки, жилет и сюртук, чтобы тот в приличном костюме отправился на свадьбу, куда его звали. Надел малый непривычное одеяние, пошел, но через несколько минут прибежал, запыхавшись, обратно; «Нет, В.И., позвольте снять». — «Что же так?» — «Да все смотрят; я не знал, куда деваться». Около того же времени одного из учителей той же семинарии видел я входившим в гостиную, и не к очень даже высокой особе, но которую учитель считал светскою. Он вошел с перчатками в руке, держа двумя пальцами всю пару, не надев ее ни раза, не примерив даже и даже не оторвав левую перчатку от правой, а так, как поданы были ему в магазине, пристегнутыми одна к другой. После я знал людей, и притом из лучшего общества, которые совсем не носили никогда перчаток по принципу; припоминался мне при этом бедняга учитель, заплативший дань приличию, но не менее забавным способом, чем тот негритянский король, который с важным видом давал аудиенцию европейскому посланнику, одетый в английский красный мундир, только без брюк, и в проволочном кринолине, надетом поверх.

ГЛАВА XVI
ПРИХОД

Я бы опустил существенное обстоятельство, если бы, сказав об училище и домашнем быте, не коснулся еще среды, в которой, между прочим, совершилось мое возрастание: прихода. Приходов два типа в России: территориальный и родословный. В селах они сливаются, не то в городах. В столицах прихожанами считаются не лица, а дома; лица только потому, что живут временно в этом, а не другом доме; пятницкий прихожанин будет завтра ильинский, с переходом на квартиру близ церкви «Ильи Пророка». В некоторых городах то же, что в столицах, и в больших это неизбежно. Возможно ли было в Москве, например, в случае требы отправляться за священником из Мещанской к Серпуховской заставе или из Преображенского в Поддевичье? Но приход при территориальном разделении утрачивает часть понятия о себе как живом целом, состоящем из братьев и детей одного отца, на сей раз не только Небесного, но и земного, в виде отца духовного. Сегодня здесь, завтра там, крестился у одного, исповедывался у разных, венчался где пришлось; бывает так, что исповедывался у одного священника, а Таинство Причастия принял на другой день у другого в другой церкви, по записке духовника. Интересы прихода не могут приниматься близко к сердцу, когда связан с ним только временно и внешнею связью соседства; когда не только по пословице «кто ни поп, тот батька», но и храм тот или другой говорит сердцу безразлично, как храм вообще, а не в частности наш храм. Бывают явления даже прямо уродливые: приходские церкви без прихожан. В Москве есть приходы, где два, три дома, составляющие весь приход, принадлежат иноверцам, даже евреям. Бывали и такие случаи, правда в старину, что настоятели продавали часть прихода соседу. Так случилось, по преданию, с церковью Большого Вознесения на Никитской, тою церковью, в которой Потемкин надеялся было обвенчаться с Екатериной. Священник или протоиерей Вознесенский выдал дочь; зять поступил в соседний приход Феодора Студита, а тесть взамен или в дополнение приданого отчислил «натурою» часть домов зятю-соседу[5].

В Коломне приходы состоят из семей безразлично к месту жительства, и только два территориальны, Троицкий (где родился Филарет) и Запрудский, но потому, что это особенные слободы, и первая из них — Ямская. Братство прихожан в Коломне поэтому теснее, нежели в Москве, и особенно наглядно

свидетельствовалось оно постами, во время говенья, и на праздниках, не говоря о храмовых и двунадесятых, но и рядовых. Хотя другая церковь и в пяти шагах, прихожанин идет к обедне все-таки в свою: сколько-нибудь зажиточным она родная, между прочим, потому, что здесь есть вклады от отцов и дедов, от того икона, от другого облаченье, а вот и завеса у царских врат из штофной, шитой золотом фаты. Это я уже помню: фату на завесу принесла церкви в дар моя крестная мать, купчиха Скворцова, мужа которой, ослепшего под старость, заслушивался я, когда он рассказывал о «степи», на десятки верст простирающейся, об одиноких «хуторах», об опасностях гуртам при прогоне, о малороссийском борще, с которым по вкусу не может сравняться ни одно из наших кушаний, о том, наконец, как приходилось воевать на хуторах с крысами, которые вваливались по ночам в покои целыми стадами.

Великий пост, первая неделя, главное говенье. Жалобно-протяжно звонят колокола, ударяя не только пред началом службы, но и среди, пред началом каждого «часа». В предвидении частого их употребления Федот дьячок благоразумно еще с утра в чистый понедельник привесил к трем колоколам по длинной веревке, чтобы не лазить каждый раз на колокольню, а звонить с земли. Служба начинается в урочное время, и народ собирается рано, всегда к самому началу. Лица серьезнее обыкновенного. Служба долгая, поклоны тяжелые и учащенные, что служит поводом, между прочим, к пересудам. — «А смотри, Феклистовна-то опять забрюхатела», — замечает тетка, придя домой от первых же часов в чистый понедельник и садясь с нами за трапезу, состоящую неизменно в этот день из отварных грибов с квасом и хреном. — «А что?» — «Больших поклонов не клала».

Пятница на первой неделе поста сопровождается неизменно происшествием, подымающим душу со дна. Этот день, день исповеди, и без того мрачно торжественный. Но раздирающее душу представлял старичок, мещанин Максим Иванович; он приближался к церкви с рыданиями, падал на колени и на коленках полз по всему переулку от улицы до паперти церковной. Рыдания были громогласные, на всю улицу, с воплями, мольбами, ударами в грудь. Судьба этого семейства — судьба мрачная, отмеченная. Старичок любил выпить; это бы еще ничего. Он был задорен; и это бы еще ничего. Но у него был сын не менее задорный; завязывалась брань, и отец проклинал сына. Проклинал и затем на другой же день раскаивался. За батюшкой шлют, бывало. Что такое? — Да что, опять снимать проклятие! То есть призывали читать положенные разрешительные молитвы. Усовещивали старика, сам он раскаивался, но при первом случае

повторял прежнее, а в пятницу великопостной недели оглашал плачем раскаяния чуть не весь город. И это неизменно каждый год.

Умер старик; остался сын, сто крат проклятый и сто крат разрешенный. Но он повторил отца: те же проклятия детям и те же разрешения. Оглашал ли он воздух покаянными воплями, не знаю; меня уже не было тогда в Коломне. Сын его, внук Максима Ивановича, был богат, нажив состояние нечистыми, даже бесчеловечными средствами, но попался, был судим и сослан на поселение. Это было громкое происшествие, доставившее всему городу торжество: сострадавших не оказалось ни души. Говорят, богач-сын оставлял нищим отца, заставлял его пресмыкаться, и набожная Коломна в стечении этих обстоятельств усматривала печать «проклятия», которое сами на свой род положили Максим Иванович и Иван Максимович.

Отдыхала душа на празднике, и Светлая неделя, равно как Рождество, имели для меня особенное значение, потому что с семилетнего, кажется, возраста, стали брать меня по приходу; то есть я сопровождал причт и точно так же получал, как и они, «за святыню». Я лично не находил в этом утешения, потому что получаемые деньги отдаваемы были отцу, и тот за труды мои награждал меня уже по окончании всего славленья не более как несколькими грошами. Много ли я всего набирал, точно не умею определить, но помню, что брат-учитель говорил, шутя, ученикам обо мне: «Он богач, у него есть тридцать рублей пятачками». Это значило, что отец откладывал собранные мною деньги, разменяв их предварительно на серебряные пятачки. Полагаю, что брат преувеличил. Но по его словам, стало быть, у меня накопилось до полутораста пятачков (они ходили, помнится, по 22 копейки) примерно в два года и, следовательно, я «нахаживал» в каждую святыню более семи рублей. Это много. Я помню дележи денег всего причта, после Рождественской и Светлонедельной святынь. На долю отца доставалось 60 рублей, без малого или с небольшим; по 20 рублей — дьячкам. Словом, выхаживалось всеми до ста рублей. Следовательно, если я набирал до восьми рублей, это был доход значительный. Не во всех домах мне давали и не везде одинаково: где копейку, где грош, где пятак екатерининский, тяжелый, а где и пятачок серебряный и даже гривенник. Тридцать рублей, собранные мною и лежавшие у отца в виде пятачков, поступили в часть приданого старшей сестре Марье Петровне; это было мое усердие и воля отца.

Шестьдесят рублей, и притом ассигнациями, — это был самый крупный доход моего батюшки. Такого он не получал еще ни в какое другое время года и ни при каком случае. Требы были

грошовые; свадьбы, которых бывало по одной, по две в год, давали высшее — синенькую, то есть пять рублей на всех; красненькая — это уже баснословно. А свадьба — дороже других вознаграждаемая треба. Я помню случай, как в 1840 году, по случаю дороговизны хлеба, брат московский стеснился содержать меня даром и высчитал батюшке, что за содержание меня приходится 90 рублей. Приехал я в Коломну, и отец, при обратном проводе меня, стал отсчитывать вместе со мною медные гроши и копейки, которые откладывал он, чтобы накопить требуемую сумму. Девяносто рублей копейками, грошами, пятаками, изредка попадалась серебряная мелочь! Тяжелы были эти девяносто и в буквальном смысле, веса много: но каково было мне отнимать это сбережение, зная, каким медленным процессом оно достигнуто?

Положение духовенства и в других приходах не блистало, но было во всяком случае лучше, отчасти по относительному богатству приходов, а более всего по практичности иереев, которой был лишен отец. В числе доходов городского духовенства не малую часть составляет «проскомидия» (поминовение за литургией). По старозаветному, родитель мой служил обедни не каждый день, а при жизни своей «Мавруши» и тем реже. Он строго следовал правилу Служебника, повелевавшему супружеское воздержание пред днем литургии и запрещавшему литургию «нечистому». Молодые иереи поступили и начали, к немалому удивлению, служить ежедневно, а на недоумение, выражаемое по этому поводу стариками, отвечали с улыбкой:

«Э, что позвонишь, то и получишь». Ежедневным звоном привлекался ежедневный доход с проскомидии, а с тем и другие поминовения в виде сорокоустов, полугодичных и годичных, которые дотоле заказывались почти исключительно в монастырях и соборах, где служба обязательно ежедневная.

Не довольствуясь ежедневностью, отцы стали привлекать православных ранним звоном. Для торгового человека важно кончить набожные дела прежде начатия мирских. Отсюда конкуренция: кто раньше ударит? Пошли вперегонки, и не знаю, на какой точке теперь остановились. А в старые времена, чего я уже не запомню, ранние обедни даже вообще запрещались, и одна из коломенских церквей (Николы в Городе) обязана, сказывали мне, самым сооружением этому правилу: в виде привилегии, специально для этого сооруженному храму дозволены были обедни ранее указного часа. Подобный процесс совершается теперь, но не с обеднями, а со всенощными. В зимнее время они первоначально совсем не полагались по приходам (говорю о московских); затем, в виде привилегии, по особому ходатайству

дозволены некоторым; недалеко время, что войдут в общий обычай, и, конечно, нет разумных оснований тому препятствовать.

Праздник Рождества ли, Пасхи ли, когда предстояло хождение по приходу, сопровождался неизменно теми же обстоятельствами. Беру Рождество. Ранним, ранним утром, часу в третьем, тотчас после утрени, садимся в сани (выпрошенные всегда у Мещанинова) и едем «по чужим», то есть не по нашим прихожанам, а по тем, кто хотя чужого прихода, но нас принимает или даже принимает всех. Маршрут назначается, кем начинать, кем кончить. Кончаем Запрудом, самою дальнею стороной, откуда возвращаемся уже при благовесте к обедне. Жутко бывало мне это время: всегда мороз, руки и ноги коченеют, а при проезде чрез Большую (Астраханскую) улицу овладевало уныние, подобное тому, какое ощущал я при звуках отбиваемой косы. Большая улица — тракт из хлебородных губерний в Москву. Зимами все ночи напролет тянулись и к Москве, и обратно бесконечные обозы, путь которых сопровождался однообразным, равномерным стуком полозьев о ступеньки, образованные в снегу копытами лошадей. Тук-тук-тук, и это в бесконечность, в непрестанном, не умолкающем однообразии, одним и тем же размером.

Любознательность питалась рассматриваньем купеческих хором. Я узнал о существовании столовых часов: их указал мне отец в одном доме (Токарева), и каждый раз, каждые Святки и каждую Святую, мы подходили к ним неизменно и рассматривали. В другом доме был зимний сад; то есть зала, в которой нас принимали, была уставлена померанцевыми и лавровыми деревьями в кадках и была прохладна, что мне очень не нравилось, потому что озябшие члены просили тепла. В третьем столь же неизменно, после того как приложатся хозяева ко кресту, заходит речь, не написал ли еще чего-нибудь хозяйский сын (самоучка-живописец). Стены залы, в которой нас принимали, размалеваны были масляными красками от пола до потолка; сюжет патриотический; «Взятие Шумлы», «Штурм Варшавы», и я становился возле какого-то генерала во весь рост на коне, в треугольной шляпе, с поднятою шпагой. Даже на мои детские глаза малевка была очень плохая, но любезность требовала осведомиться о художнике-самоучке. Услышал я в первый раз, при том же славленье, гнусавое гудение старообрядцев. Нам пришлось в одном доме дожидаться в передней, пока кончат они свое пение; пономарь Андреич не упустил при этом вполголоса передразнивать их, а отец, сдерживая улыбку, останавливал его. При том же славленье познакомился я и с городскою беднотой: с

мазаными лачугами, покрывившимися набок, а то и с каменными, но у которых стены внутри были полосатые, серого и черного цвета, черного как сажа, с ручьями сырости на них, с окнами из стекол только наполовину, а наполовину из сахарной бумаги, с воздухом столь нестерпимым, что одну семью, жавшуюся в таком угле, я прозвал «Варькою вонючей» (по имени домохозяйки). Были такие семьи, и мы их посещали, причем не всегда даже брали деньги; отец отстранял руку, протягивавшуюся дать, может быть, пятак; он знал, что пятак этот дорог был семье, хотя еще дороже «святыня»; не обходил он такие семьи «святыней», но и отказывался от пятака. Это бескорыстное утешение святыни доставляемо было, понятно, только своим прихожанам, по которым путешествие совершалось днем, продолжаясь не только в первый день праздника, но и в следующие. Шло исподволь, и притом по чинам; посещали тех прежде, кто значительнее и может обидеться на недостаточное внимание; рассчитывали и то, в каком доме не отпустят без чая. Дом Мещанинова, как первого прихожанина, посещаем был не только прежде других, но и прежде чужих, непосредственно после заутрени первого дня.

Немного пищи получал мой ум в беседах за чаем, если где нас оставляли. Разговор шел о гуртах, о степи, хороша ли торговля, много ли ждут барок (если дело идет на Святой); в десятый раз повторяется воспоминание о Макарьевской ярмарке, на которой Терентий Титыч получил болезнь ног. «Ярмарка тогда была еще у Макарья, а не в Нижнем; ходу-то было версты две; ну, так видите…» и проч. Отец слушает участливо старика, повторяющего этот рассказ о причине своей болезни, пономарь Андреич подобострастно, то улыбаясь, то качая головой, как бы слышит в первый раз, между тем как и я уже выучил наизусть.

В Светлую неделю происходило то же, но с тою вариацией, что пред обедней ходили только по своим, напротив, а не по чужим, и притом с образами, из которых один носим был мною. После обедни носить образа было запрещено в предупреждение пьянства и безобразий с иконами, и отец исполнял это предписание. Другая была разница, что приходилось христосоваться со всеми и получать яйца, что мне было не по вкусу, ни то, ни другое, тем более что приходилось нечаянно иногда раздавливать в кармане яйцо, оказавшееся не крутым, а сваренным всмятку. А сюртучок к Светлой неделе большею частью шили мне новый: что за приятность пачкать обнову! Еще вариация: прежде чем кончено хождение, в первый же день после вечерни (после вечерни вообще не ходили со святыней) происходил дележ куличей, пасхи и яиц, оставленных в виде вознаграждения натурой за освящение пасхи. Слыхал я о

безобразиях, какие бывали при таких дележах в селах; доходило иногда до формальных сражений; противники вооружались яйцами и стреляли друг в друга, обращая церковь в арену. У нас дележ происходил на дому и совершенно скромно. Батюшка предоставлял эту операцию производить младшему члену причта, то есть пономарю, который и резал каждый кусок на три пропорциональные части, или же спрашивал общего совета, не считать ли эти две или три пасхи за одно, то есть одного достоинства? Сестры иногда просили Андреича, чтобы не забыл отложить им яичка два-три порозовее; им-де нужно «с такою-то похристосоваться, яичко требуется получше». Андреич исполнял с удовольствием.

Кроме яиц, пасхи и куличей, был и еще предмет дележа, который и тогда возбуждал, и доселе продолжает возбуждать мое недоумение: кувшин с пивом. Сам кувшин очень изящный, фарфоровый, с нарисованными китайскими фигурами на нем, являвшийся неизменно в том же экземпляре, препровождался обратно Мещаниновым, от которых он поступал; а пиво, или, точнее, брага (пиво было домашней варки), выпивалось. Зачем оно было и зачем попадало на стол вместе с освящаемою пасхой? Обычай шел, очевидно, с незапамятных времен. Хотя дьячки и шутили, выпивая тут же при дележе: «Приидите, пиво пием новое», — но неужели этот ирмос Пасхального канона и послужил началом к обычаю, которого в других приходах, сколько мне известно, не было, да и в нашем только домом Мещанинова практиковался? А почему знать? Может быть, какой-нибудь прапрадед Мещанинова и растолковал вместе с тогдашним попом пасхальный ирмос в буквальном смысле и нашел по сему приличным пиво, к питию которого приглашает канон, приносить для освящения вместе с сыром, разрешаемым на праздник. О старых временах это неудивительно, и в доказательство расскажу о двух случаях. Иконописец изобразил царя Давида поднявшим голову кверху, откуда сияние, и держащим простертую длань, а на ней два глаза. Подпись: «Очи мои, Господи, пред Тобою выну». «Выну», то есть «всегда», художник понял в смысле «вынимать»; это рассказ батюшки, видевшего икону. Другой рассказ его же о церковном обычае, существующем, сколько известно, в одной Коломне. После венчания священник провожает молодых со крестом до дома. Это водится и в других местах, но в Коломне крест, сверх того, и оставляется в доме новобрачных на несколько дней. Священник потом отправляется за ним, берет обратно в церковь и получает при этом подарок. Откуда это? Хотя, исполняя установившийся порядок, но критически относясь к нему, батюшка передавал, что раз был просто забыт крест попом спьяна;

на свадебном ужине ведь не бывает без того, чтобы не выпить лишнего. «Отсюда и завелось, тем более когда попа даже одарили за то, что их божница несколько суток осенена была напрестольною святыней». Итак, если «очи мои выну» послужили к изображению безглазого праотца, а забывчивость охмелевшего попа — к обычаю оставлять крест в доме новобрачных, отчего и пиву не явиться на пасхальный стол в церковь для освящения наряду с сыром, яйцами и куличом?

Упомяну еще о двух обычаях, принадлежавших уже не всей Коломне, а относившихся к нашей церкви особенно. 1) В нашу церковь приносили детей «прикалывать»; это бывало во время страдания «колотьем». Не из города только, и даже из города менее всего, а из деревень, иногда за десяток и более верст, приносили младенцев. Операция состояла в том, что отец благословлял ребят и, взяв копие с жертвенника, касался больного места. Кто завел этот обычай? Когда? Почему? Читаны ли были при этом какие молитвы? В свое время я не любопытствовал, так как и не думал, что это есть привилегия, усвоенная народом специально нашей церкви; а теперь затрудняюсь объяснить, сообщая только факт. 2) Являлись часто; редкий день не бывали за «святою водой от Никиты Мученика». Приносили пузырек, им отливали, и бабы, крестясь, давали копейку или грош. Так как приходящие являлись и вечерами, и среди дня, когда нет службы, то у нас в доме всегда была наготове бутылка со святою водой, а на полочке, в особенном месте, лежали собранные деньги, которые при первом богослужении и относились отцом в церковь. Откуда опять этот обычай? Откуда это особое почитание Никиты Мученика? Наконец, не знаю, сохранились ли до сего времени оба обычая.

«Это все — богослужение; а проповедь живая была?» Нет, до того нет, что даже тех проповедей, которые батюшка произносил по наряду в соборе, он в своей церкви не произносил. Он был враг всякой аффектации; проповедь по наряду была форма, которую нужно было исполнить, и он исполнял, обращаясь к сыну с просьбой приготовить к назначенному дню заданное упражнение. Неохотно слушивал он даже чтение проповедей. «Страстная ли седмица» Иннокентия вышла, или отдельно какая проповедь знаменитого оратора напечатана была в «Христианском чтении», однажды брат Сергей читал нам ее вслух. Он декламировал мастерски, чему помогал и голос, чистый, звонкий, выразительный. Все мы слушали с наслаждением; женский пол плакал; батюшка барабанил тихо пальцами по столу и по окончании вышел молча, не отозвавшись ни словом.

Да и в самом деле, церковное красноречие, начиная с

киевских ораторов, наехавших в Москву двести лет назад, и до сего времени, было более риторством, нежели ораторством, не было сердечною, от души идущею проповедью. Исключений немного. И народ, сердцем прослышав это, в общем, холодно отнесся к проповеди, доселе не признав за нею существенного дополнения к богослужению.

Исповедь, беседа личная, пока остается у нас главною, почти единственною формой и случаем поучения. В Коломне, как в прочих местах, не столько ценили, хорошо ли проповедует, а внимательно ли «батюшка» исповедует.

ГЛАВА XVII
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Обойду ли молчанием общественную жизнь родного города в более обширных пределах, нежели приход?

Ее не было; но в том и дело. Когда в зрелом моем возрасте возникали и решались крупные вопросы, политические и социальные, вводились реформы, я за поверкой обращался, между прочим, в свои детские годы и искал там зачатков, развитие которых теперь совершалось предо мной, вопросов, на которые давался теперь ответ законодательством и печатью; я спрашивал об отношении, в каком находились к тем самым вопросам мои современники тридцатых годов. — Тщетно; я не находил никакого отношения, никаких запросов, никаких зачатков. Пред крестьянскою реформой, например, с трудом я вошел в мысль, что прекращение крепостных отношений должно произвести коренной, глубокий, всеобъемлющий переворот. Таково было недоумение, оставленное во мне средой, меня воспитавшею, несмотря на то что я несколько лет уже занимал кафедру, достаточно, между прочим, был знаком с политическими и социальными учениями, современными и прошлыми, не говоря об истории. Суждениями по многим вопросам и событиям внутренней политики я производил на приятелей, воспитавшихся в другой среде, впечатление «институтки»; употребляю это выражение, сказанное в те времена мне и обо мне одним известным России публицистом, которого не назову, но который вспомнит о своем отзыве, вызванном моею тогдашнею во многих отношениях наивностью.

Дело не во мне, разумеется. Существенна открывающаяся в этом полосатость общественного развития; именно полосатость, другого названия не приберу. Иное дело степень развития, иное — его характер, путь, которым оно идет, исходная точка, откуда движется. Иное — цвета радуги, один в другой переливающиеся от преломления лучей в однородной массе; иное — световые полосы, получаемые спектром от разносоставного тела. Такого рода полосы и в общественном сознании, именно в России. Для ясности укажу пример из моей же жизни, хотя из другого периода. Готовясь к Философскому классу, пробегал я между прочим тетрадки, по которым учился брат, и обрел трактат «De libertate» («О свободе»). Там рассуждалось de libertate cogitandi, libertate dicendi, libertate agendi [6] и доказывалось решительное право всякого на свободу мысли и слова. Это семинаристы учили

и во всеуслышание исповедывали на публичных испытаниях во времена Аракчеева и Магницкого! Были ль они, при всем веровании в libertatem cogitandi и dicendi, либералами в том смысле, какого боялся Аракчеев или Шишков? Ничуть, и покойный Филарет спокойно слушал эти рассуждения, без опасений, что пред ним напрямки провозглашались принципы французской революции, тезисы известной «Declaration des droits de l'homme» [7]. Другой пример, в 1848 или 1849 году кто-то из петербургских мудрецов предложил запретить правила Василия Великого о монашестве, усматривая в них опасный коммунизм. Предложение Бутурлина вычеркнуть из молитвы Господней слова «Да приидет царствие Твое» я считаю басней, хотя о нем в свое время тоже говорили; но попытка к остракизму творений Василия Великого есть факт подлинный. Мы, до кого сомнение о Василии Великом отчасти касалось, не могли никак даже в толк взять: да чем же наконец грозит политическому порядку этот Учитель Церкви, один из «трех великих святителей»? В петербургском же мудреце опасение понятно, да и во всяком, кто бы взял творения Св. Отца вне исторической связи, вне места их в Церкви, а перешел к их чтению прямо от Фурье или Кабе. Вот наглядно два течения, идущие с разных точек, каждое своим руслом, и при встрече неизбежно возбуждающие взаимное о себе недоумение. Подробнее раскрывал я то явление некогда в рецензии на книгу «Странствия инока Парфения». Среди нас и с нами, говорил я, живет другой мир, нам незнакомый, с другим строем мысли, чуждым нам и непонятным, хотя лица эти известны нам, мы сталкивались с ними, говаривали, ведем с ними постоянные сношения. Но есть события, совершающиеся в этом, чужом для нас мире, которые нами не замечаются, не подозреваются в своем существовании, не узнаются, когда мы их и видим. Равно события и идеи нашего мира не замечаются и не понимаются этими людьми, среди нас живущими, но с мыслию, обонпол лежащею; совершенно в другом освещении представляется окружающее и нам и им. Это я и называю полосатым общественным развитием. Как быт живет в разных ярусах, так и мысль общественная течет разными струями одновременно, притом качественно разными, а не количественно; одна не есть степень другой. Невнимание к этому обстоятельству способно часто обмануть расчеты законодателя, обратить в ничто и даже во вред самые благонамеренные предначертания, и чем обширнее круг, ими обнимаемый, и чем они по-видимому основательнее теоретически, тем опаснее грозит разочарование.

Крепостное право ведомо было Коломне, и в частности мне, десятилетнему мальчугану. То же имение Черкасских, о котором

было говорено, и еще ближе тот же дом Мещаниновых, о котором в настоящих «Записках» упоминается на каждой странице, знакомили меня с существом отношений. Цирюльник Алексей Иванович, дворовый мещаниновский человек, этот старичок с большою седою бородой, беззубый и со слезящимися старческими добрыми глазами, считал нужным, когда стриг, развлекать меня повествованиями о злом нраве шестидесятилетней барышни. «Она всегда была злая, сударь мой», — скажет он, отступя немного, остановившись и прищуренным взором осматривая, верно ли подрезаны виски. «Всегда была такая, не то что покойница Марья Ивановна, царство ей небесное. А эта, бывало, как пудришь ее и завиваешь к балу, кормит тебя оплеухами. Со страха руки трясутся, хуже портишь, а она-то злится пуще». Любимым его рассказом было повествование о походах в Москву и Петербург за отысканием Фортуната, тогда мальчика, а ко времени рассказа уже пятидесятилетнего старика. Отдан был Фортунат к немцу-портному, но бежал. Цирюльнику поручено было его отыскать, и поручение исполнено было с успехом. Рассказ Алексея Ивановича был рассказ охотника, который выслеживал зверка, ставил тенета и словил наконец. Сам Алексей Иванович принадлежал тоже к семейству, бежавшему от господ. Об этом он не рассказывал, ему было тяжело, понятно; но в доме у нас история была известна. Николай Иванович, старший брат Алексея, был глава семейства и старший конторщик или управляющий Ивана Демидовича Мещанинова, ведшего обширные торговые операции, человек смышлености и опытности образцовой, честности примерной. Не худо жилось у господина, который его любил и доверял ему, тем не менее он решил бежать. В глубокой тайне шли приготовления, тем более что семья была большая и собственного добра было у нее немало. Надо было найти подводы, извозчиков, уложиться и не дать заметить. Укладываясь к побегу, не хотел управляющий оставить и господские дела в расстройстве. Все бумаги привел в порядок, приготовил по всем статьям полную отчетность, переверил все склады, кассу и тогда уже, оставив в конторе ключи ото всего с полным обо всем отчетом, уехал с домочадцами. Его след пропал первоначально, и не утешен был Иван Демидович. Однако как же не отыскать было след? След был найден. Николай Иванович бежал в Одессу, торговал, нажил трехэтажный дом в Таганроге или Кременчуге (в которых-то из этих двух городов, название которых память моя смешала). Достать его сначала трудно было, он жил на вольной земле; однако где-то накрыли, и все беглое семейство возвращено было к прежнему быту. Наказания особенно сильного не последовало. Прежнего положения

бывшему управляющему, разумеется, не было возвращено; но он сам себе составил наказание; он, до того примерно трезвый, запил, допился до чертиков и в белой горячке прибегал иногда к нам, на монастырь, с восклицаниями вроде следующих: «Слышите, слышите, батюшка, как они поют? Поют, гудят, смотрите, какие у них дудки чудные». Он указывал при этом на невидимых музыкантов в воздухе. Без смеха, с почтительным состраданием относились и отец мой, и домашние к болезни неудавшегося южнорусского негоцианта.

Злая барышня не терпела женатых и замужних. И рассказывалась история, как такой-то, тщетно умолявший о позволении жениться на такой-то, распорол наконец бритвой себе живот. Пригласили доктора; но самоубийца, упорствуя и противодействуя, вырывал из себя внутренности и умер-таки.

Все это и подобное я слышал, переживал своим сердчишком страдания, о которых мне повествовали; но общего вопроса о праве, не говоря юридическом, а человеческом и христианском, как-то не приходило, и недоумения не возникало: как-де это так, жениться, такое законное и правильное дело, не позволяют? Никто и из окружающих никогда не проронил ни слова, которое бы дало повод начаться недоумению или же представлению о возможности других порядков. Семья наша и все, кого случалось слыхать и видать, относились, очевидно, к крепостному праву, как относятся к стихийной силе, молнии и дождю, или к физическому закону тяжести, с которыми не спорят в существе и с которыми только обходятся так или иначе, покоряясь им, облегчая себя от них подходящими средствами, но не объявляя им войну самим в себе.

Предполагались бы в городе, и сравнительно немалом, общие городские интересы. Какие они были? Никогда никакого проблеска, никакой мысли о возможности органического, совокупного общественного труда на общественное благо. Есть то, что есть, прилаживайся к нему каждый; вот, по-видимому, была общественная мораль.

Несомненно, однако, были же собрания городские, конечно и дворянские, происходили выборы; но ни о том, ни о другом никогда я не слыхал. Имелось понятие, что существует голова, бургомистры, ратманы, исправник, предводитель, судьи, заседатели; но чтобы в ум запало понятие о различии должностей выборных и коронных, до этого не доходило. Не доходило в целые шесть лет развития (с 8 до 14 лет), когда я читал уже и газеты, и журналы, и следил даже за политикой. Но около меня самого как будто пустое место было; взор находил только разные образцы домашней жизни, разные виды приходских и школьных

отношений; понятие же о городском обществе отсутствовало, и мне тем более это странно теперь, что в других старинных городах сознание коллективной городской личности никогда не прерывалось. Или, может быть, не видел я того в Коломне только потому, что семья моя не принадлежала к городскому сословию?

В течение помянутого периода не было ни войны, ни другого крупного политического события, которое могло бы служить огнивом, извлекающим из кремня искру, и положило бы в меня зачаток политических идей, не из книг взятых, а жизнию указанных. Из крупных событий были: пожар Зимнего дворца; читалось об этом, и даже слышан был рассказ очевидца. Учредилось Министерство государственных имуществ; проведена первая железная дорога (Царскосельская); государь переломил ключицу в Чембаре и, проезжая обратно в столицу, останавливался и даже ночевал в Коломне; с прочими я глазел по целым часам перед окнами, где он останавливался. Были какие-нибудь у кого-нибудь разговоры с каким-нибудь политическим оттенком? Ни у кого, никогда, никаких. Всего каких-нибудь три, четыре года перед тем произошло усмирение польского мятежа, восемь лет тому назад случилось 14 декабря. Никогда не слышал я от окружающих ни слова ни о том, ни о другом. Только раз, на просьбу дать что-нибудь почитать, отец вынес мне из ризницы Доклад Верховного суда о декабрьском возмущении; я прочитал его, запомнил, но оставил он во мне впечатления столько же, сколько оставило бы описание какого-нибудь политического происшествия в Гонолулу.

Слыхал я беседы и о государе, и о высших правительственных местах, но представления были детские, отчасти сказочные. С любовью передавались рассказы, на большую половину мифические, о царских детях Александре и Константине, их разных характерах, их времяпровождении, саги о Константине Павловиче, который-де не умер, а скрывается и находится с государем-братом в переписке. Этим мифическим рассказам не верил сам, кто рассказывал: это была народная поэзия.

Отдам справедливость моим землякам: к двум общественным вопросам они были неравнодушны — к военному постою и к городской стене. Постоем сильно тяготились: состоятельный гражданин за долг почитал иметь два дома, из коих один для постоя. Учреждение городских казарм было общим желанием, и оно потом было исполнено. Негодовали горожане, что из материалов городской стены местные власти строят дома, даже хлопотали в высших сферах о ее поддержании и даже успели, правда, отчасти только. Стены валились, крошились; упала и Мотасова башня, о которой была речь выше (в первой главе).

Упала она почти на моих глазах. Еще за несколько месяцев обнесена была она забором по берегу и по самой реке; событие очевидно было предвидено. Страшный грохот заставил меня раз вздрогнуть, когда я шел из училища домой обедать; а когда после обеда возвращался на вечерний класс намеренно «низом», то есть ближайшею к берегу улицей, на берегу и в воде лежали глыбы камней наместо высившейся башни; она рухнула с самого основания, подгрызенная временем и водой в своей подошве.

Жизнь горожане вели затворническую. Лавка и церковь — вот единственные места выходов, и первая притом исключительно для мужского населения, если не считать торговок, сидевших в палатках или с лотками на открытом воздухе. Откуда этот теремной режим, когда в высшем сословии терем уже кончился, а в низшем, то есть крестьянском, его даже не бывало? И тем удивительнее, что купечество пополнялось выходцами из деревень же. В том же Деднове, тех же Ловцах, откуда вышел купец-гуртовщик или грузовщик, дед и даже отец его, даже, может быть, сам он был обыкновенным крестьянином, и жена его с дочерью не сидели за занавесками окон, с боязнию даже посмотреть на проходящих по улице. Тем не менее, со вступлением дедновца в купечество, вступал в свои права и терем, эта анахроническая пародия на боярство, которое само освободило свой женский пол от затворничества. С ужасом рассказывали по Коломне, и вероятно в преувеличенном виде, о неожиданно эманципировавшейся даме купеческого семейства, которая открыто принимала уланских офицеров и — о ужас! — даже каталась с ними. Кататься можно женщине из приличного семейства; но на это положено определенное время, Масленица, когда по назначенному десятилетиями, а может быть веками, маршруту вереницы экипажей совершают круг по городу, причем повелевается преданием сидеть неподвижно, со взором, безжизненно устремленным в спину кучера.

Я сказал о Деднове, из которого по преимуществу пополнялось коломенское купечество. Дедново — невольная колония Великого Новгорода, царем ли Иваном, или ранее того населенная. В этом селе есть София, существуют «концы», как в метрополии; слышатся следы и новгородского наречия; но предания политической свободы исчезли, тем более что к моему времени Дедново было уже в крепостном владении фаворита Екатерины, Измайлова, славившегося, между прочим, сумасбродными потехами и необузданным характером. Он заманивал исправников и заседателей, чтобы высечь, находя в этом удовольствие. В своем епифанском имении он пригласил раз из города соборное духовенство с чудотворной иконой.

Отправилось духовенство, хотя недоумевало о внезапном приливе набожности у вельможи, слывшего за вольнодумца. Встретили с почетом экипаж, привезший икону и духовенство. Вносят чередом икону в залу; священник или протоиерей начинает молебен в присутствии безногого барина, вкаченного на кресле. Но в ту же минуту отворились двери с обоих боков, и с одной стороны входят музыканты, с другой вбегают наряженные плясуны. Начинается пляска. «Пляши, отец! — приказывает хозяин (а за ним гайдуки с нагайками), — иначе запорю». Колебался служитель алтаря, но вынужден был отплясывать в облачении в такт скоморохам пред иконой. «Ну, батька, благодарю, отвел душу! — воскликнул утешенный сумасброд, отсыпая горсть золотых. — Вот тебе за потеху. А если бы заупрямился, жив бы отсюда не вышел». Это рассказ моей тещи, епифанской родом. От нее же слышано следующее. Козлов, брат ее воспитательницы, сенатор, охотился вместе с Измайловым, который ему доводился соседом. Повздорили о чем-то. На обратном пути Измайлов, смягчившись внезапно, стал усиленно приглашать Козлова к себе. «Нет, брат, слуга покорный», — отвечал сенатор, пересел в свой экипаж и велел кучеру ударить по лошадям. — «Умно, братец, сделал, — признался Измайлов при следующем свидании с Козловым, — было бы худо».

Должно быть, окрестности Коломны, как пограничного со степью и инородцами города, вообще служили местом ссылки. Сужу так по разнообразию произношения; не выходя из города, я слышал, и притом частию от горожан, частию от подгородных, и щоканье, и цоканье, и смягчение, и расширение гласных: цаво (чего), лебСще (либо что), нашелси впереди, лезя (лезет), идёть (идет) и т. п.; и притом у разных разное, в одном селе та, в другом другая особенность: ясный след происхождения из разных мест и от разных племен.

ГЛАВА XVIII
КНИЖНЫЙ МИР

При отсутствии игр и сверстников, в однообразии быта, среди мертвого окружающего я, подобно отцу, находил утешение в книгах. Как я читал? Когда начал читать? Что читал? Но я не помню, чтобы при первом досуге не держал в руке книги, с тех пор как выучился читать; не знаю книги, которую бы видел и не воспользовался случаем прочитать ее. На нижних полках нашего домашнего шкапа лежали книги, исключительно, помнится, Екатерининского времени; я их прочитал и перечитывал все, за исключением отвлеченных рассуждений вроде известного «Наказа». Раз у кого-то, когда ходили по приходу, оставлены мы были откушать чаю; лежала книга на окне; в течение беседы хозяина с гостями я пред открытым окном (был теплый весенний день Пасхальной недели) прочел книгу, которая оказалась, как после я узнал, «Баснями» Крылова; ни прежде, ни после долго я их не видал. В светелке на окне кем-то оставленная книга в осьмушку, в кожаном переплете с золотым обрезом, привлекла по обыкновению мое внимание; я взял ее и в саду за один присест прочел. Это была часть исторических книг Ветхого Завета, на славянском, конечно, языке. Чтоб это была Библия — я этого не ведал, да не знал и того еще, что есть на свете книга, называемая Библией (хотя уже начинал учить катехизис). Но с тех пор я и еврейских царей, и историю Товита дознал вполне. Мыло ли, сахар ли принесли из лавки завернутым в лист с печатными строками: это был макулатурный лист, но я прочел его; он оказался анекдотами о Балакиреве. Я сложил лист и даже упросил Ивана Евсигнеевича заброшюровать его. У школьников попадались книги, из которых, помню, прочтены: «Гуак, или Непреоборимая верность», сказки о Бове Королевиче, Еруслане Лазаревиче, «История Францыля Венциана», «Похождения» Ваньки Каина, Картуша, Совестдрала Большого Носа, «Похождения пошехонцев», «Не любо не слушай», «Пересмешник», «Письмовник» Курганова, «Гадательная книга». Это по части народной литературы, и притом книги; сказка об Емеле Дурачке и другие принадлежали лубочным брошюрам; «Мыши кота погребают, или Мороз Красный Нос» — листы той же печати. Эти картины с текстом высмотрены и прочтены преимущественно при хождении по приходу, во время «Христос воскресе», которое выпевалось одновременно с тем, как пробегал я глазами на листе, прибитом к стене гвоздями, картину. Тут попадались и Ноевы

сыновья («Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Иафет власть имеет»), и Шульгин, московский обер-полицеймейстер, и Бобелина, греческая героиня, и Паскевич с Дибичем, и храм Петра в Риме, и перевал какого-то войска через горы: между прочим, сидит солдат на пушке и его спускают. Эти две картины с иностранными подписями. А одна из самых замечательных была портрет Константина Павловича, награвированный между 19 ноября и 14 декабря, с подписью: «Император и Самодержец Всероссийский».

Сказанное сейчас относится к мимоходному чтению. Но у отца было постоянное чтение. Всегда на его столике лежала книга с закладкой на том месте, где он остановился; иногда, сверх того, газета, именно «Московские ведомости», тогда издававшиеся в четвертку форматом. В отсутствие отца то и другое читалось и мною непременно, и из постоянного чтения «Московские ведомости» едва ли не было первым. Тогда шли испанские дела (в начале тридцатых годов) и происходило ирландское движение; я узнал о христиносах и карлистах, об Эспартеро и Сумалакаррегви, об О'Коннеле и Мельбурне. А затем выучил наизусть текст извещения о высокоторжественных днях, которое излагалось по неизменному шаблону с неизменным окончанием: «после чего на Ивановской колокольне происходил обыкновенный звон». Разнообразились только имена священников, говоривших в данный день проповедь, и иногда имена архиереев, отправлявших «благодарственное Господу Богу молебствие». Книга, лежавшая на столике, была или журнал какой-нибудь, или вообще новая книга, купленная И.И. Мещаниновым и данная отцу на прочтение.

Первый современный журнал, виденный мною, был «Телеграф». Сестры любили рассматривать его модные картинки и даже составили прилагательное «телеграфский» для означения приличия в одежде и наружности. Брат, наезжавший из Черкизова, читал вслух повести; я слушал, но в памяти осталось мало, ибо это было в период моего отупения. Ум разверзся только к десятилетнему возрасту, в 1834 году; а тогда появилась «Библиотека для чтения» и она вошла в мое постоянное чтение с «Московскими ведомостями».

Чем более я рос, тем жаднее погружался в чтение, тем сильнее ощущал голод любознательности. Книжка, оставленная Иваном Васильевичем, «Французские разговоры» Кряжева, как уже говорил я, прочтена была мною не один раз, и в обоих текстах, русском и французском, хотя по-французски я не читал. Но я знал буквы, и если бы кто поэкзаменовал меня и спросил, например, как по-французски: «Не хотите ли вы говядины?», я бы не ошибся в письменном ответе. Отец снисходил на мое желание

читать и просил для меня специально чего-нибудь у И.И. Мещанинова. И чего я не прочел! Переводные романы начиная с Вальтер Скотта, и даже ранее, с Ричардсона; отечественные, не говоря о таких, как Нарежный, Булгарин, Загоскин, но даже «Кадм и Гармония» Хераскова; старые журналы вроде «Сына отечества и Северного архива», «Отечественных записок» Свиньина или «Вестника Европы» Каченовского, Измайлова «Благонамеренный» и другие. Читалось особенно по части географической и исторической, а иногда из сферы прикладных знаний, начиная с аббата Делапорта и кончая словарем Щекатова и Миллером. Путешествия прочитаны мною несомненно все, какие изданы были со времен Екатерины кончая путешествиями Врангеля и Литке уже в Николаевское время. Сохраняю до сих пор нежность к книгам в кожаном переплете с красным обрезом: они были первыми моими учителями, вроде «Исторического словаря». Кем он был составлен?

Книги читаны были не только без системы, но большею частию даже без любопытства об именах авторов. «Русская история» Татищева, Щербатова, «Ядро Российской империи» Хилкова, «История» Глинки, «История» Карамзина проглочены были безразлично. «Письма русского путешественника», «Повести» Карамзина, «Московский вестник» прочтены были без внимания к тому, что это писано Карамзиным; меня занимало содержание. Я искал другого мира сверх окружающего и доволен был, находя его в книге. Это был второй вид эмпирического восприятия, после первого, который доставлялся непосредственным зрелищем природы и окружающего общества. Отсюда образовалось направление самого вкуса. Не только рассуждений отвлеченных, но лирических мест я не читал, пропуская их мимо, когда случалось попадать на них, в повестях например. И описания природы, коль скоро проникнуты лирическим оттенком, тоже отталкивали меня: душа просила объективного изображения, пусть даже из фантастического мира.

Замечательная вещь: к стихам я вкуса не имел и не имел терпения их читать. Признаюсь в своем недостатке: стихотворная форма до сих пор не находит отзвука в моей душе; хотя я не лишен способности ценить стих, но ценю его внешним образом. Никогда во всю свою жизнь не мог я выжать из себя стишонка и никогда к этому не чувствовал позыва. Хуже того: я никогда не запоминал стихов и не мог почти ни одного заучить. Были и есть исключения, но они ничтожны. Между тем память у меня была замечательная, особенно с десятилетнего возраста, до того быстрая, что я уроков не учил, за исключением вокабул; достаточно было раз прослушать, и я знал наизусть, но только

прозу. Эта ужасная память отчасти послужила потом и к моей невыгоде, как увидит впоследствии читатель; но чтобы запомнить строфу стихов, мне нужно было усилие, и если я преодолевал его, заученное столь же легко улетало из головы, как трудно в нее укладывалось. Эта физиологическая особенность заслуживает внимания потому, между прочим, что одновременно с тем я неравнодушен к музыке. Пусть музыкальною памятью я также не одарен, но самое течение звуков в размеренном порядке и их гармония производят на меня и производили всегда глубочайшее, всеобъемлющее действие. Раз шел я из училища домой обедать. В одном доме, мимо которого я проходил, отворено было окно и из него лились звуки фортепиано. Я стал как вкопанный; и фортепиано-то я слышал впервые, да и переходы звуков меня поразили. Я простоял, забывшись, так долго, что не имел времени даже дойти до дома и воротился в училище без обеда. Когда я расшаливался и капризничал дома, еще в малолетстве, одним из средств укрощения была заунывная песня. Выведу из терпения сестер, и они запоют: «О чем ты, Маша, плачешь» или «Веселая беседушка». Я зажимаю уши, плачу; наконец молю сестер, чтоб они остановились, и делался тих и покорен. Не противоречие ли это? Его заметил покойный Сергей Тимофеевич Аксаков, когда я ему рассказывал о своей идиосинкразии. Стих ведь есть та же музыка; музыкальный размер есть тот же стих. Тем не менее одно действует, другое нет. В одном из сыновей своих я заметил обратную идиосинкразию. Он владеет стихом и имеет к нему позыв, а музыка для него то же, что стих для меня: его чувство к ней тупо.

К слову, еще об одной моей идиосинкразии, и тоже в органе звука. Я не имею понятия о звуке, издаваемом кузнечиками. Мне в этом не верят, некоторые негодуют даже, когда я об этом объявляю, особенно когда сами они в то же время слышат звук этого насекомого. Раз или два, когда меня подводили к самой траве, где трещал кузнечик, я слышал действительно нечто похожее на звук пилы, но звук слабый во всяком случае, который без указания и не дошел бы до меня. Меня уверяют, однако, что звук, производимый кузнечиком, очень силен, даже несносен. Счастие это или несчастие, но я лишен его. Точно так же я почти не слышу колокольчиков с толстыми стенками, которые назову колокольчиками «стучащими» в отличие от звенящих. Говорят, что такие колокольчики издают очень сильный и резкий звук; я его не знаю и предлагаю физиологам обсудить мой недостаток. Мекаю, что неспособность слышать кузнечика и тупость слуха к стучащим колокольчикам истекают из той же причины: в органе слуха недостает чего-то, чтобы воспринять известное качество

звука, — у кузнечика и стучащего колокольчика не однородное ли? Иду далее, хотя это и слишком смело, может быть. Самый стих не есть ли кузнечик и стучащий колокольчик, в отношении к которому колокольчик звенящий есть то же, что музыка к стиху? Но это догадка, подтвердить или отринуть которую дело физиолога.

Книгами снабжал И.И. Мещанинов, новыми — по мере выхода и приобретения, старыми — по особой просьбе и указанию. Когда его не бывало в Коломне и источник иссякал, начиналось перечитывание, тасканье из церкви Четиих-Миней, Георгия Кедрина (византиец-хронограф); в сотый раз перечитывался «Календарь 1832 года», «Сын отечества» 1812 года, перечитывалась даже толстая Арифметика Аничкова, впрочем, не правила, а примеры; пересматривался даже Латинский лексикон Розанова, и опять не с филологическою целью, а, точнее, с историческою. В предисловии говорилось о золотой и серебряной латыни и объяснялись сокращения, под которыми означались писатели. Меня занимало, кто золотой, кто серебряный писатель, и я любил разгадывать сокращения.

Что же я знал в результате? Говорю о периоде от 10 до 13 лет. Знал я очень много и опять повторяю — по части эмпирических сведений и прикладных знаний. История, география, домоводство, сельское хозяйство, техника. Откуда же хозяйство и техника? Сведениями снабжали журналы и словарь Щекатова, издания Вольного экономического общества, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, начавший выходить к тому времени, и путешествия. Я имел понятие, например, о кораблестроении, о торфе, о сидре, о трехпольной и плодопеременной системах, о чугуноплавильных домнах, не говоря о странах, лицах, годах Старого и Нового Света, древней и новой истории, об искусстве, политике, литературе. Было не связано, неполно, неравномерно, поверхностно, но обширно. Связь отчасти возникала потом сама собою: события, лица, естественно-исторические и технические явления устанавливались в соответственные рамки и последовательный порядок сами собою, тем процессом, каким укладываются в свою систему непосредственные впечатления природы и общества.

Любопытен вопрос: что оставалось в душе, что отбрасывалось? Мнения не оставались, как всякие рассуждения и лирические излияния. Я был постоянным, например, читателем критических статей и рецензий, но существо отзыва если запоминалось, то запоминалось как факт, не усвоиваясь в смысле убеждения. И еще наблюдение о действии нравственном. Вспоминается отзыв еще Златоуста, который сравнивал читателя

со пчелой, выбирающею с цветка, что ей нужно. Нет сомнения, что пришлось читать в романах, например, много двусмысленностей, картин, возбуждающих чувственность; это отлетало без следа; не помнилось, и внимание скользило. Припоминаю один случай, когда внимание остановилось и возбудилось недоумение. Путешествие Вальяна по Южной Африке, издание, кажется, прошлого столетия, одна из тех переплетенных книг с красным обрезом, которые так любы мне, перечитано было мною несколько раз: она же и с изображениями готтентотов и кафров. Вальян был женат; из путешествия это видно. Но с тем вместе он же сам говорил о своих близких отношениях супружеского свойства к одной готтентотке. Я поразился этим и никак не мог примирить несообразности. Да как же это, ведь он женат и у него жена во Франции? Так ли я понимаю? Этим сказалась высокая целомудренность отца и вообще непорочная чистота нашей семьи. А не монастырски же мы воспитывались; все мы свободно могли слышать и видеть, и несомненно слышали и видели, но в сознании преломлялись не те лучи, которые пускались. Душа просто не воспринимала многого, для чего в ней не было почвы. На одном дворе с нами, в нашем же садике, в пяти шагах от нашего дома жил в своей избушке на нашей земле Петр Яковлевич, овчинник, которого я маленьким называл, картавя, «Покрака», а он называл меня «графчик» (я долго не понимал, что такое «графчик», и первоначально полагал, что графчик вроде графинчика что-нибудь). С ним жила, заменяя ему кухарку и хозяйку, младшая тетка моя Татьяна Матвеевна. Какие их были отношения? Как Очный лед, идущий к верху, странное сожительство моей тетки с чужим ей Покракой не возбуждало вопроса, хотя я точно знал, что они и не родные, и не муж с женой. И точно так же, как об Очном льде, уже в лета юности, разговорившись как-то с братом, я догадался о существе отношений между этими двумя лицами, которых видел ежедневно.

Просится под перо много педагогических замечаний, из которых удовольствуюсь одним — о тщете строго систематического воспитания. Система в голове дитяти создается помимо педагогической указки и часто вопреки ей, совершенно так же, как нравственность слагается, не слушаясь отвлеченных нравоучений. А признав это, произнесем смертный приговор господствующей у нас, в первоначальном по крайней мере образовании, системе упрощений и облегчений, «навождений», всегда мнимых. «Что делают руками? Что делают ногами?» Учебник, задающий эти вопросы, непременно должен отуплять. Начать уже с того, что ногами ничего не «делают»; это

бессмыслица. Но нелепо требование вести ребенка именно определенною лестницей, одного как другого одинаково, с одной определенной ступеньки на другую, столь же определенную; так позволительно учить только глухонемого. Помимо учебника, помимо изустных уроков целый мир разнообразия одновременно действует на ум и сердце дитяти, возращая в нем семена, большею частью даже неуловимые. Идиосинкразия нравственная, как и физическая, есть все для успеха в педагогии, и чем менее считаются с индивидуальными особенностями, чем более усиливаются иметь в виду «общечеловека» в методе воспитания, тем оно безуспешнее, иногда даже вреднее. Отнюдь не думаю рекомендовать случайного набора, которым составились мои первоначальные сведения. Но размышляю иногда: если бы все, мною добытое, преподано было мне систематически, последовательно, больше ли бы я знал и правильнее ли, нежели узнал своим беспорядочным способом? Полагаю, что я не узнал бы сотой доли, и тысячная доля не прижилась бы ко мне и не срослась бы. Читая, я не заботился о писателях, не изучал царствований в хронологическом порядке, не зубрил ботаники по классам растений; но, если бы кто тогда проэкзаменовал меня, право, я оказался бы знающим более и основательнее не только географию и историю, и в частности историю литературы, но даже ботанику, зоологию и минералогию, нежели другой, прососавший учебники малый, даже старше моих лет. Причудливая машина — человеческая природа!

ГЛАВА XIX
НА ШАГ ОТ ГИБЕЛИ

Я прервал рассказ о личной своей судьбе на пороге между Грамматическим и Синтаксическим классами, или Низшим и Высшим отделениями училища. Мне было десять лет, и я переведен был в Синтаксию, помнится, тринадцатым учеником, едва ли даже не во втором разряде. Новая классная зала, смотревшая веселее той, из которой меня перевели, казалась будто и светлее прежней: она была розового цвета, с розеткой, изображенною посредине потолка. Пять скамей, три налево от входной двери, две направо. Все это памятно мне, и недаром: здесь прошла большая половина моего училищного искуса, четыре года, тогда как в обоих прежних классах в сложности всего три. Против входной двери, на противоположной стороне, была другая, ведшая в сени смотрительской, или теперь уже ректорской, квартиры.

Да, с удалением В.И. Груздева нам назначен новый начальник уже с титулом «ректора», так как он был магистр; магистерская степень давала смотрителю привилегию именоваться ректором, как учителю семинарии — профессором. Коломна доселе не видала магистерского креста, за исключением двух ревизоров, временно приезжавших на испытание училища.

Каков будет этот? С некоторым суеверным страхом ожидали мы будущего начальника и учителя (он должен был преподавать латинский язык в Высшем отделении). С почтением смотрели мы уже на Груздева, и я, в частности, исполнился к нему благоговением, когда раз на испытании он заметил учителю, что в переводимом месте хрестоматии, кажется в речи из Саллюстия, должна быть ошибка: не numinis надо читать, а luminis [8] (или наоборот, не помню). Каким-то полубогом, пучиной учености показался он мне тогда: каково, найти ошибку — где? В хрестоматии, да еще уметь поправить! Я очень живо представляю себе это чувство. Каким-то сверхъестественным всеведением показалось мне, что из числа стольких слов в такой толстой книге, как лексикон, он помнит слово, похожее на питеп, и знает, что оно именно должно стоять здесь! А теперь у нас будет учителем и главным начальником еще более ученый; он не в семинарии, а в самой академии учил, да, кстати, определен не только в ректоры, а и в благочинные.

Собрались мы, трепещущие. Я сидел далеко, на третьей лавке последним; по крайней мере не близко от очей, заранее

представляемых грозными, не так страшно; полторы лавки первых скамей заняты старыми, то есть оставшимися на повторительный курс. Отворяется дверь (противоположная входной); входит он с едва обложившеюся бородой (недавно посвящен), в темно-оливковой суконной рясе, со своим отличительным крестом, сильно кудрявый, черноглазый, со строгим лицом. Молитва «Царю небесный». Сурово, по окончании молитвы, обращается ректор к читавшему:

— Почему ж не по-латыни? Читать по-латыни.

Сильно «окающее» произношение обличало в нем вятчанина. Выслушав приказание, ученик сел.

— Кто тебе позволил сесть? — спросил ректор. — Стой болваном. Этих утонченностей мы не знали до сих пор и в простоте садились, не дождавшись позволения. Не только Иродион Степанович, но и Груздев не внушали нам внешних приемов вежливости. Ректор обратился к другому ученику:

— Переведи: sine Jove nec pedem move [9].

Ученик замялся; ректор обратился к другому и третьему. К концу класса оказалось с десяток стоящих «болваном» учеников. Когда нам было объяснено, тут же или после, не помню, — только ученики не посаженные обязаны были и следующий класс также продолжать стояние впредь до того, пока посадят, хотя бы не ближе как чрез неделю или месяц даже. Это было нововведенным наказанием, которого мы не знали дотоле.

Классы между учителями были разделены поденно, а не по часам. Поэтому и вечерний класс должен быть того же грозного ректора. Ранее ли обыкновенного против других учителей пришел он, я ли опоздал по случаю шедшего дождя, только ректор был уже в классе, когда я вошел.

— Как твоя фамилия?

Я сказал.

— Стой здесь у двери столбом, чтобы другой подобный тебе дурак, который придет, разбил тебе голову.

Это было первое мне приветствие от нового начальника и учителя. Худое предзнаменование! Оно было вдвойне худо. Ректор диктовал «задачу», то есть русский текст латинского упражнения. Простояв столбом, понятно, я не мог писать и упражнения, следовательно, осуждался на невольную неисправность.

Пошли классы своим чередом, задаванье уроков, переводы с древних языков, задаванье задач для обратного перевода с русского на древний. Курс тот же почти, что в Низшем отделении. Отставились только Устав церковный, русская и славянская грамматика; прибавились география с Священною историей.

Ректор взял себе, кроме латинского, географию и катехизис, предоставив остальное инспектору.

Я упомянул о старых, сидевших на первых полутора лавках. О, это заслуживает особого рассуждения. Старые, оставшиеся на повторительном курсе, следовательно, олухи, малоуспешные, малодаровитые; так должно заключить по здравому смыслу. Действительно, большинство из них и были малоуспешные и мало даровитые. Но это были командиры и тираны класса на том основании, что они числились в списке первыми, а в силу того по школьной конституции им вручалась власть: из них назначались цензоры, назначались авдиторы. Ужасна была эта власть, как сейчас будет видно. В темном предчувствии, что они калифы на час, что молодые их обгонят, старые сплачивались, образовывали лигу, стояли один за другого и старались подставить ногу каждому «молоденькому», оттереть. И удивительно, каждое двухлетие повторялась эта история! Удивительно потому, что каждое двухлетие неизменно оканчивалось тем же: старые под конец в большинстве проваливались, и бразды правления захватывались «молоденькими». Тем не менее, с наступлением курса, история прошлых двух лет забывалась, и «старые» повторяли тиранию, тщету которой должны бы помнить по себе, когда год и два тому назад сами были «молоденькими». Но, может быть, тем яростнее и держались они за власть, что предвидели ее кратковременность и сознавали в душе свое узурпаторство. Когда вспоминаю об этой, периодически повторяющейся борьбе, приходят на память блещущие остроумием страницы Карла Фогта в его «Звериных царствах». В пчелином быту он находит подобие конституционно-монархического устройства, в избиении трутней — восстание рабочих против дворянства, словом — революцию: ежегодная революция, которая, однако, на следующий год забывается, с тем чтобы повториться. То же было в конституции духовных школ.

Прерогативы «старых» имели, однако, и свое разумное основание, историческое. На повторительный курс оставались не всегда олухи, а в прежние времена даже вовсе не олухи, напротив, ученики и даровитые, и успевающие, но желавшие только более укрепиться в знаниях. Такое побуждение тесно связывалось со строем старой школы, где каждый класс представлял особую стадию развития с законченным курсом, в следующем классе уже не повторявшимся и не продолжавшимся. Ритор, чувствовавший себя не в полном совершенстве подготовленным в латыни и в искусстве составлять композиции, не решался переступить в Философию, где преподавание уже велось по-латыни и где существенною частью учения были ежедневные диспуты,

разумеется, на латинском же. Даровитый и ревностный ритор внутренно спрашивал у себя аттестат зрелости и в случае нерешительного ответа предпочитал остаться на повторительный курс. О студенте (начиная с Философского класса слушатели Славяно-греко-латинской академии назывались уже студентами), просидевшем два курса в Риторике, можно было утвердительно заранее сказать, что нет классика, которого бы он не прочитал вполне и не изучил, тогда как о других не всегда это можно было утверждать.

С концом Славяно-греко-латинской академии и с наступлением «нового образования» старые предания несколько лет держались. Диспуты в Философском и даже в Богословском классе продолжались. Учебным языком оставалась та же латынь, и потому в первые курсы Московской семинарии из Риторики в Философию переходило немногим разве более половины учеников; остальная, и не только второразрядные, но перворазрядные ученики, предпочитали оставаться на повторительный курс. И это были не олухи. Между прочим, так поступил брат мой, и от повторительного Риторического курса у него остались томы выписок из латинских писателей. Истинно томы! Книги были редки и дороги; чтение писателей входило в обязанность; лучшие нравившиеся отрывки и целые сочинения переписывались. Словом, время даром проводимо не было.

По той же причине, которая сейчас объяснена, это учреждение «старых», их тирания и борьба с молоденькими не повторялись в других классах, кроме Риторики и Синтаксии. В Риторике побуждением оставаться на повторительный курс служило желание подробнее изучить классическую литературу; в Синтаксии — основательнее овладеть механизмом языка. В других классах не представлялось равносильных побуждений; не было и «старых», или они были из числа малоуспешных и малодаровитых, которым предание не оставило притязаний на власть и тиранию.

Назначены были и нам, молоденьким, авдиторы из старых; из старых назначен цензор, назначены старшие, словом, полный кабинет образован из них исключительно. Назначен урок из географии. География — Арсеньева. О, как я ее помню! Доселе знаю наизусть ее первую страницу, которая, можно сказать, оказалась для меня кровавою страницей. Выучил. Иду утром слушаться. Авдитором — Михаил Преображенский, старший первого нумера бурсы. Вхожу в эту казарму, с грязью вместо пола, с воздухом удушливым, спертым, в котором, по пословице, можно топор воткнуть. Авдитор мой сидит на кровати в одной рубашке, не мытой, вероятно, месяц.

— Пришел прослушаться, — говорю я.

— Что принес?

Этот вопрос означал: принес ли я копейку, грош или лепешку. Я посмотрел с недоумением.

— Читай.

Я сказал урок, но потом увидал в нотате er, то есть erravit, неисправно сдал урок.

— Да ведь я знаю, — возразил я авдитору. Молчание было мне ответом.

Пришел в класс ректор и, просмотрев нотату, провозгласил: «Знающие садитесь, не знающие на колени становитесь». Вместе с другими должен был я стать на колени.

И так пошло, сегодня, и завтра, и послезавтра, у ректора и у инспектора, на латинском и на греческом, на географии и на арифметике, на Священной истории и на катехизисе. В довершение и письменные упражнения наши поверял ректор сам только у лучших учеников, отдавая остальные на просмотр тем же авдиторам. Взяток мне давать было не из чего, денег не бывало; предлагал, когда случалось, просвирку, но это мало умилостивляло. Протестовать не решался по робости. Да и к чему могло повести? Пробовали некоторые. Соглашается проверить ректор; выслушает сам.

— Да это он после уже, как прослушался, подучил, — оправдывается авдитор.

— Нет, нет, поди, — замечал жалующемуся с своей стороны инспектор, когда жалобу приносили в его классе, — Бог на том свете его (авдитора) накажет за несправедливость, а ты поди, флекти (то есть становись на колени).

Да притом вскоре отнята была и физическая возможность протестовать. Подошло в географии перечисление морей, затем далее Пиренейский полуостров. Требовалось показывать на карте, которая на стене. Но старые составляли из себя сплошную живую стенку, загораживали карту и не допускали «молоденьких». Сколько времени прошло, неделя, или две, или месяц, не помню; ректор признал за благо произвести суммарную расправу, пересмотреть нотату за истекший период и воздать каждому поделом. Потребованы лозы, и меня первого растянули.

Меня первого наказал ректор, и я в первый раз подвергся, после трехлетнего ученья, секуции. Высечен был я больно.

И так пошло далее. Я уже заранее знал каждый день свою участь и готовился: стоять на коленях вечно и быть от времени до времени сеченым. Секли сильно, секли слабо; это зависело от секутора. Ректор не стоял над учеником, а расхаживал; инспектор был подслеповат. Снискать милость секутора можно было

взятками, которых опять у меня не было. Впрочем, особенно жестокосердых не находилось, и только раз, помню, высечен я был до крови.

Я перестал учить и со зла разорвал географию (ее после склеили опять и переплели по приказанию отца).

Сначала я чувствовал горе, потом негодование, затем отчаяние. Я махнул рукой и мысленно отрекся от класса и ото всех сидевших. Я не признал ни в ком товарищей: в старых — за их несправедливость; в успевавших вообще (сидевших) — за их гонения; в коленопреклоненных со мною — потому что они были мне не по плечу, неразвитые и невежды, действительные олухи, а некоторые и негодяи. И только одного нашел, от кого душа не отвращалась: Иван Любвин, прозванный почему-то Куком; но его также преследовали, отчасти за безобразие (некрасивые черты и притом ряб как кукушка), а более за кротость характера. В уголке стоя на коленях, за другими стоявшими впереди, невидимые учителю, играли мы иногда во время класса в нолики, «на щелчки». Нолики — это был написанный четырехугольник с девятью клетками, на которых один из играющих писал крестики, другой — нолики, и кто успевал написать три нолика или крестика подряд, тот выигрывал и давал противнику три щелчка в лоб.

Я подвергался гонениям, сказал я. Да, я был всех моложе, всех слабосильнее, всех нежнее, ни с кем не водился. Этого было достаточно. Меня стали бить, бить ни за что, а так, чтобы попробовать и показать свою силу. Приходит сорванец в класс, видит меня и, проходя мимо, ударяет кулаком в спину или в голову, при общем смехе товарищей. Смотря по силе удара, я падал, иногда летел в угол; случалось — удерживался на ногах. Защищаться и сдачи давать я не мог; жаловаться не смел, да и бесполезно было: жалобы не подтвердились бы и только участились и ожесточились бы побои. Оставалось терпеть или укрываться, когда представится возможность. Были два любителя, которые упражняли на мне свои кулаки ежедневно, как бы считали обязанностью; без того не сядет на лавку, чтоб меня не стукнуть. И в числе этих был именно Троицкий, к которому полтора года назад я прилепился душой, с которым всем делился, которому отдал свой кушак даже.

Тяжелые воспоминания! Грех лежит на душе покойного А.И. Невоструева, человека в высокой степени почтенного в других отношениях. Как было не заметить этого мальчика, несомненно выделявшегося от других даже видом своим, который не мог быть так груб и туп, как у других? Но не один вид мальчика должен был обратить на него внимание. Невоструев, надо отдать ему

справедливость, отлично преподавал географию, обращая ее в своего рода энциклопедию. К описанию стран он прибавлял историю; при перечислении знаменитых мужей той или другой страны передавал их биографию, перечислял их заслуги и труды. Большею частию это было не в коня корм. Ученики были не подготовлены, а потому, естественно, забывали все толкования, — кроме меня одного, который при обширном чтении мог часто сказать больше, нежели даже передано учителем.

— А кто был Микель-Анджело? Болван, ты не помнишь, ведь было говорено!

— Кто был Микель-Анджело? — возвышая голос, обращался ректор ко всему классу.

Наступает гробовая тишина. Дыхание у всех захватывает. Он был страшен, он бил по щекам, таскал за волосы, бил табакеркой по голове; бил, придерживая рукав рясы так, что малый покачнется в одну сторону, а он подхватит тотчас же и ударит с другой стороны, чтобы восстановить равновесие. Ни живы ни мертвы все.

— Кто скажет? Кто знает? Болваны!

В это время тщедушный мальчик, сидящий последним на третьей скамье, если по какому-нибудь чуду не доводилось ему в этот день стоять на коленях (чудо это потом случалось, по низвержении старых), начинал сухим пером скрипеть по бумаге. Это делал я нарочно, чтоб обратить внимание.

— Ну, так, это верно бездельник Гиляров! Кто был Микель-Анджело? Если скажешь, прощу, а то становись на колени.

— Микель-Анджело был скульптор и живописец. Его работа — храм Петра; его картина — «Страшный суд», и проч.

— Ну, садись, бездельник.

Это повторялось неоднократно. И никогда же не пришло в голову во время моих бедствий почтенному Александру Ивановичу удивиться и спросить себя: да откуда же, да отчего этот мальчишка отвечает всегда на вопросы, когда все оказываются незнающими?

И, однако, ему не пришло в голову. И меня продолжали сечь, я продолжал стоять на коленях, и меня не бил только ленивый.

Как еще только я уцелел и вынырнул!

ГЛАВА XX
ПРОГУЛ

Уцелел я потому, что царствование «старых» продолжалось не вечно, рушилось скорее даже обыкновенного, и с громом, какого еще не бывало. Чуть ли не после первых же Святок, во всяком случае не дожидаясь каникул, несколько «старых», человека четыре, были исключены из училища среди курса — событие чрезвычайное. Кроме того, было перепороно по крайней мере человек тридцать, и притом торжественно, в сенях, на виду двух классов, чуть не «под звонком». «Сеченье под звонком» — это, по преданиям училища, шедшим еще от старой семинарии, была торжественная экзекуция вроде прогнания сквозь строй, полагавшаяся для чрезвычайных преступлений, в присутствии всего учебного и учащего персонала, при ударах звонка, сопровождавшего взмахи розог. К моему времени сеченье под звонком оставалось только в предании, но экзекуция над тридцатью напоминала былое: два класса настежь, учителя в полном сборе, в углу целый ворох розог, и притом не наших, артистических, а просто пуков хворостины, мочалкой перевязанных и не свитых. Понятно: и приготовил-то их сторож-солдат, а не «дневальный» любитель.

Что такое было? За что такое торжественное наказание? В самых общих, неясных чертах доведена была до меня сущность происшествия. Ученики попались в «питье», а некоторые и того хуже, чуть ли не в посещении домов терпимости. Невоструев признал нужным, должно быть, потрясти училище необычайностью расправы, с тем чтобы совсем из него выкурить обнаружившиеся пороки. И надо отдать справедливость, это ему удалось; о том, чтобы за учениками вообще и за кем-нибудь в особенности водилась привычка вкушать хмельное, я после того уже не слыхал. А велась эта привычка издавна, благодаря старой семинарии, где учились и взрослые. Старшие классы семинарии упразднены, а право пить, молча признанное самим начальством за старшим возрастом, осталось и перешло к синтаксистам, которые из теперешних учащихся оказывались самыми возрастными. Первый смотритель училища, Иродион Степанович, продолжая предание старой семинарии, угощался сам на рекреациях с синтаксистами где-нибудь в роще, под звуки кантов, ими распеваемых, среди игор в лапту и чехарду. Груздев таких безобразий себе не дозволял, но синтаксисты не отрекались от понятия о себе, как о больших, которым пристало пить и

предаваться другим совершеннолетним забавам. Торжественная экзекуция над тридцатью понизила самосознание ребят до естественного уровня.

Итак, «старых» большинство высечено, некоторые исключены вне срока, и в том числе мой авдитор. Авдиторы вообще переменились, и цензор назначен из молодых. На греческом классе у инспектора производились даже пересадки, и первые обращались в последних. Невоструев не производил пересадки весь курс; тем не менее иерархия, нас встретившая при переходе в класс, была потрясена, и мне не приходилось уже бояться требования взяток; карты географические оставались в свободном распоряжении.

Что ж, я воспрянул? Нет, но вместо едкого негодования и потом отчаяния наступило равнодушие и какое-то презрение. Да, презрение ко всей школе у десятилетнего мальчишки. Я читал про себя запоем книги, но уроков не учил и упражнения писал спустя рукава, лишь бы сбыть с рук. У меня был другой, фантастический мир, в котором я жил душой и который был далеко и от училища, и от Коломны, иногда даже от земного шара. Скорее для смеха, нежели серьезно, иногда я выучивал урок, внимательно составлял задачу и даже ходил «делёкой». Делёка — это было вот что. Существенное в курсе по преданиям было — написать без «ероров» упражнение; уроков можно не знать, особенно по предметам, не относящимся к языковедению, но можно занять первое место, если писать «синё», то есть sine errore [10]. На этом основании завелся обычай: кто считает себя обиженным в списке, а другого занимающим незаслуженное место, тому предоставлялось право предложить поединок сопернику, которого он считал ниже себя. Это называлось «делёкой» (de loko [11]). Задавалось упражнение, и претендент на более высокое место объявлял учителю, что он идет «делёкой» на такого-то. Соперников отсаживали за особенный стол в предупреждение, чтобы кто из них не списал у другого. Претендент внизу упражнения подписывал: «contendo de loko cum» (спорю о месте с таким-то) или соответствующую фразу по-гречески, если было греческое упражнение. У Невоструева не было делёк, как и пересадок вообще, но А.А. Сергиевский, священник и учитель греческого языка, дозволял эти турниры. Итак, раз, когда я занимал место на последней скамье, то есть второй направо, в средиобеденный отдых меня начали чем-то дразнить. Это было уже во второй год пребывания моего в классе, когда с прекращением тирании «старших» стали и бить меня реже, хотя преследовать не переставали, между прочим и насмешками. Я сказал одному из задиравших: «Хорошо, а я на

тебя делёкой сегодня пойду». Принято это было всеми бывшими тут свидетелями в шутку и встречено смехом. Но я был раззадорен и обижен, потому что в душе не иначе как с презрением думал о всей этой грубой ватаге, не шедшей далее зубряжки и не вкусившей даже капли просвещения, которым чрез книжный мир неведомо для всех я был уже напоен. Является Александр Алексеевич (инспектор-учитель); я объявляю делёку на Тихомирова, четвертого ученика, и на другой день получаю четвертое место, которым я, впрочем, нисколько не думал дорожить.

С теплым чувством вспоминаю о почтенном Александре Алексеевиче (он не очень давно скончался на священническом месте в Москве). Такой неожиданный мой скачок обратил на меня его внимание, и он даже пригласил меня к себе раза два на дом, чтобы ближе меня руководить, разбирал со мною мои упражнения, сделал авдитором. Но меня это уже тяготило: душа отвернулась от школы.

Забавно: тогда даже, когда я сидел на последней лавке, когда даже стоял на коленях, числясь одним из последних, посредственные ученики прибегали ко мне, чтобы «списать». Небрежно написав сам, я столь же небрежно, но с охотой давал списывать кому угодно. А списывателей была масса, и удивительно это явление! Иной сидит целый час, выжидая случая подсмотреть у того или другого соседа или впереди сидящего какое-нибудь слово; напрягается, но все напряжение расходуется именно на подсмотр. По простому арифметическому расчету, он скорее бы освободился, если б отправился за справкой в словарь или грамматику. Но нет: он истощается, он мучится, но к такому простому и в то же время правильному средству не прибегает. Равно и в сдаче устных уроков. Как ухитрялись надписывать перевод (то есть писать русский текст над латинскими или греческими словами подлинника)! Как ухитрялись записывать урок на ладони, а один искусник писал даже на ногтях, почерком не крупнее мелкого текста кредиток! Менее времени требовалось бы заучить урок, нежели тратить силы на расписывание ладоней и ногтей.

Тошен и душен был мне класс со всем его содержимым, и я несказанно обрадовался возможности бегов, в чем мне оказался и товарищ и советник, один из «старых», не только старый, но и престарелый, сидевший в Синтаксии уже третий курс. Парню было, пожалуй, уже лет восемнадцать, если не более. Он был сын одного из городских дьячков, промышлявшего, между прочим, закладами, и потому являлся иногда в класс в волчьей шубе и большею частью с часами. Конечно, это были заложенные у отца

вещи. Часы нам с ним особенно пригодились. Он подал мне мысль, вместо того чтоб идти в класс, отправляться на прогулку за город или на берег реки, а то в поле на солдатское ученье. Последнее было любимым времяпровождением. Часы оказывали ту услугу, что мы вовремя приходили к обеду и даже в класс, из которого, впрочем, «прослушавшись», удалялись. Никак не могу себе уяснить теперь, какими способами удавалось нам увертываться от наказаний и не дать заметить своего отсутствия? Очевидно, это оказывалось возможным потому только, что спрашивали учеников оба учителя не по списку, а по наличности, на кого упадет взор.

Но какое наслаждение были эти летние дни на открытом воздухе, это созерцание смотров, скаканья уланов в карьер; эти безмолвные сиденья на берегу реки, по которой ежеминутно одна за другою тащились барки с вечным криком водоливов «ло-ло-ло-ло-о-о!». Тянут сухопарые лошади, свистит длинная хворостина погонщика; а не то вдруг со щелканьем выпрыгивает из воды канат, которым тащат, и потом снова падает, когда по косогору вынуждены лошади убавить шагу. Идем иногда к мосту. Здесь сидит по часам неподвижно рыболов, устремив глаза на поплавок и не обращая внимания на зыблющийся плот под тяжестию вступившего воза с сеном. Вот конец плота уже погружается, под рыболова подливает; ему что за дело: «клюет!». А наверху кружатся «рыбаки», вдали же цапля на берегу стоит, поджав ногу. А вот здесь, за мостом, как раз против кремля и училища, из которого, впрочем, нас не видно, мы находим других ребят, тоже бежавших. С барок они ловят раков. Лов удачен; пойдемте, ребята, на тот берег; разводится огонь и тут же происходит трапеза жареных раков. Они очень вкусны казались тогда, не пробовал я их потом. Эти бегства сдружали со мною моих гонителей; меня тут уже не били, не издевались, хотя и особенной дружбы не оказывали, как и я им.

Глубокою осенью, с заморозками, бега принимали другое направление. Около городской стены — ров, наполняющийся водой в дождливое время. Захватывает мороз, образуется зыблющееся зеркало. Какое удовольствие бегать по нем и чувствовать именно зыбь! Вот вбегает кто-нибудь постарше и — останавливается. Хрустит лед, распространяются лучи, предвестники пролома… ничего, только не стоять, катись! Запыхавшись, я потом приходил домой, садился за журнал, найденный у батюшки на столе, за не конченный роман. Ах, нет, не всегда домой. Раз катанье не прошло даром. Катящиеся наскочили один на другого, проломился лед, и все мы искупались. Большинство были бурсаки; я вынужден был за ними

идти в бурсацкий нумер верхнего этажа и там, сняв одежду с бельем, до просушки укрыться с другими вместе на полке бывшего консисторского шкафа, вделанного в стену. Укрыться долго, однако, не пришлось. По доносу ли чьему-либо или так вошел инспектор, и нас в одежде праотца тут же и наказали.

Что было бы со мною, если бы такое оригинальное ученье продолжалось? Я был беспечен и не размышлял о будущем. Раз, только один раз, именно по истечении двухлетнего курса, когда должен был решиться вопрос, переведут ли меня, оставят ли, или исключат, сжалось у меня сердце, и то при виде одного из своих сверстников. Он шел печальный; это было уже после роспусков. — «Что ты?» — «Исключен», — ответил печально Богоявленский, и только тут пришел мне тревожный вопрос: «А что, пожалуй, не исключили ль и меня?» Но и то была одна минута.

Что было со мной? Был бы я исключен. Во дьячки не попал бы, конечно, но записали бы меня, вероятно, на службу в какой-нибудь уездный суд, куда попал мой товарищ по коленопреклонению, Иван Любвин, возвысившийся года чрез два в столоначальники. Я навещал его, впрочем уже из семинарии, и он по старой памяти посвящал меня в премудрость входящих и исходящих, журналов, протоколов и настольных реестров, а я любопытствовал касательно зерцала и формы слушали — приказали, объяснения которой настоятельно требовал. Но судьба не допустила меня ни в уездный суд, ни в магистрат, ни в канцеляристы вообще, несмотря на мою беспечность и на вечное, по-видимому, отчуждение от училища. После двухлетнего курса меня не перевели, не исключили, но оставили на повторительный курс, словом, меня обращали в «старого». К удивлению, при составлении списков, как объявил батюшке потом инспектор, была речь даже о том, не перевести ли меня? Меня, который уроки приготовлять отказался, упражнения писал небрежно, у которого коленопреклонение чередовалось с прогулом, который успел даже свыкнуться с секуцией, в первый год чуть не ежедневно принимая ее как неизбежную дань природе! Однако было так: не прочь были меня перевести, но удержались за моею молодостью, вспомнив, что ранее четырнадцати лет дозволялось переводить в семинарию только в виде исключения.

Не забуду из этого двухлетнего периода дополнить несколько слов о нашем грозном ректоре. Случалось, что он не плоше Малинина, о котором рассказывал батюшка, сек и бил почти без разбора. Сегодня вина легкая наказывалась жестоко, завтра более важная — снисходительно. Бывало, он являлся в класс совсем молча и уходил, не сказав ни слова. Сумрачный, суровый, он тыкал на кого-нибудь пальцем, и тот должен был понять, что

нужно взять Корнелия Непота и переводить. Среди перевода удар по щеке, после неудачной поправки удар книгой или табакеркой по голове или тасканье за волосы, такое, что клоки оставались в руке бившего. Невоструев был желчного темперамента, а поступив в Коломну, не нажил себе друзей; напротив, как Груздева, духовенство неблагоприятно встретило этого чужака, тем более недовольное, что он не водил ни с кем хлеба-соли, отдаваясь больше книгам. Заводились неприятности, и их он вымещал на беззащитных мальчуганах, доведенных до того, что раз они собирались на митинг обсудить вопрос: не принести ли жалобу? Митинг кончился ничем, тем более что жестокое расположение находило на ректора только по временам, а при особенно сильных, тем более продолжительных экзекуциях находился для ребят добрый гений-защитник в лице его супруги. Квартира, как я сказал, помещалась рядом с классною залой. Секут, подымается крик бичуемого; крик продолжается, становится раз от раза пронзительнее. Тогда раздавался стук в дверь; грозный ректор уходит, сеченье поневоле прекращалось и по возвращении, конечно, уже не возобновлялось. Правда, вызовы ректора случались и не среди сеченья, но особенное совпадение их с раздирающими криками секомых внушало нам догадку, что над нами бодрствует добрый гений в виде цветущей молодостью и красотой подруги нашего начальника. Ей не было и двадцати лет, и она была прекрасна как майское утро. И могло ли в самом деле сердце ее оставаться равнодушным при этих продолжительных, раздиравших душу воплях о пощаде?

ГЛАВА XXI
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ УБЕЖИЩА

Сначала озлобление, потом презрительное равнодушие — таково было мое настроение среди побоев, незаслуженных наказаний, обидного невнимания. Но я не жил в училище, не был в классе, когда даже присутствовал, не видел стен и скамей, не слышал разговоров и криков. Я витал в другом мире, другое было в глазах и в ушах у меня. Я воздвигал дворцы и мосты, прокладывал дороги, созидал царства, совершал открытия, был в походах, устраивал хозяйства, погружался в моря, взлетал к звездным мирам. Когда и с чего начались мои фантастические полеты, не могу уловить момента. Верно то, что начались они именно в период озлобления, между 10 и 12 годами от рода, когда я разорвал книгу и бросил учиться; натолкнули на них разнообразные путешествия, читанные мною, и затем исторические романы; а возбуждалась каждая фантазия всегда несоответствием вычитанного идеалу, который залегал в душе или тут же создавался. Прочитываю, положим, я записки Фукса о Суворове, биографии генералов Двенадцатого Года и вообще описание этой войны. Я недоволен тем, что Суворов не дожил до Двенадцатого Года и не встретился вообще с Наполеоном, и начинали слагаться картины: что бы произошло, когда бы Суворов дожил до Аустерлица и принял бы командование? Или я допускал и Аустерлиц, и Фридланд, но приглашал Суворова к началу Отечественной войны, придумывал ему поручения, для того чтоб он не мог быть вызван ранее; сочинял положения, придумывал небывалый поход вроде десяти тысяч греков Ксенофонта, где-нибудь в Персии, далее еще — в горах Белуджистана, где завязли наши войска со своим бессмертным полководцем, претерпевая ужасы, но совершая беспримерные подвиги. Я мысленно чертил планы сражений, расставлял войска, каждому роду оружия давал свое назначение, придумывал новых героев, которые при этом выдвигались; шаг за шагом я следил за последовательностью битв, участвовал в переходах, чертил местности, в которых происходили события. Это были не мимолетные картины, а последовательные, и притом не картины, а мысли, сопровождаемые живыми представлениями. История пересочинялась. Петр живет, например, более семидесяти лет и вычеркиваются страницы Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, продолжаются реформы, развивается все шире план Петра; замыслы, которых он не успел привести в исполнение,

довершаются, карта Европы и Азии изменяется, забегая вперед за XIX столетие; кругом рождались новые династии, совершались перевороты, крушились царства. Мысль, раз остановившись на чем-нибудь прочтенном и захватив меня, была зерном, которое развивалось все далее и далее, разрастаясь в целое древо. Она пришла мне сегодня, но я ложусь с ней спать, встаю с ней завтра; ум, не уставая, работает над ней без перерыва целые недели, пока изнемогает, доводя часто преувеличение или превращение до абсурда или поражаясь чем-нибудь новым, что дает течению мыслей новое направление. Римляне, завоевывая дикие страны, начинали тем, что прокладывали дороги. Достаточно было об этом прочитать, и, может быть, с описанием прочности этих дорог, сохранившихся тысячелетия; воображение начинало работать: прокладываю дороги по всем направлениям земного шара; ум углубляется в размышления, где должны пройти (а воображение создавало — уже прошли) главные дороги, где побочные, как разместиться должен (в воображении — размещается) род человеческий согласно очертаниям берегов и внутренних водных путей. Кто ж сработал эти дороги и сколько времени потребовалось? Ум принимается за вычисления, вспоминает о египетских пирамидах и луксорских подземельях. Сколько лет, сколько рук потребовалось на эти гигантские сооружения!

Путешествия были преимущественным, а морские — любимым чтением. Какие суда воображением были сооружены, какая изящная и прочная оснастка им дана, какой быстрый бег им сообщен, какой материал для их кузова придуман, противостоящий всем стихиям! Хотя пароходы и паровозы изобретены и я видел рисунки тех и других, но они не увлекли воображения. Воображение требовало живого деятеля, личной отваги; порядок, при котором действует механический закон, а человек оставляется покорным орудием мертвой силы, добавочным колесом машины, этот порядок не прельщал и не увлекал меня. Мои корабли ходили на парусах и на веслах, на подвижном киле особенного устройства, как и паруса, были также особенные; ветер с одинаковым успехом действовал, попутный он или противный. Воображение создавало парус в виде вертящихся крыльев мельницы, одновременно вращающихся и на своей оси, вроде того как в последние годы придумано устройство ветряных двигателей в Америке компанией «Эклипс». Корабли были металлические, но не железные, а из металла, легкостью превосходящего алюминий и упругостью превышающего сталь. Нужно было открыть этот металл, и к услугам явились горы, служащие ему месторождением, случай, поведший к его

открытию, экспедиции, снаряжавшиеся за его добычей, войны народов за его приобретение. Корабли летают по морям; они содержат правильное сообщение между всеми пунктами земного шара; для всемирного удобства они подчинены одной власти. Народы согласились разделить сушу, а в море не терпеть ничьего владычества. Это общая стихия, как воздух. Рядом войн и конгрессов установлена эта свобода, где море принадлежит всем и никому, и под всемирным контролем совершаются транспортные и почтовые рейсы никому и всем принадлежащих кораблей.

Но не узко ли, не ограниченно ли действие этих крылатых носителей? Рыба плавает не над водой, а в воде; утка, плавая, способна летать. Воображение изощрялось представить и ум помогал осмыслить суда, способные погружаться до дна океана и летать по воздуху с быстротой птицы. Аэростат так же не занимал меня, как пароход с паровозом: покорность причудам стихий теснила меня. Я требовал птицы или похожего на птицу, пусть похожее на летучую мышь, но живое, подчиненное личному велению. Лодка с крыльями из легкого материала, с перьями, как у птицы, наполненными также горячим воздухом, как у птицы; это не металл, а может быть и металл, может быть, сок какого-нибудь растения на каком-нибудь коралловом острове, способный отвердевать, подобно копалу, и приобретать упругость, равную роговой материи пера. Я летал в этих воздушных лодочках, я созидал их несколько видов: один, годный для употребления в виде крыльев или зонта, и — громоздкие разных размеров и видов. Но, напрягаясь их сочинить, ум уставал и обращался к возможности воспользоваться услугами действительных птиц. Лошадь приучена, на собаках и оленях ездят, орел имеет силу поднять ягненка. Отчего не воспитать и птиц для послуги при полете? И образовывался изящный воздушный экипаж со стаей запряженных птиц, с лодочкой среди них, со станциями для их остановки. Какая прелесть этот воздушный караван, напоминающий стадо журавлей в виде треугольника, с тем же кормчим впереди, но вместе с боковыми ветвями, которые напоминают крылья! Это — птица, составленная из нескольких птиц; птицы-крылья припрягаются к ней, чтоб облегчить повороты движения этой лодочки, расположенной среди них и напоминающей отчасти китайскую лодку водных жителей Кантона, отчасти — венецианскую гондолу.

Зерно, найденное в египетских пирамидах и сохранившее живую силу ростка несколько тысяч лет, повело ту же мысль в другую сторону. Почему не может быть такой сильной птицы, которая способна была бы одна поднимать человека и даже

нескольких? В горах Тибета, куда еще не ступала нога европейца, где-нибудь водится такая птица, вдесятеро больше страуса, слон в царстве пернатых. А может быть, именно сохранилась пара яиц, случайно открытая, выложенная на солнце и произведшая двух цыплят-родоначальников. Но нет, это долго. Десятилетия, века должны пройти прежде разведения этих колоссов пернатого мира. Пропорционально росту потребуется и долгий период возрастания: слон живет двести лет, не менее должна жить и также медленно расти эта птица-исполин. Нет, там, в горах, живет племя, неведомое миру, как неведомы были миру монголы, кочевавшие в степях. Как монголы вылетели нежданно из своих степей и заполонили полмира, так поднялось это племя и поведало о себе. Воображение долго услаждалось видом этих невиданных птиц, которых наряд так же изящен, как необыкновенна сила и изумителен ум.

Разноцветные, блестящие перья, гребень как у петуха, широкие и высокие ноги. Издали эти необыкновенные создания можно принять по росту за верблюдов; бег их так же скор, как легок полет; длинные правильные перья у крыльев служат вместе и подпорками, которыми для ног облегчается бег. Никакой скакун, никакой паровоз не сравнится с ними в быстроте бега, совершаемого, когда нужно, с прискоком. Никаким войском, никаким орудием они неодолимы: гранатные осколки отскакивают от их упругого оперения, не плоше, чем пули от крокодиловой или слоновой шкуры. Живо представляется строй этих красавцев мироздания: владеющий ими получал значение и силу рыцаря Средних веков, которому неуязвимая броня обращала в рабов безоружное население виленов… Я беспокоился, какому народу могло попасть в руки такое орудие силы, и изобретал походы, после которых в конце доставалось оно, после тяжелой борьбы, не испанцам, как Америка, не англичанам, как теперешние моря, а русским. Какое наблюдение над яйцами этих гигантов, какой долгий процесс несения яиц, какой внимательный выбор пищи для них! А они, как воздушные верблюды, наедаются и напиваются надолго; они могут от обеда до обеда обогнуть земной шар. Они способны лететь с быстротой пущенной пули. Но зачем? Такая быстрота и не нужна, разве в особенных случаях.

Отправлялся я на этих воздушных носителях, и помню, первая моя экспедиция была на полюсы. Они не исследованы; на картах пустые места. Я пролетал этими мертвыми пространствами, где вид изнемогал от однообразия серо-беловатых гор, освещаемых, смотря по времени года, то северным сиянием, то не закатывающимся солнцем. А почему не быть на

полюсах жизни? А может быть, там, за льдами, остров, и притом вечно зеленеющий, с вулканическою почвой, где, как около Геклы, никогда не замерзает, благодаря вечному подземному теплу. И создавался целый народ, целое общество с обычаями, от нас далекими, вроде японских или древнемексиканских. Воображение перескакивало к нашей Лапландии, и ум задавался вопросом: почему бы здесь не быть такой вулканической почве? Этот край, подобно теплице, произращает, назло географической широте, тропические плоды, и земля не уступает в плодородии Нильским берегам.

От воздушных великанов воображение обращалось к земным великанам из четвероногих. Не довольствуясь слонами, пыталось воспроизвести допотопных зверей, придумать таких, которых и наука не открыла. И как по морю совершается правильное сообщение на чудах-кораблях, так движутся по сухопутным дорогам в той же размеренной правильности слоны-гиганты, с силой и быстротой необыкновенными. Их путь опоясывает земной шар, дополняя воздушные сообщения.

Сколько знакомого напомнилось мне, когда начали выходить романы Жюля Верна! Многое, не то самое, но подобное, пережито мною начиная с десятилетнего возраста. Летал и я на Луну, но предпочитал другие светила: то ближайшие планеты вроде Марса и Венеры, то создавал нового Земле спутника. Попалась на глаза чья-то догадка, что Луна, может быть, есть отрывок той части Земного шара, которая теперь покрыта Великим океаном; у меня составился план нового отторжения от Земли. Сибирские тундры или степь Гоби негодны; жалеть их нечего; они оторвались, образовали планету. Я пустился в приблизительные исчисления, как велик будет новый шар и сколько будет хода кругом. Я представил себе карту этого шара, на который вместе с отлетом его от Земли попало и несколько живых существ, сотни, тысячи, может быть и сотни тысяч. Я начинал с ними историю их культуры, переживал Робинзона в новом издании; чувствовал беспокойство от слишком коротких дней, от ночей, которые оказывались чересчур ясными при освещении, получаемом помимо Луны еще и от Земли. Я щурился и зажмуривал глаза, когда задумывался об этом, как будто и в самом деле лечу в звездном пространстве на одном из тех тел, которые называются падающими звездами.

Жюль Верн пользуется фантастическими описаниями, чтобы сообщить научные сведения. У меня происходило наоборот: мечты понуждали к добыванию научных сведений. Чтобы дополнить какую-нибудь неясную подробность в моем фантастическом создании, я обращался к книгам и спрашивал у

них, какие физические способы представляются к тому, например, чтобы корабль мог опускаться на дно, не задутая пассажиров, и какою сравнительною плотностью и упругостью обладают тела. Где только можно было, я вычитывал палеонтологические сведения, для того чтобы создать своих птиц-гигантов и слонов-великанов или воссоздавать грифов, с которыми я тоже жил некоторое время. Забота о размещении рода человеческого, о средствах, представлявшихся новым Робинзонам, повели к изучению плодородия вообще. По сту раз я срывал колосья зерновых хлебов, пересчитывал, выводил средние числа, поражался и скорбел, как при пятидесяти и более зернах колоса, при нескольких притом колосьях из одного зерна, урожай не достигает даже десяти, пожалуй, пяти. Я придумывал преувеличенно интенсивное хозяйство, истощался в изобретении средств дать почве высшее плодородие, принуждать ее давать даже четыре жатвы в год, как в некоторых местах, произращать хлебные зерна, величиной не уступающие финику, и это приводило к самому внимательному чтению сельскохозяйственных книг и статей, к просьбам о том, чтоб их достали.

Читывал я о действии хашиша. Мои фантастические построения были именно тем состоянием, которое производит хашиш, но только без потери будничного сознания. Приятное и желаемое воображением возводилось в грандиозные размеры, иногда выраставшие до уродливости, которою я начинал тяготиться, и бросал, утомленный, переходя к другому роду занятий.

И не только в период моего озлобления и равнодушия уносился я в мир вне реального. Нет, эта двойная жизнь затем никогда меня не покидала; со случайным ослаблением внешних впечатлений или со случайными препонами для практического исхода мыслям менее фантастическим ум принимается за построения в мире возможного, несуществующего, часто неосуществимого. Я должен употреблять усилия, чтоб остановить себя, и я подчас боюсь, чтобы не кончить мне хроническим, неисцелимым недугом этого свойства: жутко мне становится при представлении этой опасности.

Постоянство этого пребывания в фантастическом мире одновременно с реальным образовало некоторые излюбленные пункты, на которых преимущественно сосредоточивается и любит привитать фантазия. Внимание от них отстраняется на время, занятое практическими заботами или творчеством в реальном мире, но при первом случае снова возвращается, продолжая прерванный процесс чрез несколько месяцев, иногда даже лет. В

перечисленных выше образцах не все поэтому принадлежит исключительно описываемому возрасту от 10 до 12 лет. Подробности птиц-великанов сочинены, дополнены, может быть, уже чрез два года или чрез три, когда я жил в Москве и когда совершал ежедневные путешествия в семинарию от Девичьего монастыря до Никольской, на расстояние пяти верст, в продолжение часа. Голова пустовала, и ум был свободен: он обращался к полузабытым образам, дополнял их, обделывал, придавал им более естественности.

Когда я придумывал новые царства и переделывал историю, я для большей естественности обращался к незнаемым странам; я населял их и сочинял им историю без опасения вступить в противоречие с действительностью. Австралия, или, по-тогдашнему, Новая Голландия, была одним из любимых мест, где я давал простор своему творчеству. Тут копошилось более сотни миллионов; горами, реками и озерами испещрялась внутренность страны; придумывалась флора и фауна, сочинялась своеобразная культура. Постройка жилищ, одежда, вооружение, язык, династии — все было сочинено и большей части дано даже имя. В ученических тетрадках, оставшихся от Синтаксического класса, я нахожу слова, написанные мною по печатному, бессмысленные на взгляд; но они имели для меня смысл: это были собственные имена царей, полководцев, художников сочиненного мною государства. Сочинять это небывалое государство дало мне повод, должно быть, путешествие Головнина и открытый им своеобразный мир японцев. В моем фантастическом государстве были тоже бумажные дома, но из папье-маше, монументальные здания, фигуру которых доселе я живо представляю, своеобразного стиля. Жалею подчас, что не умею рисовать. Эти причудливые линии были бы не безынтересны. Не в этот период 10–12 лет, а после я пробовал вылеплять из глины, вырезывать и выклеивать из бумаги памятники, храмы, дворцы, созданные моею фантазией, но не мог докончить никогда, по обилию требовавшегося мелочного труда. Тем не менее я жадно изучал историю архитектуры, насколько позволяли средства; надолго я иногда вперял взор в какой-нибудь чертеж, и посторонний свидетель мог бы подивиться, чем я так особенно любуюсь; но я не любовался, как не любовался, стоя в классе по часу пред картой; в эту минуту в голове моей совершался процесс построений, которому видимое изображение служило только поводом. На географической карте, может быть, я искал в эту минуту естественных географических средоточий общежития. Я находил их на Суэцком и Панамском перешейках. Я прорывал чрез них каналы, не те мизерные, что сооружен Лессепсом в Суэце

и проектирован в Панаме, но каналы шире Босфора. Я перекидывал чрез них цепные мосты, ширины необъятной и красоты неописанной, с висячими садами, с высившимися маяками, из которых каждый есть чудо искусства. Я протягивал улицу, которой нет равной в мире, которая соединяет оба материка, заканчиваясь по обе стороны дорогами: одною, теряющеюся в Камчатке, другою, упирающеюся к мысу Доброй Надежды. Тут-то денно и нощно двигаются четвероногие великаны среди дворцов, которым разве слабое подобие представляют знаменитейшие столицы мира. Как в Венеции, каждое здание есть памятник искусства, запечатленный своеобразным гением. Как Венеция, эта столица полушария изрезана каналами, представляя зараз и Венецию и Швейцарию, — Швейцарию потому, что ей надобно быть совершенством, а чтобы быть совершенством, она не должна страдать от жаркого климата; она потому расположена на разных высотах, так что круглый год продолжаются все времена года. Чрез холмы, как чрез каналы, протянуты также нити мостов, напоминающих кружевные ленты; подгория опушены садами, а внизу снуют суда всевозможных размеров, очертаний, цветов. Мрамор, фарфор, порфир и лазуревый камень, никель и алюминий соперничествуют в украшении зданий, то величественных в своей простоте, то прихотливых по вычурности, которую представляет инкрустация слоновой кости, перламутра, черепахи и яшмы на папье-маше, представляя гармоническую смесь китайского с мавританским, восточномалайского с западносемитическим.

Прошу после этого перенестись в эту, хотя и светло-розовую залу с розеткой на потолке, с изрезанными, словно изгрызенными скамьями, вдобавок зачерненными; стать среди этих грубых мальчишек, от которых несется гам ругательств и стук раздаваемых колотушек; сюда, в этот темный угол коленопреклоненных, к этим лохмотьям нагольных тулупов, к этим тупицам, в числе двух или трех, сидящим зажав уши и задалбливающим в сотый раз короткую фразу; к этим шеям, протянутым, чтобы «списать», к свирепому ректору, расхаживающему по зале (он никогда не сидел) и вот заносящему руку с табакеркой, чтоб ударить; к этому свисту розги, к этим плевкам, в которых упражняются искусники, пуская их из угла в угол и попадая в цель с удивительною меткостью. Это все было кругом меня, но подчас чувствовалось не более как белье на теле. Половины окружавшего для меня не существовало.

ГЛАВА XXII
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА

Политическое, отчасти техническое, хозяйственное, художественное направление принимала моя фантазия, но женщина в них не получала места ни прежде, ни после, хотя я перечитал невесть сколько романов и хотя большинство их завязано на любви. В детском возрасте неудивительно, что женский образ отсутствовал в мечтах; но его не появлялось и в ту пору, когда половые потребности должны бы были, по-видимому, направить к нему воображение.

Никогда фантазия не направлялась и в мир религиозно-мистический, хотя Четьи-Минеи служили подпочвой моего чтения, и обращался я к ним не раз и не два. Создавая героев в разных сферах общественных, ни разу воображение не бралось произвести подвижника, подобного Симеону Столпнику, представить видение вроде Покрова Богородицы, словом — низвести горний, духовный мир и распорядиться им. Между тем суровое подвижничество Симеона, Фиваидская пустыня с Пахомием и Феодосием и даже Радонежская пустыня, точнее — лесная пуща Сергия поражали меня. Я представлял себе живо этот отшельнический мир; он трогал меня, восторгал, но фантазия бездействовала, творчество не подступало дополнить и развить вычитанное. Потому ли, что не ощущалось противоречия идеалу, не виделось надобности переделывать и доделывать? Дальше Симеона Столпника и Марии Египетской и уйти некуда. Или потому, что, вымышляя события, я не присвоивал себе никогда личного участия, оставаясь только зрителем и свидетелем картин и драм, создаваемых мною, разве только что летал иногда или случалось носиться по морям в одиночку? Я не возносился мечтой к тому, чтобы быть чем-нибудь, обладать чем-нибудь, наслаждаться чем-нибудь, поражать кого-нибудь чем-нибудь: фантазия хотела, чтобы предо мной происходило и жило то или другое. Изощряясь в сооружении памятников, я придумывал художников, которые над ними трудились, воображал их усилия; я смотрел на битвы, взором следовал за походами, придумывал одеяния для измышляемых царей и народов, в том числе для обоих полов, и для женщины, следовательно; религиозный культ с монастырями включительно развивался и процветал пред моими мысленными глазами. Но тем и другим и третьим я только любовался, только успокоивался, преодолевая трудности придумывания. Ранее, устраивая аптеку из папертного подвала, я

воображал себя провизором; в тот же период любил изображать из себя и учителя, расхаживал по горнице, диктуя, раздавая тетрадки мысленным ученикам, то есть разбрасывал их по стульям. Но этот кукольный период, период лицедействия, кончился к тому времени, когда фантазия начала работать, углубившись в себя. Тут лицедействия уже не было, даже мысленного. Изредка, да и то в последние годы, воображение увлекало меня принять на себя благодетельство роду человеческому, помощь кому-нибудь в страданиях в виде подкрепления такими или другими материальными средствами; но и в этих случаях фантазия упорно требовала моего инкогнито: я наслаждался видом утешенных, освобожденных, осчастливленных, но они меня не видели и не знали. Фантазия воплощала Иванушку или Емелю-дурачка, которые совершают чудеса, заставляя недоумевать о виновнике; а виновник продолжает пребывать где-нибудь в избе, незнаемый и презираемый.

В мир отвлеченной науки также не воспаряла фантазия; во-первых, наука сама по себе уже есть отрицание образа; во-вторых, личное развитие не доросло до того, чтобы высшие истины обратить в глину для вылепки образов. Я проектировал в моем фантастическом городе библиотеки, музеи и лаборатории, назначенные для общего пользования; устраивал целое ведомство для поощрения изобретений и изобретателей, которые в фантазии являлись верховными, чтимыми ото всего общества жрецами; но себе опять не давал среди них места. В мечтах лично о себе я представлял иногда, что каким-нибудь необыкновенным переворотом судьбы я приобрел себе покровителя и ментора, который разрешает мгновенно все мои сомнения, доставляет все желаемые мною книги, от которого я научаюсь всем возможным языкам; усиливался иногда и представить из себя ученого, погруженного в книги; но падала бессильная мысль за отсутствием дальнейшего материала, за отсутствием реального содержания, ибо наука ей не была знакома.

Не могу не остановиться на идиосинкразии, обнаружившейся во время моих фантастических полетов. Придумывая собственные имена, я облюбовывал преимущественно известные сочетания звуков. Таково было имя «Чольф»; его-то, между прочим, и нашел я изображенным на своей ученической тетрадке. Помню, что в большей части придумываемых имен повторялись эти звуки: либо ч, либо ль, либо ф. Раз я занялся усердно армянскою историей: почему? Потому только, что мне понравилось в своем звукосочетании имя Арсак; отсюда судьба Арсака и Арсакидов заинтересовала меня; внимательно несколько раз я перечитывал о

них в словаре Плюшара; Арсакиды же повели меня и далее к армянам и затем к грузинам. Случайным такое действие звуков не может быть, и я напоминаю о факте, полагаю, не безызвестном в типографиях: «У каждого писателя есть свои походные буквы». Для типографских касс в каждом языке есть свой общий закон, в силу которого одни буквы употребляются чаще, другие реже; исчислено довольно точно даже их арифметическое отношение; на нем основано количество, в котором отливаются буквы, сколько должно приготовить для каждой кассы употребительнейшего о и сколько малоупотребительного щ. На том же основании самые помещения для букв разнятся своею величиной в кассах. Шифрованное письмо любого языка на том же основании легко читается, если взяты вместо букв произвольные, но для каждой постоянные знаки. Тем не менее бывают писатели, ниспровергающие общий закон, по крайней мере вводящие значительное от него уклонение несоответственно частым повторением известных букв. Набиравшие, например, покойного Михаила Петровича Погодина знали, что для статей его нужно запасаться в особенном обилии буквой п. Были долготерпеливые, которые высчитывали количество слов, употребленных знаменитыми писателями, составляли для каждого словарь и находили возможность строить на этом выводы о существе и размере дарований того и другого. Но есть, как оказывается, соотношение дарования не к составу словаря, а к составу самой азбуки. Почему-нибудь да любимы известные сочетания звуков; почему-нибудь к ним да прибегают охотнее ум и перо: явление заслуживает того, чтобы наука остановила на нем свое внимание.

В построении фантастических народов и государств детский ум не оставил без внимания и язык. Всемирное государство, или государство всего Старого Света от Камчатки до мыса Доброй Надежды, должно иметь Какой-нибудь государственный язык. Это государство в моих представлениях было федерацией государств и народов и управлялось конгрессами, периодически собирающимися. Оставалось придумать язык. Есть такой язык, подсказывала фантазия, в котором каждый из прочих находит свои простейшие элементы; он каждому понятен, какой бы кто народности ни принадлежал; прочие суть его отростки, взаимно себя не признающие. Представлялся он мне чем-то вроде китайского языка, с односложными звуками и с азбукой, независимою от звуков. Стоит знать эту азбуку и закон ее сочетания: каждый, смотря на нее, воспроизведет многосложное слово, отличительное его народу.

Эта фантазия не переходила пределов естественности.

Детская голова чуяла бытие первоязыка и закон развития отдельных языков под влиянием географии и истории. Но некоторые образы принимали совершенно сказочный колорит. Телеграфов тогда не было еще. Потребность в них удовлетворялась для меня своего рода зеркалом, о котором говорится в сказке, что посмотришь в него и увидишь желаемое. Происходящее за тридевять земель читать-де можно на Луне, где должно отражаться все происходящее на земном полушарии, к ней обращенном. Невозможность читать происходит лишь от несовершенства оптических инструментов. А то придумывались особенные магнетические пластинки, которые обладали таким свойством, что написанное на одной одновременно воспроизводилось на другой. Каким бы пространством ни были разлучены обладатели пластинок, они получали возможность переговариваться между собою. Свойством производить на другом полюсе начертание, изображенное на противоположном, одарено особенное химическое вещество; и самые пластинки устраивались из особого специально чувствительного металла.

Но увольняю читателей от подробностей, которыми наполнить можно целые томы. Особенная судьба моего личного развития, совершавшегося под действием резко очерченных причин, не может не представить интереса, по моему мнению, для педагога, для психолога, физиолога, пожалуй, психопатолога. И поэтому я позволил себе о моих витаниях вне реального мира несколько распространиться. Они преследовали всю жизнь мою и только переменяли вид: в юношеские лета и далее на место фантастических грез вступили логические построения, на место образов — понятия и затем преувеличенная рефлексия, все тот же самопожирающий процесс внутренней работы. Она усиливалась обыкновенно и ослабевала, по мере того как расширялся или стеснялся простор воздействия на внешнюю жизнь. В числе прочего вреда моя редкая в детские годы память, между прочим, приносила и тот, что давала голове много досуга. Опытный педагог присадил бы меня за такую выучку, чтобы чувственное восприятие работало до утомления и затем являлась бы потребность в физическом отдыхе. Но уроки по моим силам были ничтожно слабы; сначала я их не учил потому, что отказался от них, а после того я успевал знать их без заучиванья. Опытного и внимательного педагога около меня не было, и если бы случился, я б ему не открылся; мой фантастический мир оставался при мне, я ни с кем им не делился, никому даже отдаленного намека не показывал. Впоследствии педагогию к себе прилагал я сам, задавая себе механически умственные труды вроде счета и выкладок. В молодые лета я составлял свод церковных законов.

Десятки тысяч карточек своеручно уписаны были извлечениями из канонов, из богослужебных книг, из Полного собрания законов [12]. В эпоху эманципации подобный же свод был сделан всему (впрочем, без посторонней помощи [13], писанному о крестьянской реформе, всем статьям и всем мыслям каждой статьи. Подобные труды налагаемы были мною на себя и по другим отраслям; иные, может быть, даже увидят свет. Есть книжка, даже печатная, мною составленная (напечатано ее всего десятка два экземпляров), в которой на 230 страницах ничего нет, кроме цифр, и притом каждая с десятью десятичными. Это были внешне утомительные труды, но я с радостью садился за них, отдыхал на них, находил в них для себя гимнастику, в предупреждение полетов в эту область сверхреального, в это невольное опьянение умственным хашишем, доводившее меня иногда до изнеможения. Упорство и последовательность фантастических образов, которые во мне возникали, принесли мне свою долю пользы, послужив к чрезвычайному расширению моих сведений в детском возрасте и к упрочению добытых. Но все-таки это — болезненное явление и, по моему мнению, не безопасное при необузданном ходе.

ГЛАВА XXIII
ОТ ТИРАНСТВА К СЕРДОБОЛИЮ

Итак, я оставлен старым. В списке я был зачислен вторым учеником, сел на второе место; как водится, меня возвели в авдиторы и в «старшие» (над квартирными своекоштными). Чрез несколько дней человек пятеро из моих сверстников-старых (нас оставлено всех с небольшим десяток) пригласили меня в трактир. Я отправился. Это было второе мое посещение трактира, которое потом в Коломне уже не повторялось; в первый раз около года назад водил меня один исключенный из Низшего отделения мальчик, приехавший из деревни в училище за «свидетельством». Он жил у нашего пономаря, знал меня близко и, увидав меня, пригласил в трактир, где накормил зернистою икрой с калачом. Мои товарищи, старые, теперь потребовали чаю; значит, мы почувствовали себя большими. Пригласили меня вот для чего: старые-де решили так и так держаться с молодыми, и вот, дескать, все уговорились, и ты должен знать. Словом, это был скоп. Рассеянно я слушал эти наставления, которых в подробности даже не помню теперь. Вероятно, я уже выделился чем-нибудь или обещал выделиться, что сочли нужным дать мне инструкцию в чрезвычайной аудиенции. Скоро, впрочем, я выдвинулся действительно. У инспектора быстро я был пересажен на первое место, а пред ректором чем-то провинился сидевший у меня сбоку цензор, вследствие чего был низвергнут на конец скамьи, вопреки обычаю ректора не делать пересадок. Должно быть, вина ученика была какая-нибудь чрезвычайная, что прибегнуто к такой чрезвычайной мере. Но душа моя была так далека от класса, что я тогда даже не полюбопытствовал о причине, как не вник полтора года назад в подробности вины торжественно высеченных тридцати. По низвержении соседа я облечен был, сверх прочих преимуществ, еще прерогативой цензорства, на что (как и на звание старшего) получил грамоту за N и подписью ректора, проще сказать — «инструкцию». Обе эти инструкции у меня сохранились и обнаруживают несколько канцелярский взгляд А.И. Невоструева; старший, например, обязан был наблюдать, между прочим, чтоб ученики вставали в 6 часов утра; это я-то за учениками, рассеянными по вольным квартирам!

Звезда моя поднялась и стала так высоко, как ничья еще никогда, по преданиям училища. Без инструкции, на словах, но ректор объявил меня по какому-то случаю «сениором», то есть

старшим над старшими, и супер-авдитором, то есть авдитором над авдиторами. В праздничные дни я должен был наблюдать, чтобы все училище являлось к обедне в собор; я должен был вести и расстанавливать учеников; не только наш класс, но, за исключением внутренности прочих классных зал, все училище было под моею косвенною властью. Я имел право поставить столбом любого; по моему одному слову могла последовать порка; я мог переспросить урок и проверить авдитора, мог обревизовать ученические тетради и пр. и пр.

Существенною частью этих прерогатив я пользовался очень умеренно и неохотно. Я даже ни разу не посетил квартиры подведомственных моему старшинству. В моем районе не было общежитий; подведомственные жили поодиночке, и большею частию у родных. Не только моя застенчивость, но здравый смысл должны были говорить, что в данном случае надзор смешон и обозревать нечего. На училищные шалости я смотрел сквозь пальцы, не доносил ни на кого, а тем менее представлял к сечению. Когда, вместо того чтоб идти к богослужению, некоторые из ребят предпочитали биться в Пыточной улице на кулачках, я ограничивался замечанием; я умалчивал даже о таких происшествиях, как серьезный кулачный бой, на котором один малый был избит до синяков на лице. Я даже любил присутствовать на этих боях на Пыточной улице по праздничным вечерам, когда они происходили. Я любовался. Это происходило обыкновенно только зимой, и игрище начиналось мальчишками, школьниками духовными, с одной стороны, мещанскими — с другой. К десятилетним приставали вскоре старшие, и бой разгорался. Мелкота отходила по мере того, как подбывала крупная сила. Более или менее продолжительное время бьются «стенка об стенку», ни та ни другая не уступая шагу. Стенки (каждая состояла из рядов двух, трех) запирали улицу; мелкота, бывшая впереди сначала, теперь жалась по бокам и сзади, дожидаясь своего череда. Две противные стороны стоят выстроившись. Сбоку только и видишь размахивание кулаками по воздуху. Каждый стоит в ожидании, что противник выступит вперед, и тогда наносится удар, оканчивающийся разно. Иногда подвергшийся нападению не устаивает; к нему на помощь обращаются ближайшие соседи; к единоборствовавшему на противной стороне подступают также ближайшие; образуется несколько пунктов схватки, пока наконец на каком-нибудь подбытие новой силы с задних рядов не даст решительного перевеса. Противники валятся; иногда шаг за шагом отступают, пятясь; остальные пункты спешат равняться, чтобы не быть отрезанными. При равной силе с обеих сторон бывало, что чрез

четверть часа, чрез полчаса такого колеблющегося боя усталые стороны расходятся на свои места. Мелкота снова завязывала бой, и снова перевес которой-нибудь стороны вызывал подкрепление стороне противной. Снова стенки из больших; снова маханье кулаками, отставя ногу; снова битва, на этот раз оканчивающаяся, может быть, бегством одной из сторон. Подбыл, может быть, богатырь какой-нибудь, «Мухрынчик». Под его кулаками противники валятся с ног; всеобщее бегство с великим гамом нападающих. И тут-то снова работа мелюзге, исполняющей обязанности легкой кавалерии в действительном сражении: она бежит вдогонку, бьет сзади, иногда в прискок, чтобы достать бегущего в шею.

Безо всякого уговора, но граница арены определена: с одной стороны — берег, в который упирается улица, с другой — площадь. Правила боев свято соблюдаются: не только «лежачего не бьют», о чем и пословица сложилась, но бесчестно признанному силачу вступать в бой, прежде чем противная сила одолевает. Относительная равномерность сил есть главное условие честного боя. Он и не начнется, если в первом ряду станет заведомый силач. Противная сторона разойдется с упреками: «Вы бы еще Мухрынчика или Комсеря поставили!» Признанные богатыри вследствие того, являясь на бой, часто оставались безо всякого дела, стоя в резерве, в отдалении. Мальчики толпятся около героя кулачных боев, смотря ему в глаза и выжидая времени, когда он сочтет достойным себя броситься и «косить направо и налево». Действительно бывало, что парень, не действуя кулаками, только разводит руками в стороны, обращаясь направо и налево, и противники падают частию от действительного удара, частию в опасении его. Бить позволялось по лицу, по шее, в грудь, по ребрам, но не далее; удар по «скулам» — самый благородный. Подло падать пред нападающим и, встав, бить победителя в зад. За это проучивали. Окружали такого молодца, прижимали к забору, чтоб он не мог лечь и чтобы «не бить лежачего»; но уже угощали сытно, не забудет долго.

Большею частию происходили всё умеренные бои — с обеих сторон, может быть, сотни по полторы, по две бойцов. Но бывали изредка грандиозные, когда городские шли на деревенских. Ареной служила Москва-река, и противников загоняли то на тот, то на другой берег; участвовавших бывало по тысячам. Раза два я бывал свидетелем таких боев, но без особенного удовольствия. Следить становилось уже трудно, и вообще бой несколько утрачивал из своего характера осмысленной игры. В Англии употребительно боксерство, единоличная борьба на кулаках; ею

не гнушаются высшие классы. Об организованных боях целыми ватагами не доводилось читать. У нас, наоборот, единоборство не в чести и потому не в ходу самая борьба в теснейшем смысле (боронье); но кулачные бои — любимая народная забава, не совсем основательно выброшенная общим мнением в ряд неприличных и даже зверских удовольствий. Правильный бой (не драка и не побоище) есть атлетическое упражнение, ничем не ниже и не вреднее состязаний в беге и борьбе, но с тою разницей, что кроме развития гимнастического оно воспитывает до известной степени стратегическую смышленость.

Лично в боях я никогда не участвовал, хотя в душе завидовал удальцам. Мешала та же застенчивость, по которой я не решался и исполнять соло из нотного пения.

Возвращаюсь к своему положению в училище. Хотя я умеренно пользовался предоставленными мне верховными правами, но они произвели во мне нравственный переворот: я стал деспотом и тираном, деспотом и тираном бескорыстным; находил наслаждение в чужих слезах, любил измываться, наводить страх и тешиться произведенным впечатлением. Гадкое это чувство! В сердчишке двенадцатилетнего происходило приблизительно, мне кажется, то же, что в сердце грозного Иоанна, когда тот потешался казнями. «Павлов, поди сюда!» — повелеваю я малому, на 5 или 6 лет старше меня, дюжему, рослому. «Наклоняй голову!» Он наклоняет. Я его бью, таскаю за волосы и отпускаю. Бью и таскаю ни за что, а так, из удовольствия, что вот такого большого, который может меня придавить одною рукой, известного кулачного бойца, не безызвестного мещанам по Пыточной улице, бью безнаказанно, издеваюсь над ним, как хочу, и он терпит молча и ни слова не смеет сказать. «Василевский, сюда!» Вызываемый подходит. «Становись на колени!» Становится. Я сажусь верхом на шею, велю ему встать и мчать меня. Он мчит послушно, и я его хлыщу лозой. Он безропотно трудится до пота. «По местам! Молчать! Чтобы муху было слышно!» Садится класс в безмолвии. «Ский на в, на кулачки!» И образуются две стенки и бьются в мое удовольствие. Я должен объяснить, что такое ский на в (выговаривалось «на веди-ер-в»). В древние времена классы не отапливались или отапливались плохо. Чтобы согреться, семинаристы устраивали бои, причем на одну сторону становились имеющие фамилию на ский — Преображенский, Воскресенский, Знаменский, на другую — Смирновы, Соколовы, Орловы, к ним присоединялись Малинины и Любвины.

За выстраданный первый год душа попросила отместки. Презрение к неразвитым товарищам, воспитанное вторым годом,

подсказало форму не корысти, не честолюбия, а охотничьего чувства. Честолюбие, если б и было, было удовлетворено свыше меры; единогласно я признан стоящим на несколько голов выше всех; взяточничеством и вообще несправедливыми придирками я гнушался. Но жажду потехи над бессильными преодолеть не мог. Я отводил себе душу.

К счастию, потехи мои прекратились скоро: они не продолжались и года. Мне сделалось гадко, стало стыдно пред собою, и со мною совершился новый перелом: я стал заботливою матерью класса. Я переслушивал уроки, но с тем, чтоб объяснить, когда знаю, что ученик порядочный, и с дарованием и с добрым сердцем, но не понимает фразы, кажущейся трудною. Одному из лучших учеников я предложил составлять записки по ректорским толкованиям из географии, трудился с ним вместе, наставлял его и предлагал желающим пользоваться нашими трудами. На место командирского озорничества вступила мягкость, услужливость, сострадательность. Перелом был так силен, что отразился на всю жизнь. Я потерял способность приказывать и всякое уменье повелевать, которое так ко мне и не возвратилось, в какие положения ни был я поставляем потом судьбой, в лета не только юношеские, но и зрелые. Характер надломился в обратную сторону, и когда мне приходит вопрос, отчего я не способен быть администратором, точнее командиром, требующим беспрекословного исполнения; отчего я лишен настойчивости даже там, где дело этого требует; отчего мне даже противны беспрекословные клевреты и в исполнителе я жажду разумения и сочувствия к делу; почему охотно, даже далее надлежащего терплю возражения, даже ищу их и требую; я обращаюсь за объяснением к давно минувшим детским годам, и в несправедливых гонениях и побоях, которым подвергался, нахожу первую причину, рядом совершенно последовательных перемен воспитавшую во мне этот избыток пассивности.

Объяснительные к урокам записки составляемы были под моим руководством, как сказал я выше, одним из лучших учеников (он стоял в списке третьим). И опять не могу вспомнить без жалости. Трудолюбивый, честный, не без дарований, не без любознательности, но какая неразвитость, точнее сказать — какое неуменье учебников приноровиться к детским понятиям! Я помню фразу географии на первой странице, чуть ли не пятая строка: «Земля наша, как планета, занимает место в системе Солнечной». Помню, я пространно должен был бедному Румянцеву толковать почти каждое слово этого предложения, с которым было у него то же, что у меня с каким-то замечанием о причастиях в грамматике Востокова. «Планета», «занимает место», «система»: каждое из

этих выражений порознь было тарабарскою грамотой. И сколько, без сомнения, такой тарабарщины во всех учебниках! Несмотря на свое чрезвычайное, не по летам развитие, не понимал и я одного выражения в Катехизисе. При объяснении слова Библия там сказано, что это слово означает книги и что Священное Писание названо так потому, что «преимущественно пред всеми книгами заслуживает сего наименования». Невоструев нам и объяснял, и в то время как объяснял он, смысл темного выражения мне становился понятен. Но замолк толкователь, и я снова не понимаю, не умею себе объяснить, что такое «преимущественно пред всеми книгами заслуживает сего наименования».

Нет нужды пояснять, что я опять не учился в классе за эти два года, но уже в обратном смысле, нежели в первый курс. Там я не хотел учиться, здесь учиться нечему было. Я продолжал свое домашнее чтение, но рвался, между прочим, не только вобрать в себя, но и изнести из себя что-нибудь. Бывавшие в руках латинские и греческие книги прочтены были мною; перевести их не приходило в голову, потому вероятно, что то были книги, числившиеся учебниками. Смутно бродила мысль о различии между учебником и литературным произведением. Но попала в руки латинская книга, не принадлежавшая ни к учебникам, ни к классической литературе вообще. Случайно узрел я ее у одного ученика, и она мне понравилась сначала своим переплетом: он был пергаменный, чистый, гладкий, ласкал руку. На вопрос: «что это?» владелец отвечал, что это «иностранная, должно быть немецкая». Вероятно, я променял ее на что-нибудь; она перешла ко мне. В ней оказались сочинения Павла Иовия, наполовину напечатанные готическим шрифтом. Сочинение «О римских рыбах» и «Летопись Англии» не возбудили интереса; но нашлось «De rebus Moschoviae» или «De Moschovia», современное описание России XVI века, составленное на основании показаний Димитрия Герасимова толмача. Я не только внимательно прочел это сказание, но решил его передать на русский язык, сшил тетрадку и перевел. Жалею, что не уцелело это первое мое литературное произведение. Помню, я старался перевести тщательно, перечитывал несколько раз перевод, изменял выражения, которые находил недостаточно точными и изящными. Я не знал тогда, что сочинение это известно историкам; полагал, что я сделал открытие. Об издании в свет своего перевода, разумеется, не мечтал, да никому и не говорил о нем; но меня утешала мысль, что я не только учусь, но и делаю дело настоящее, серьезное, свойственное людям не только почтенного возраста, но почтенным по себе, ученым.

Избавился ли я от наказаний? Увы, не совсем. На колени меня уже не ставили, но секли несколько раз, не за мои провинности, а за чужие шалости: «Почему за порядком не смотришь». Переносил я эти наказания спокойно, даже с некоторым благодушием, нимало притом не гневаясь на тех, чьи шалости подвели меня под лозу. Только раз я был не высечен, а больно избит за смешанную причину, отчасти личную неисправность и отчасти небрежение об обязанностях «старейшины». Был урок латинской фразеологии, и мы просили рекреации на тот день, к которому урок назначен. В полной надежде, что рекреация будет дана, никто не готовил урока, и я в том числе не просмотрел его. Рекреация была прошена в тот же день, и просьбы продолжались до самого звонка; некогда было и «прослушаться». Наскоро занесены были отметки в нотату, заведомо неосновательные. Входит ректор, спрашивает одного, другого: никто ни слова. «А, Иуда же злочестивый не хоте разумети!» С этими словами бьет одного, бьет другого, третьего, остервенился. Берет нотату и окончательно выходит из себя, находя благоприятные отметки. Обращается ко мне: «Да ты сам-то приготовился ли?» Я знал все-таки, хотя не готовился; но надобно было передать фразы в алфавитном порядке, и притом при объяснении игры римлян 8 кости я запнулся; побои на меня посыпались: бит и руками, и табакеркой, и по лицу, и по ушам, таскан за волосы. На одно ухо я туже слышу, нежели на другое: может быть, причина другая, но у меня сохранилось воспоминание, что я был оглушен. В общем, однако, страшный ректор был в последние годы со мной кроток. Когда после приезда из Москвы (о чем будет сейчас сказано) вступил я в должность и явился к нему по обыкновению с журналом, он взял меня за вихор и отечески, почти нежно наклонил мою голову со словами: «Нужно было поклониться». Я подивился этой мягкости тона и движения, для меня невиданной доселе, а кстати, и неосновательности замечаний. «Поклониться! — размышлял я. — Никогда же он этого не требовал; он только требовал, чтобы не держать высоко голову; только пустой колос торчит прямо, прибавлял он сравнение». Да, мы обязаны были держать голову наклоненною. Характерная черта! Одною этою мелочью обрисовывалась вся противоположность двух типов воспитания: семинарского, монашеского, с преклоненною главой и взглядом исподлобья, и — кадетского, военного: смотри прямо в глаза, держись вытянувшись; опущенные глаза — совесть не чиста. И вот многие из нас приобрели даже сутуловатость от внушенной привычки держать голову вниз, подобно «зернистому, спелому колосу».

ГЛАВА XXIV
МОСКВА

27 июля 1837 года памятно мне: это было новое рождение мое, второе крещение. Два пункта равной силы отметились в моей жизни и оба врезались в память глубоко, неизгладимо. 27 июля 1837 года я въехал в Москву, 15 августа 1844 года — в Сергиеву лавру. То и другое совершилось при одинаковых обстоятельствах. Вечер; там и здесь монастырь; там и здесь всенощная; там и здесь преддверие новой жизни, перестройка духовного существа; там и здесь… но не стану перебивать себя.

Еще год, и я окончу курс в училище, с тем чтобы перейти в семинарию. Старший брат писал родителю, что полезно воспользоваться предстоящими каникулами и прислать меня в Москву, где можно в вакационные недели отчасти подготовить меня к семинарскому курсу. Младшая сестра уже гостила у брата.

Каникулы начались 15 июля. Целые десять дней было промедлено, потому что, вероятно, подготовляли меня к Москве с другой стороны: нужно было меня обшить, заготовить белье, может быть, и сюртучок новый сделать: нельзя же пустить в столицу совершенным провинциалом. Лишь долее 28-го медлить нельзя: 28 июля — день Прохора и Никанора, или Смоленской Божией Матери, храмовый праздник в Новодевичьем монастыре, где служит брат; да мало того, что праздник: крестный ход, гулянье, торжественное служение. Поспеть к этому дню нужно непременно; со сборами только что поспели.

Сообщение с Москвой производилось на вольных ямских тройках, независимо от почтовой гоньбы. Пока жил в Коломне и даже далее, в лета юности, о езде на почтовых имел я понятие единственно из повестей; в редкой не описывалось досады ожидания лошадей и споров со станционным смотрителем. Между Коломной и Москвой, как потом между Москвой и Троицей, ежедневно ездило по нескольку троек. Из Коломны выезжали они (из Москвы в Коломну также) большею частию вечером и вечером на другой день прибывали к месту. Исключения бывали, когда кто-нибудь один лично для себя наймет тройку: тогда в его воле будет назначить и час выезда. Но это случалось редко; и богатые купцы не позволяли себе такой роскоши. Водилось так обыкновенно: пассажиры набирались, по числу их назначалось число троек для выезда, кидался ямщиками жребий, кому ехать, прочие получали «отход». Присутствовал я не раз при том, как меня (вместе и других) разыгрывали: бросались

монеты вверх — «орел или решка?». Оставалось безучастно смотреть, кому-то достанешься; радоваться, если жребий предоставит тебя знаменитому Евлану (Евлампию), славному и своими лошадьми, и своим ухарством, или с печальною покорностью ожидать, что повезет какой-нибудь ленивый и грубый Кондрат. Когда вы приходите на «биржу», достаточно быть двум ямщикам, и вы уже становитесь общею добычей. Рядились вы и с одним, но вот подошел другой: пусть он не сказал ни слова и участия в ряде не принимал, но все равно — вы артельная собственность. Можно отозвать знакомого ямщика в сторону, призвать к себе на дом; единоличный договор избавит лишь от неприятности слышать одновременное галдение нескольких голосов, но результат один: получив задаток, ваш знакомый Иван или Гаврила передает вас в общую кассу, и вы не знаете, с которым ямщиком, в каком экипаже придется ехать, потому что не только ямщики и лошади, но и кибитки бывают разные, обитые кожей или рогожные. Тарантасов в то время еще не было заведено в Коломне; отчего? Отчего такой удобный для грунтовых дорог экипаж, такой воистину российский, столь приноровленный к стране «ухабов и проселочных дорог», явился лишь одновременно с шоссе, накануне железных дорог, и притом где же — в Коломне, бойком торговом месте, с обширною Ямскою слободой, с ямщиками бывалыми, с трактами на Тамбов — Астрахань, Воронеж — Таганрог, не говоря о Владимире и Кашире? Но отчего не заводилось и линеек, и притом когда устроено было уже шоссе? Отчего потом не устроено было линеек и на Троицкой дороге, несмотря на огромное ежедневное движение, а продолжали вплоть до открытия железной дороги ходить частию тарантасы, частию простые телеги с кибитками, и притом последние и тройками, и парами, и одиночками, с напрасною тратой лишних повозок и лишних лошадей, со скучною обязанностию для путешественника искать лошадей и торговаться? Отчего линейки на загородных трактах появились уже после железных дорог и между пунктами, которые уже связаны рельсами, то есть там и тогда, где и когда по естественному порядку дилижансы, наоборот, должны исчезать? Ходят, например, линейки от Москвы до Богородска и от Москвы до Воскресенска. В самой Москве, до учреждения конки, была всего одна линия линеечного движения, а при конножелезной дороге явилось несколько. На эти вопросы пускай ответит будущий историк бытового прогресса и экономической предприимчивости в России.

Снаряжая меня, позвали ямщика, Ивана Соплина, нашего прихожанина; он уже не возил, возили дети; он довольствовался

болтаться на бирже и спивать «верхи».

Поряжено, задаток дан; я выеду вечером 26-го «в кибитке», то есть внутри экипажа; менее состоятельные рядились «на передок» (рядом с ямщиком) и даже на «облучок». Завязали мне мой негрузный скарб в узелок; батюшка отсчитал мне несколько серебряных монет и к ним в придачу несколько медных; деньги, следовавшие ямщику, кажется синенькая, даны особенно, с тем чтобы заплатить по приезде; сестра Душа сшила крошечный холщовый мешочек для денег, который и прикреплен к кресту на шее. Часу в четвертом вечера совершился обряд проводов. Помолились, сели на полминуты, расцеловались с сестрой, с теткой; отец благословил меня, и мы с ним отправились на «биржу». Соплин был там и объявил, что повезет Петр, молодой и, помню, очень красивый, черноглазый парень; объяснилось притом еще, что Петр — жених и свадьба будет на днях, до Спаса (1 августа). «Не беспокойтесь, батюшка, довезет благополучно». Батюшка обратился к Петру, которого нам тут представили, просил его по приезде в Москву нанять мне извозчика под Девичий. «Хорошо». — «Да ты смотри, — толкует ему Соплин, — помни; а то забудешь. Ведь он не был в Москве-то» (указывает на меня). — «Да ну, что!» — отгрызается Петр. Батюшка удаляется, а Соплин вслед снимает шапку и просит на чай: «Уж как хлопотал!»

Часа через два, должно быть, к бирже (так назывался угол площади и Астраханской улицы), где я дожидался, подъехала кибитка; я влез в нее. Стало быть и в путь? Нет еще; полчаса добрых прошли в непонятных для меня пререканиях между Петром и столпившимися ямщиками. «Да ну, трогайся», — крикнул какой-то ямщик, ударив одну из пристяжных по заду. Петр перекрестился и сел. Мы поехали. За заставу? Нет еще: проехав несколько по улице, остановились принять нового седока с узлами и чемоданами; началась укладка и подвязка. Потом завернули за угол, остановились у одного дома в переулке; здесь новый седок, еще не приготовившийся по-видимому. Долгая возня с багажом. Петру подносят водки, чтобы задобрить; Петр отказывается: «Я не пью». Этот ответ сразу поднял мое сочувствие к молодому вознице на несколько градусов. Так бы хотелось сесть к нему на передок, прижаться к этому красивому и постоянно задумчивому парню и спросить: «Да о чем ты думаешь?»

И этот третий пассажир, мещанин какой-то, ввалился. Мне по малолетству предоставили серединку. Тронулись; но не всё еще. На Московской улице, недалеко от заставы, дожидался еще седок, «на передок». У него котомка; ямщик кинул ее под передок. «Да ну, садись», — проворчал наконец даже Петр мужику, слишком долго расцеловывавшемуся с провожавшими его земляками.

Мужик сел. «Смотри же, не забудь!» — кричит он кому-то; Петр Васильич (я узнал его и отчество) махнул кнутом, и, бренча бубенчиками, тройка выехала за заставу. Колокольчик был привязан к дуге. Вышло запрещение частным лицам и вольным лошадям возвещать о своем приближении заливающим звоном. Становые только и заседатели ездят, оглашаемые «даром Валдая».

Потянулась дорога, широкая, Екатерининская, грунтовая. Промелькнула знакомая верста, единственная, до которой я доходил за Московскою заставой. Я приготовился смотреть.

Но смотреть было не на что. По обеим сторонам тянулись однообразные поля, да вскоре начало и смеркаться. Не заметил я и того селения, что значилось первою станцией в почтовом календаре, маленькой книжке, печатанной в типографии «Любия, Гария и Попова» (фамилия интересовала меня всегда, что это за Любий и Гарий?). Книжка эта имелась у нас в доме; на голодные зубы я пробегал ее в числе других и запомнил станции Московско-Коломенского тракта.

Через 37 верст наша тройка остановилась на ночлег (в д. Старниках) у Сергея дворника, известного под именем «старниковского Сергея» далеко по околотку и даже в Москве. Спутники указали мне горницу, где мы должны переночевать, и я, свернувшись клубком, заснул на пустой кровати без матраца, положив под голову узелок. С зарей нас разбудили. Спутники отправились пить чай, предложив и мне; но я отказался. Чрез час мы выехали, причем я должен был заплатить пятачок за ночлег. Началась утомительнейшая часть пути: пятьдесят верст без передышки, по жаре, вскоре наступившей, среди облаков пыли. Петр был не из лихих; лошади трусили; по крайней мере мне так казалось. Он не пел и не мурлыкал, вопреки моему ожиданию, настроенному рассказами о ямщиках. Дорога оказалась более прозаическою, нежели я мечтал. Спутники, не менее молчаливые, чем ямщик, лениво отвечали на вопросы, с которыми я неизменно обращался при въезде в каждое селение, любопытствуя знать его название. Проехали и Бронницы, город, польстивший моему коломенскому патриотизму: он оказался селом, размеров несколько более обширных обыкновенного. Поглазел я на Мячковский курган, высившийся над берегом Москвы-реки. Я много о нем слыхал, но спутники не умели о нем ничего ответить на мои вопросы. Мне стало даже досадно. Все должны, казалось мне, знать, что я еду в первый раз, и должны сочувствовать моему любопытству.

К полудню остановка на обед за 23 версты от Москвы. Имеете вы понятие об этих обедах на постоялых дворах? Имеете вы понятие об этих обеденных стоянках? Нет ничего скучнее и

унылее на свете, особенно в летние дни. Все вяло, сонливо, неповоротливо. Повсюду одно и то же неизменно. Въезжая в деревню, вы знаете заранее постоялый двор, в котором остановитесь, хотя в нем не бывали. Представляете и эту неизбежную лавку при нем, против него иль наискось от него, с неизбежными же лаптями и валенками, висящими в ней над дверью, и ремешками, развешанными по стенам; этот запах — смесь сена и навоза с дегтем; эту сонную бабу, вышедшую на крыльцо умываться; самый двор, крытый сплошь или с просветом посередине, а впереди против главных ворот неизбежные задние необъятной ширины, иногда одностворчатые, ширина которых превосходит вышину вдвое. Лениво хрустят лошади, погромыхивая время от времени бубенчиками, или же дремлют, повеся голову, но вздрагивая иногда от налетевшего слепня и тоже погромыхивая; воркуют голуби, изредка похлопывая крыльями. Тоска, час кажется вечностью; ямщик и спутники спят сладким сном после сытного обеда.

А обед действительно сытен. Кушаньям счет потерян. Студень, солонина, свинина. Несколько горячих: сперва пустое хлебово, потом с мясом; жаркие разные и потом пирожные в виде пшенников, лапшенников, каши с молоком, каши молочной, лапши молочной, оладьев, и иногда огурцы с медом. Едят не спеша; возьмет ложку, почерпнет, отнесет в рот и положит на стол, дожидаясь времени, когда прожует хлеб и окончательно проглотит. Едят до испарины; иной расстегнется, отпустит пояс и даже не раз, по мере того как наполняется живот. Это удовольствие стоило в те времена пятиалтынный; я нахожу недорогим, особенно при даровом хлебе и квасе, которых кушай, сколько влезет, за ту же цену; да независимо от того каждому резался пшеничный папушник. Только вино ставилось в особую цену, и с ним являлся пред обедом дворник-хозяин самолично, держа в одной руке полуштоф, в другой — рюмку (продажа, понятно, корчемная). Садилось обыкновенно человек двадцать, тридцать. Этим, между прочим, и объяснялась, вероятно, дешевизна. Ямщиков всегда кормили, как и чаем поили, задаром. За них отвечали лошади (ценой овса и сена) и седоки (платой за чай, обед и ночлег).

В эту первую поездку мне было не до обеда; я сгорал нетерпением доехать и довольствовался булкой, захваченной из дома. Поднялись мы уже к вечеру и поплелись лениво. Даже спутники мои, обыкновенно терпеливые, начали подгонять ямщика, шутливо замечая, что, вероятно, он думает о невесте, когда дает идти лошадям ни шатко ни валко; пожалуй, не попадешь в Москву засветло. Зашел разговор о проезжаемых

деревнях. Панки — ну, это скверная деревня; тут береги свою клажу; извозчик, не отставай от лошади — живо угонят, а то вырежут «место». А вот Потеряевка, недаром так и названа.

А замечательно, в самом деле, что кругом Москвы, по многим дорогам на расстоянии 10–20 верст, расположены селения, наименованиями свидетельствующие, что проезжающим в этих местах приходилось терпеть: Потеряевка на Рязанской дороге, Грабиловка на Владимирской, Лихоборы на Дмитровской.

Мы приехали хотя засветло, но поздно. Тщетно я таращил глаза увидать Москву: она заволочена была вечерним туманом и облаками пыли. Пред заставой вышли и прошли ее пешком; иначе придирка, потребуют «вид». Ямщик пошел в кордегардию заплатить офицеру положенный оброк за пропуск, в виде пятиалтынного или двугривенного. Подошел солдат с железным щупом, поставленный от откупа. Впрочем, он не ковырял ничего; задаром ли оказал эту милость, или тоже за гривенник или пятачок, неизвестно. Тройка въехала в заставу; мы сели и понеслись. Меня поразил гром экипажей, хотя движения и немного было; но в Коломне не было ровно никакого. Слышался звон; проехали несколько церквей и остановились, как помню теперь, у «Зарайского подворья». Где это, в Таганке или в Рогожской; не могу представить. Спутники быстро вынули свои вещи и удалились. Сидевший на передке соскочил еще у заставы. Деньги ямщику уже отданы пред въездом в заставу. Я вышел из кибитки и смотрел недоумевающим взглядом. Лошади и Петр исчезли. Галдели ямщики совсем незнакомые; взад и вперед сновали мимо телеги и дрожки, возы нагруженные и разгруженные. Я не знал, к кому обратиться и что делать. Быстрее молнии промелькнуло в голове удивление на свободу, с какою расхаживали, разговаривали и даже орали мужики. Словно я ожидал, что тут должны вести себя с отменною скромностью, разговаривать вполголоса и держать себя чинно. Я проникся ощущением своего ничтожества и бессилия, подавленный отчасти видимым, отчасти заранее предположенным величием столицы. И мне казалось, все должны были проникаться в той же мере ощущением своего ничтожества.

Вышел, однако, из двора Петр; вероятно, он откладывал лошадей. Увидал меня: «Вы что же, барин?» — «Да мне надо извозчика нанять». — Он, очевидно, и забыл о данном поручении. Я повторил адрес: «Под Девичий, за Девичьим полем, к монастырю». Петр подозвал извозчика, сторговался за двугривенный и распростился. Я сел на «калибер» и нашел его необыкновенно комфортабельным экипажем. Замелькали дома, и начинало смеркаться. Повез меня извозчик, должно быть, чрез

Красный холм, ибо, несмотря на темноту, я заметил бы Кремль, если б ехали Солянкой; а я его не видал. Дома большею частью одноэтажные и, как мне казалось, все окрашенные желтою краской, виднелись по улице с той и другой стороны. Время показалось очень долгим; делалось жутко. Мы ехали уже по какой-то мягкой дороге, и я увидел неясное очертание высившегося здания; не монастырь ли уж это? На вопрос мой извозчик пояснил, что это «каланча»; проехали, стало быть, Хамовнические казармы. Как несносно долго! Всё едем, и наконец извозчик убавляет шагу и обращается ко мне с вопросом: «Так куда же, к чьему дому?» Прохожих нет, и домов очень мало, да и в тех окна закрыты. Но вот открытое окно и свет. «Спрашивайте, барин». — «Где дом дьякона?» — спрашиваю я. Извозчик повторил вопрос. — «Которого: приходского или Девиченского, и которого Девиченского?» — «Гилярова», — отвечаю я. — «А, вот второй дом налево». Мы подъехали к воротам, за которыми следовала решетка палисадника. Пока мы перекликались, спрашивая о братнином доме, пока я разговаривал с извозчиком, как поступить, стучаться ли, звонить ли и где колокольчик, — разговор наш и вообще движение были услышаны. Послышалось восклицание свежего, молоденького девичьего голоса: «Да это братец Н(икита) приехал!»

Расчет с извозчиком, объятия с сестрой, поцелуй с невесткой.

— А где же братец? — спрашиваю я.

— Еще у всенощной; но скоро придет, вероятно, третий звон уже. Только мы обменялись этими словами, раздался благовест, унылый, унылый благовест откуда-то; не то далеко, не то близко.

— Это что же? — спрашиваю я.

— Это к «девятой песни».

В Новодевичьем монастыре, кроме трех обыкновенных звонов во время всенощной, производится, производился по крайней мере тогда, благовест еще при пении «Величит душа моя». Нигде в других местах, не говоря о приходских церквах, даже в монастырях, благовеста этого не бывает. Он отзывается дальнею древностью и тем своеобычием, которое действует всегда отрадно на человека, утомленного мертвым, фронтовым однообразием русской жизни.

Явился брат. Недолги были разговоры за ужином. Усталый, он спешил в постель, тем более что ему предстояло завтра служить две обедни да еще участвовать служением в одной с крестным ходом, особенно утомительной. Мне было объявлено, что крестного хода я встречать не буду, могу затеряться и мало увижу, но меня проведут в собор в алтарь, и я увижу архиерейское служение. Я уснул переполненный ощущениями.

Вот маленький ручей или речонка. Купаешься в них, переходишь вброд, может быть, и плаваешь на лодчонке. Ничего другого не видал. И переносят тебя вдруг на море, сажают на корабль, горизонт теряется. Снуют плавучие громады. От одного поворота руки двигается великан, способный вместить все твое бедное селение и с людьми, и с жилищами; чувствуешь самого себя как бы выросшим в этой грандиозной обстановке, приобщенным к этому колоссу; как будто тебя самого прибыло, в тебе самом прибавилось силы и величия. Это чувство есть, бывает оно по крайней мере, и оно-то обняло меня вместе с ощущением, что «я в Москве»!

ГЛАВА XXV
НОВАЯ АТМОСФЕРА

Чрез полтора года ровно, под заглавием «Святочные досуги», составлено было мною обстоятельное описание моего первого приезда в Москву. Это была довольно объемистая тетрадка, оканчивавшаяся целою страницей письменного, весьма лестного отзыва, данного о моем труде профессором. Тетрадка эта с другими бумагами погибла потом во время пожара, бывшего у меня. Кроме того, я вел дневник в самое это время краткой побывки в Москве. Я был так переполнен виденным и слышанным, что из меня переливалось чрез край невольно; я боялся затерять приобретенное, не уберечь. Часть дневника сохранилась. Но я и начал его поздно, и прервал рано; прервал потому, что нашел записи брат, прочел их, не говоря мне ни слова, и, не говоря же мне ни слова, испестрил помарками, отнесясь к ним, как к ученическому упражнению. Но то было не упражнение: то было излияние, то была исповедь. Посторонний глаз, нескромно проследивший ее, чужая рука, на нее посягнувшая, были грубым объятием, в которое заключает прохожий чистую отроковицу оскорблением ее непорочной девственности. Я смутился, сжался и не мог уже продолжать, несмотря на всю любовь, на все доверие к брату, на все почтение к нему, которым был тогда исполнен.

И сейчас я с трудом могу привести в порядок разнообразие впечатлений, Тогда меня охвативших, ощущений, меня волновавших, сведений, меня обогативших, изъяснить новое освещение, легшее на беспорядочный материал, мною запасенный. Это была высокая пора жизни, период чистейших чувств, Дум, стремлений; период души, парившей в небо.

Было бы утомительно передавать события в последовательности. Начать с того, что все было ново вокруг меня: местность, лица, быт семьи, в которую я кратковременно вступил, особенное служебное положение брата, даже самый воздух. Мне с трудом поверят, но я настаиваю, что ощущал особенность атмосферного воздуха; мысленно я его сейчас воспроизвожу. Известно, что нежилой дом иначе пахнет, нежели обжитой; известна особенность благоуханий степи, леса, запах весны и осени, июля и августа в деревне, деревни и города вообще. Часть особенностей поддается даже анализу; но признаки, которые угадывает обонянием киргиз или Патфайндер Купера? Под Девичьим была особенность воздуха, которую я мог

угадать обонянием, зажмурив глаза, и которая не тождественна была не только с Москвой, но и с окрестностями ее, под Донским, Симоновым, за Дорогомиловым. Она зависела, конечно, от особенностей физической обстановки, но почему она подействовала резко — отказываюсь объяснить.

Монастырь [14], заканчивающий собою широчайшую улицу в полторы версты длиной, носящую название Девичьего поля; в средине она действительно расширяется и образует выгонное поле. Сзади огороды, которые, понижаясь, ведут к Москве-реке, а за ними дуга Москвы-реки, очерчивающей полукруг. Направо от монастыря пруды и за ними тотчас же опять Москва-река, налево слобода с домами духовенства, за нею огороды и за ними опять Москва-река. Вдали, впереди, за рекой — Воробьевы горы с церковочкой в ладонь величиной. Желтые полосы пестрят гору — след брошенных работ по сооружению храма Христа Спасителя. Налево Мамонова дача; обращаясь направо, минуя все Воробьевы горы, взор падает на загородный двор Воспитательного дома. Вполне сохранившиеся стены монастыря с узорчатыми башнями. Внутри несколько церквей; собор — и древнее, и величественнее Коломенского; церкви на обоих воротах; высокая колокольня, бесспорно изящнейшая изо всех московских; монашеские кельи; надгробные памятники, теснящиеся около церквей; монахини, изредка переходящие чрез одну из дорог и тропинок внутри ограды; тишина. Тишина, но не полная, безмолвная тишина. На колокольне часы бьют не только четверти, но отбивают каждую минуту. Представьте склоняющийся к вечеру летний день; кругом памятники, одни — почтенные исторические, в виде храмов и хором, другие — в виде намогильных камней и часовень, внутри которых инде теплится лампада. Но пока я пишу это, прозвенела минута, долго, жалобно, тонко, и едва успеваешь погрузиться в думу, снова жалобный, тонкий голосок напоминает: минута прошла. На далеко слышен этот долго не замирающий тонкий звук, за четверть всего поля.

Говорили (едва ли предание точно), что часы поставлены Петром с минутным боем нарочно, чтобы чаще напоминать заточенной Софье о ее крамоле. Кельи Софьины — двухэтажное здание, почти вплоть у стены, смотрящее за город. Что за странность? За кельями не водится, чтоб они смотрели в «мир». А это с намерением опять: здесь на зубцах или около них на виселице качались пред окнами тела казненных стрельцов. Таковы предания, уже отличные от преданий о Мотасе или Сергии Преподобном, встретившем недружелюбный прием колом. Это не миф уже, это история.

Не знаю, может быть, по пристрастию детских воспоминаний,

но мне нравится архитектура и хором (особенно царицыных, где жила Евдокия Федоровна, рядом с передними воротами), и монастырских башен, не говоря о колокольне: эти темно-красные здания, обделанные украшениями из белого камня, оригинально изящны.

Если б от приходской церкви уездной я попал к приходской же церкви, хотя столичной, было бы другое. Если б от приходской церкви уездной я попал в мужской монастырь, Донской или Лавру например, было бы опять другое. Жизнь столичного приходского духовенства отличается от уездного только в потенции. Те же требы, то же «славленье», то же «что позвонишь, то и получишь», то же улаживанье отношений к прихожанам, унижение пред богатыми, почти пренебрежение к бедным, та же материальная сторона впереди, тот же главный фон, даже не загрунтованный лицемерием, и это нужно отнести к великой чести духовенства, оно себя не корчит Монастырь другое дело; там звонят по уставу, службу правят как предано на первом плане аскетизм, глубокие поклоны, долгая служба. Не в том вопрос, искренне ли это, а в том, где лицевая сторона. С незнакомым монах чувствует себя обязанным держать постное лицо, говорить «о Боге и его правде, о человеке и его неправде», воздыхать, повествовать о чудесах, о пользе молитвы. Попади я в мужской монастырь, одно из двух, смотря по обстоятельствам: меня возмутило бы лицемерие; если не лицемерие, то несоответствие показной стороны с действительностью: из меня вышел бы второй Ростиславов; или же бы я экзальтировался, как экзальтировались после некоторые из моих сверстников, возмечтавшие о пустыне, афонских подвигах и надевшие клобук. Но я попал не к приходской церкви, а к монастырю, и монастырю женскому, притом первоклассному, второму в империи, древнему, преданиями немного менее полному, чем Лавра, и несомненно более, чем Донской, Симонов и другие мужские. Братия (точнее, сестры) многочисленные, более двухсот. В старину он был богат и независим; более 14 000 душ приписано было к нему. В самой Москве ему принадлежала вся окружность от Москвы-реки и до Зубова, даже по отобрании крестьян. Но где же матери-игуменье и сестрам следить за имуществами? После казнь мало-помалу отрывали монастырскую землю коршуны в виде уже частных лиц и городского общества. Михаил Петрович, девиченский дьячок, которого уже я застал, под носом у самого монастыря, в самой монастырской слободке, «обелил» свой дом, выправив на него план, как на частную собственность. Кто ж станет ограждать монастырские интересы? Адвокатов не было, да и надобно, чтоб игуменья обладала энергией матери Митрофании или гением

покойного Пимена, угрешского архимандрита.

Но служба правилась по уставу, более строго, может быть, нежели даже в мужских монастырях; но аскетическая жизнь ведена была не напоказ, а искренне; но сестры не тунеядствовали, а большинство прокармливалось работой, подобно тому как было полторы тысячи лет назад в Фиваиде. Впрочем, это уже общее отличие женских монастырей от мужских, удивительное, пожалуй, даже возмутительное. Монах садится на даровой хлеб, на даровую квартиру, участвует в дележе кружки. Сестра, поступая в монастырь, обязана внести приданое, купить келью и содержаться на свой счет. Кружка бывает, но какие доходы? В мужских монастырях кружка наполняется вознаграждениями за службу, молебны, панихиды, поминовение. Но монахини не правят службы, хотя помогают богослужению пением и чтением. Служит духовенство; доход, поступающий в мужском монастыре монахам, делится в женском между причтом. Причту, в свою очередь, упомянутые условия дают особенное положение, необыкновенно благоприятное для цели его духовного призвания, нигде еще не повторяющееся. Духовенство живет не жалованьем, а доходом. (Жалованье было, но чуть ли не по двадцати рублей в год; так щедро отдарили «штаты» за отписанные четырнадцать тысяч душ). По слову апостольскому, оно питается от алтаря, не обращаясь в чиновников коронной службы. Но чтобы получить доход, ему не нужно ни принимать личину постничества, ни возбуждать воображение противоположностью недосягаемого ангельского чина пред мирским, ни звонить вперегонки, ни клянчить и угодничать пред богатыми и сильными. Ангельский чин пред ним сам по себе, искренний, нелицемерно смиренный, постный и набожный; устав служебный соблюдается также сам по себе, независимо от прихотей и поползновений причта; доход от алтаря течет сам собою, условливаемый чинностью службы, историческим к монастырю уважением народа, между прочим, и строгою жизнью монашествующих. Священнослужителям остается быть служителями алтаря в самом тесном и самом чистом смысле; духовные обязанности ничем не засариваются, ничем не затрудняются.

Брат мой был из числа именно так относящихся к своим обязанностям. Помимо священнослужения для монашествующих, он поставил себе быть проповедником слова Божия. Это его была постоянная мысль, постоянное и единственное дело. В дневнике, веденном некоторое время еще до поступления на место, так он и определял себе назначение. За несколько часов до смерти последнею его мыслью была забота об одной из своих проповедей, о переписке ли ее или об исправлении ее

недостатков.

Предоставляю перенестись в положение, которое кругом себя увидел и себя в нем ощутил тринадцатилетний сениор Коломенского училища, переводчик Павла Иовия. В своем брате, между прочим, он нашел того ментора, которого смутно искала душа его, который в пределах своих знаний немедленно отвечал на все запросы; а запросы были даваемы без удержу и удовлетворялись без устали и скуки; напротив, Александр Петрович в каждой прогулке не пройдет десяти шагов, чтобы не остановить следующего за ним братишку, не указать дом, чем-нибудь замечательный, не рассказать курьезного случая, о котором напоминает это место, предания, с которым связан этот угол Москвы. Брат притом же по природе был словоохотлив даже чрез меру.

Свояком доводился брату В.И. Груздев, о котором была речь в одной из предыдущих глав; шурьями были Островские, между прочим Николай и Геннадий Федоровичи, люди с академическим образованием и замечательным умом. Николай Федорович притом внимательно следил за литературой; по части снабжения книгами и журналами он был для брата почти тем же, чем для родителя нашего И.И. Мещанинов. В.И. Груздева и Островских мне пришлось видать у брата в свою кратковременную побывку, слышать их беседы, и я почувствовал себя в сфере других интересов, о которых не знал коломенский круг, мне доступный. Рассуждали о современных проповедниках, о современной литературе, о цензурной истории с письмом Чаадаева в «Телескопе» и об «Истории ересей» Руднева, тоже перенесшей цензурную передрягу, о путешествии наследника и статье Погодина по этому поводу. То были свежие новости, и они передавались с жизнью, которой недостает печатным рассказам. Ни чаадаевская, ни рудневская истории, впрочем, в печать и не проникали.

В Новодевичьем погребаются знатные русские фамилии. Могильные памятники давали случай брату знакомить меня с нравственною физиономией родов, с их взаимными отношениями, рассказывать ту часть русской истории, ему известную, которая разрабатывается теперь «Русским архивом» и «Русскою стариной». Случалось встречать и лично кого-нибудь из представителей аристократии. После взаимных поклонов и пары слов, которыми перекидывался брат с барином, я не упускал любопытствовать, и мне сообщался послужной список встретившегося, родственные связи его и то, чем они важны; сообщалось и общее понятие о сравнительной силе чинов и родовитости в России и положении фамилий при Дворе.

Тесть брата, бывший протоиерей, проводил под именем монаха Феодорита подвижническую жизнь в Донском монастыре. Раза два доводилось сопровождать к нему брата. Глубокое почтение, которое обнаруживал к нему Александр Петрович, державшийся вообще свободно и почти даже фамильярно с лицами высшими его по положению; отсутствие праздных слов со стороны Феодорита; все это уносило меня опять в иной мир, где наяву представал, так сказать, край Четиих-Миней. А Татьяна Федоровна, монахиня, чтимая братом, и совсем переносила в Четьи-Минеи. Об этой подвижнице и прозорливице я расскажу особо.

Таков был новый мир, в котором я очутился. Две-три прогулки по Москве, одна из них предпринятая для меня специально, дополнили впечатление.

На другой день приезда, как обещано, я был введен в алтарь. Несметное множество народа около монастыря, в монастыре, в самом соборе; многочисленность духовенства; величественная строгость самого собора; архиерейское служение, на этот раз даже с хиротонией, подавили меня. Служивший архиерей был невзрачен; помню, это был Дионисий, бывший Вятский или Пермский, сосланный в Москву на покой, как говорил мне тогда брат, за приносы и содержание лавочки при архиерейском дворе. В лавочке покупался чай и сахар; тем и другим кланялся архиерею проситель, а архиерей, приняв подарок, спускал его обратно в лавку для дальнейшего обращения. Низкого роста, толстоватый, Дионисий и голосом обладал не симпатичным, хотя звонким. Протодьякон и иподьяконы обращались с ним чуть не как с мебелью, небрежно, хотя и с наружными знаками почтения. Тем не менее хиротония со своим неоднократным «аксиос», с «повели» и «повелите», с хождением вокруг престола и торжественным пением, которым оно сопровождалось и которое исполняемо было мужественными голосами служащего духовенства; наконец, растроганное лицо «благоговейного диакона Александра», которого «божественная благодать проручествовала во пресвитера»: все это врезалось в меня неизгладимо.

Вечер проведен был в обзоре гулянья, куда, разумеется, брат не пошел и куда отправились только мы с сестрой. Запруженное народом поле, «колокола», то есть палатки для винной продажи, имевшие форму колокола, балаганы, качели: все это была невидаль для меня, как и разносчики даже. Изо всего виденного один «Петрушка» мне был знаком; за грош я его смотрел раз в Коломне, где для него на Масленице поставлена была палатка, и я долго недоумевал, тщетно усиливаясь решить: каким способом

ухитряется комедиант испускать неестественное верезжанье и ржанию подобный смех? Но тут Петрушка оказывался в числе последних, наименее видных увеселений. Тут на подмостки выходили пред глазеющую публику невиданные мною паяцы с своими грубыми шутками, кувырканиями и затейливыми фокусами вроде вытаскивания бесконечной пакли изо рта.

Другой день, 29 числа, считался в монастыре тоже праздником, и брат говорил за литургией проповедь. Я обязан был ее выслушать и после пересказать ее содержание. Эта обязанность возлагаема была на меня каждый раз, когда брату думалось проповедовать, а это случалось почти каждый праздник.

Прошло затем несколько дней пустых. Мы ограничивались прогулками по полю, по монастырю; раз дойдено было до Смоленского рынка. Москвы я еще не видал. Устремляя глаза чрез поле, тщетно я искал Кремля. Виднелись какие-то зеленоватые церкви, и я спрашивал: «Не это ли Кремль?» — «Нет, — отвечали мне, — Кремль далеко еще. Это Зубово». Наконец в один из свободных от служения дней брат пред вечером повел меня. Мы прошли Пречистенку, миновали Алексеевский монастырь со старым Пожарным депо, стоявшие на месте, где теперь храм Христа Спасителя, и с Волхонки поворотили на Каменный мост; брат хотел показать мне Кремль с лучшей стороны. Кремль тогда смотрел красивее; теперешнего Большого дворца, подавляющего все остальное, не было еще; соборы не казались придачей ко дворцу, стоящими на его дворе. С набережной видны были терема и Спас на Бору; крошечная церковь Уара, стоявшая на пригорке пред Боровицкими воротами, придавала свою прелесть виду. Мы любовались с набережной; поворотили на Москворецкий мост, вошли в Кремль, во время вечерен поклонились святыням соборов, обошли Царь-пушку с Царем-колоколом, только что поднятым пред тем, и чрез Красную площадь Иверскими воротами прошли в Александровский сад, мимоходом полюбовавшись фонтаном, который бил в это время зонтом. То была целая лекция. Все, что помнил, все, что знал брат относящегося до Кремля, его святынь, до памятника Минину, до водопровода, до Александровского сада, до Воспитательного дома, на который издали мне указано, равно как и на дом, бывший Безбородко (потом Прохорова) на Вшивой горке, — все это выложено было частью тут же при обзоре, частью дорогой при возвращении на Девичье поле. Рассказано было, как в одну ночь Безбородко, ожидая государя, развел сад на пригорке, спускающемся от его дома к Москве-реке; по поводу Александровского сада передано о Неглинной, о рвах, отделявших Красную площадь от Кремля, и о нечистотах,

которыми завалена была в те времена его окружность, о разорении Двенадцатого Года, следы которого еще оставались в 1818 году, когда брата ввезли в Москву. По поводу того же сада передано, почему единственное дерево во всех общественных садах — липа. Старейший из бульваров, Тверской, был засажен первоначально березами. Увидав насаждение, император (Александр I) спросил: «Что вам вздумалось — береза? Лучше бы липы». Березы были вынуты, липы посажены, и с тех пор везде липы и нигде березы. Воспитательный дом напоминал о Демидове и его причудах, кремлевский плац-парад — о соборе Николы Гостунского, снесенном в одну ночь.

Об этом снесении я слышал потом дополнительный рассказ от тестя. Как раз накануне вечером, за несколько часов до сломки, он со своею женой отправился куда-то в гости. Путь лежал из Заяузья чрез Кремль. Был ли праздник какой, или так засиделись, только возвращались они тем же путем уже на заре. Проходят Кремль. «Что это такое, точно что-то не так?» — обращаются друг к другу супруги с вопросом. — «Да и мне кажется, что какая-то будто перемена». Осматриваются внимательнее. «Ай, да где же собор Николы Голстунского? Его нет, место чисто; даже незаметно, где он стоял». Сверхъестественные, должно быть, усилия употреблены были, чтобы в одну ночь таким образом снять церковь, пусть она и небольшая была, вероятно. Но помнили историю с Боголюбскою иконой, породившую бунт во время моровой язвы, и потому решили выкрасть собор незаметно. Августин, проживавший в теперешнем Николаевском дворце (принадлежавшем Чудову монастырю, и в нем жили тогда архиереи) не спал ночь, не отходил от окна, пред которым происходило разрушение, крестился и молил вслух Бога, чтобы не испытать ему участи замученного Амвросия. Но прошло совершенно благополучно; не последовало никаких протестов, и только не один, вероятно, Алексей Иванович с Надеждой Алексеевной, а многие диву давались: «Как это? Вчера был собор, видели его, молились в нем, а сегодня и следа нет, где он стоял; исчез, словно на небеса поднялся».

ГЛАВА XXVI
ПОДГОТОВКА

Москвы я видел мало во всяком случае. Был я в Донском монастыре, и, между прочим, по случаю крестного хода 19 августа; осматривал памятники тамошние и в том числе известный памятник солдату с кивером наверху; узнал, что по богатству монастырских кладбищ это есть первое (то есть было первым тогда): в Новодевичьем поминовенных вечных вкладов 150 000 рублей (ассигнациями); в Донском — более. Отправились мы на иллюминацию 30 августа к Александровскому саду; за теснотой не пробрались, и брат даже потерял шляпу, но зато путешествием туда и обратно воспользовался брат, чтобы передать мне какие и насколько имел астрономические сведения; мы шли, время от времени поднимая голову на звезды. Кстати сообщил мне и о тригонометрических приемах съемки, как можно определять расстояния, не измеряя величины непосредственно.

Познакомился я с московскими банями. Коломна считала стыдом посещать общественные бани; разве отставные солдаты и другие подонки населения пользовались «торговыми» банями; сколько-нибудь дорожащий собою обыватель мылся в домашней и притом семейством. Удивительная вещь! В то же время Москва не только обиловала общими банями и домашних почти не имела, но «народные» бани принимали мужчин и женщин одновременно, несмотря на указ, давно против того изданный; так мне передавали. Я видел гравюру, на которой изображено это одновременное мытье обоих полов в одном помещении. Сперва мылись, говорят, совершенно вместе; затем обычай отвел мужскому полу преимущественно одну, женскому — другую сторону той же мыльни, так что полы не смешивались, хотя и подходили за водой к тому же крану; затем назначены различные часы дня, одни мужскому, другие женскому полу, и встречались мужчины с женщинами только при окончании одного и начале другого периода.

Баня, хотя не мудрящая, показалась мне негой сравнительно с домашнею коломенскою, которая, во-первых, топилась по-черному и, во-вторых, не имела передбанника: хотя бы при лютейшем морозе, раздеваться и одеваться приходилось в холодных сенях, которых стены притом были не безукоризненной плотности: кое-где просвечивало, в дверях сквозило, на полу лед. И однако, слава Богу, не простуживались, как не простуживались от отсутствия галош и зонтов, как редко простуживаются доселе

рядские торговцы, хотя торгуют круглый год на воздухе и в зимние дни распивают чай в лавке. Будущему историку быта в России нельзя будет не обратить внимания на это оригинальное отношение русского человека к теплу. Давно ли у нас пошли теплые торговые помещения? Теплые же церкви считаются доселе роскошью, несущественным придатком (приделом) к церкви, которая предполагается холодною; чтобы главный престол был в теплой церкви, придел в холодной, этого и не слыхано; церкви, прямо строящиеся теплыми, представляют исключение, и притом обязанное происхождением самому позднейшему времени, периоду прошлого царствования. Не говорю о сенях, которые в простом быту доселе холодные, а встарь холодные были и в хоромах, и во дворцах. Как жили? Как выстаивали церковную службу и притом длинную (тогда не вертели обеден и всенощных)? Как оставались целы, выходя раздетыми из жарко натопленной избы? А главное: почему такая недогадка при тогдашней дешевизне топлива? Не находится ли это в связи с медленным развитием самого искусства класть печи? Действительно, даже печная труба для большинства селений есть новое изобретение, а слово «голанка» показывает, что комнатные печи заимствованы от Голландии. И они пошли недавно. На моей памяти, когда перекладывали печь в церкви у Никиты Мученика в Коломне, отец передавал со слов старосты, что печь будет особенная, с «оборотами» дыма, другими словами — голландская; стало быть, до того Коломна знала исключительно русские с прямым огнем, вроде камина; и это с небольшим сорок лет назад! Но отсюда новый вопрос: отчего же так неподвижен был ум в изобретении и усвоении удобств, повелительно указываемых климатом? Шубы, шапки, рукавицы догадался русский человек придумать, печей — нет!

Побывали мы в Нескучном и на Воробьевых горах. Нескучное дало мне случай узнать об Алексее Орлове, его охотах, об его дочери и об архимандрите Фотии. А Воробьевы горы напомнили брату, между прочим, историю колокола у Николы в Хлынове. Священник любил звук больших колоколов до страсти и потому недоволен был своим приходским. Неотступными просьбами уговорил прихожан слить колокол приличного веса. Слит. Слушает батюшка и не нравится ему; не о том он мечтал. «Григорьевич или Сергеевич, — говорит он пономарю, — постарайся-ка ударить изо всей мочи». — «Разобьется, пожалуй, батюшка». — «Ничего; ты постарайся что ни есть у тебя силы». Григорьевич или Сергеевич постарался и разбил колокол. Священник по прихожанам. Нужно отливать новый колокол, но что уже скупиться — лить так лить побольше. Отлит побольше.

Забыл я, но, кажется, операция повторена была и еще; колокол снова разбит усердным Сергеевичем и снова отлит еще более тяжеловесный, пока вполне угодил батюшке, и тот любовался им по-своему. Распорядится ударить к заутрене пораньше, а сам отправится в ночь на Воробьевы и тает от восторга, слушая голос своего детища, то так прилаживая ухо по направлению своей церкви, то прикладывая ухо к земле.

Совершил я и еще путешествие по Москве, и притом единолично, от Девичьего монастыря в Рогожскую и назад, верст двадцать, должно быть, или того более, потому что я не довольствовался письменным маршрутом, которым снабдил меня брат, а заворачивал в переулки направо и налево, чтобы посмотреть дом ли замечательный, или храм. Маршрут мне указывал пройти по Москворецкой набережной до Яузского моста. А я, дойдя до Москворецкого моста, счел нужным завернуть и обойти Василия Блаженного кругом; мимо Воспитательного дома также не прошел равнодушно, также обошел кругом и силился представить, насколько изящнее смотрело бы здание, когда бы квадрат со внутренним двором примыкал не с одной стороны, а с обеих к увенчанному голубцом главному корпусу. Мне кололо глаз отсутствие симметрии, и когда я сообщил свое замечание брату, он сказал, что первоначальный план таков, по слухам, и был, какого бы я желал. Перейдя Яузский мост, я не упустил завернуть, чтоб осмотреть Шепелевский дом, намеченный мною еще с набережной. Отчет мой о путешествии послужил брату случаем, чтобы рассказать о знаменитом Рогожском пожаре, когда невозможно было ходить по раскаленной мостовой, когда бумаги из горевших домов летали за несколько верст от Москвы; когда не уцелела церковь Сергия в Рогожской и спасена была лишь церковь Алексия митрополита вместе с Алексеевскими домами.

Но для чего такое длинное путешествие? Для того чтоб отнесть письмо. Почта в Коломну ходила всего два раза в неделю, и при экстренной надобности посылались письма с ямщиками за недорогую плату: «подателю пятиалтынный». Это был лишний и, вероятно, не маловажный ежедневный доход ямской артели. Дело подходило к сентябрю, и родителю писали: 1) чтоб он заявил в училище о невозможности мне, по болезни, явиться после каникул в училище к законному сроку и 2) чтобы прислали мне теплой одежи на дорогу. А меня-де сажают за риторику.

Брат действительно дал мне латинскую риторику Бургия, хотя учить меня по нем не стал, советуя лишь почитывать его да руководствоваться еще Лежаем. Бургия — риторика обыкновенная, Лежая (Lejay, Леже) — «Rhe-torica Ciceroniana»,

обучение искусству писать цицероновскою прозой.

Бургий! О, это целый период просвещения! По какому учебнику, читатель, приучались вы излагать на письме свои мысли? Большинство, вероятно, ни по какому. И я уже не учился по Бургию; даже брату, который старше меня был на двадцать один год, преподавали искусство красноречия по особенным запискам. Но отцы наши учились по Бургию, и о нем настойчиво спрашивал покойный Филарет, гневавшийся на умничанье учителей словесности: «Да по Бургию заставляйте учить! Отчего не учат по Бургию?» — «Трудно, ваше высокопреосвященство, ученикам», — отвечал ректор, выгораживая учителя. — «Не знаю, чем затрудняются. Помню, я не затруднялся, когда учился», — возражал добродушно святитель. За этим следовал комплимент: то вы, владыка, не у всех же такие дарования и проч. Святитель умолкал. Но дело было не в трудности; причина была в свободомыслии своего рода, овладевшем учителями, в недовольстве рутиной, хотелось новенького. «Писать хрии» — это выражение стало однозначащим с писанием пошлости, общих мест, с отсутствием живой мысли. Некто А.В. Кедрский, вышедший из Академии одним курсом ранее меня, ставил себе в особенную заслугу, что, поступив учителем словесности, умел преподать ее так, что ни один у него ученик не знал даже слова хрия; оно не было ни раза произнесено в классе: до того опостылела старая бургиевская метода!

А она не заслуживала столь полного отвращения. Помню начало этой почтенной, седой книжки: «Omnis eloquentiae imum fundamentum est periodus. Est autem periodus enunciatio, sensum perfectum plene et rotunde exhibens» [15]. Далее — понятие о логическом предложении, о формулах его распространения, о синонимах, эпитетах, противоположениях, о периодах, о хриях (то есть сочетании периодов), об общих местах (loci topici), об изобретении мыслей, о тропах и фигурах и пр. и пр. «Изобретение мыслей!» Не есть ли это нелепость? Термин действительно неуклюжий. Но задача Бургия была (употребляю это слово как нарицательное, в смысле известного метода): указать формы, по которым двигается мысль в своем выражении, повинуясь законам логики, с одной стороны, и законам творчества — с другой (последнее имеет тоже свои законы), и приучить к полному обладанию этими формами. В книжке Бургия употреблен, между прочим, остроумный прием. Одно и то же предложение (honores mutant mores [16]) проведено по всем формам: на нем проделано все, и синонимы, и эпитеты, и периоды, и хрии, и тропы, и фигуры. Краткое предложение разрастается, видоизменяется, обогащается образами, переходит в лирику, все одно, одна и та

же мысль в строгом соподчинении всех частностей, на которые она разбивается, всех доводов и объяснений, которыми она одевается.

Заслуга этой методы: она дает слововыражению выправку, воспитывает находчивость и предохраняет от пустословия. Каждое употребленное слово обязано иметь за себя основание, почему оно употреблено; зато ни одна мысль не должна и затрудняться в приискании выражения. Такого рода выправку всего более и старались дать в старых семинариях; отсюда и главнейшее упражнение учеников состояло не столько в письменных задачах (а еще менее того в изучении уроков), сколько в устных экспромптах. «Aurora Musis amica [17], ну, кто что?» — восклицает, положим, учитель, не то ректор или даже архиерей, посещая класс. Встают четверо, пятеро, может быть, и более. Смотря по тому, как далеко пройдено, говорят на провозглашенную тему периоды, хрии, короткие ораторские речи и даже стихотворения. Подобно гимнастике телесной, эта гимнастика ума и слова была отчасти и игрой; класс не скучал, хотя головы без отдыха работали. Не осуждались учащиеся и на особенно тяжелое напряжение, благодаря тому же Бургию: формы все были уже в голове готовые; мысль мгновенно перебегала по ним, в ту же минуту выбирала подходящие, одевала в них мысль, и готов период, хрия, речь.

Недостатки методы: она приучает к общим местам, к преобладанию формы над содержанием. Приучаясь вертеть словом и туда и сюда с одинаковою легкостью, ум теряет вкус и позыв к истине. Эти недостатки и свойственны людям, получившим старое семинарское образование; о плодах нового не берусь судить, потому что за ним не следил. Равно свойственны старым семинаристам и указанные выше достоинства: осмысленное слово, стройность речи, тонкое чутье логики выражения. Университеты были свидетелями этих достоинств семинариста, отличавших его от гимназистов или студентов домашнего воспитания. То же и присутственные места. Смело утверждаю, что написать обстоятельную, отчетливую докладную записку, формуловать решение, подобрать точно соответствующие доводы — в этом искусстве не поспорит с семинаристом никто, другого образования человек. Полагаю, служившие в старом Сенате подтвердят это.

Но творчества и вдохновения не ищите в семинаристе: оригинальной идеи, смелой фантазии нет. Мысленно перебирая замечательнейших из семинаристов, нахожу очень, очень немногих, уберегших печать таланта, при бесспорной, однако, ясности ума и обширных способностях у всех. Далеко бы я зашел,

когда бы вздумал подробным анализом подтверждать свое наблюдение, но укажу на три дарования, из которых каждое по-своему типично: Сперанского, Филарета и Иннокентия. Последний есть единственный, кого не сковал формализм риторической выправки; Сперанский, наоборот, весь есть только систематик; ум его лишен был творчества. Середину занимает Филарет, читая которого вспоминаешь выражение Гоголя о «худощаво-умном слове». Речь Филарета воспаряет часто до высокой художественности, но всегда остается несколько сухою, боясь ниспасть в вольность, не освященную преданными правилами. Нужно было слышать его критические замечания на чужие сочинения, видеть его поправки. «Черная зависть! — восклицает он, читая проповедь профессора (теперь уже высокопреосвященного, который припомнит этот случай, если прочитает настоящие строки). — Разве бывает зависть желтая или зеленая?» Таков был пуризм, таково преследование всякого смелого оборота. Не замечая и тем менее желая, засушил покойный великий святитель этою придирчивостью у многих дарования.

Меня брат помуштровал на синонимах, эпитетах, амплификациях. Дал понять, что синоним не есть тождесловие, что эпитет не должен заключать логического противоречия, нельзя, например, сказать «низкое восстание», потому что понятие низа и вставанья противоречат, а можно сказать «низкое поползновение». Затем посадил за периоды, дав, подобно Бургию, одно для всех предложение: studia sunt utilia. «Пользу наук» я обязан был прогнать сквозь строй всех форм периодической речи: период простой, причинный, уступительный, условный и проч. Это было первое мое письменное самостоятельное упражнение, если не считать переведенной «Московии» Павла Иовия и дневника, веденного одновременно с составлением периодов. Упражнение это у меня сохранилось с поправками брата и с приписанными им новыми предложениями, из которых каждое обязан я был подобным же образом прогнать сквозь строй уже по приезде в Коломну, без постороннего руководства. Я не исполнил поручения; показалось мне скучною эта гимнастика; да и далась она мне очень легко; я чувствовал, что буду пересыпать из пустого в порожнее. Равно не мог я принудить себя к отливке своей речи в цицероновские формы. Цицерон никогда мне не нравился, хотя и не мог я себе тогда объяснить почему. Отдельные фразы находил я красивыми, но в целом мне претила размеренная, широковещательная правильность знаменитого римского оратора, и я, сделав опыта два, три над собою, бросил дальнейшие попытки к подражанию.

Читатель заметил, что меня учили прежде всего сочинять по-латыни. Почему так? Так велось, а почему так велось, едва ли кто себе отдавал в этом отчет. Таково было предание старины, и любопытно бы порыться в бумагах Комиссии духовных училищ, чем объяснялась тогда обязанность преподавать главные науки (риторику, философию, богословие) на латинском и упражнять учеников преимущественно на латинских же сочинениях. Даже было ли постановлено такое правило? Во времена, далеко мне предшествовавшие, учебник Груздева (я уже упоминал об этом) излагал для Костромской семинарии риторику на русском; рукописное «Богословие» Кирилла, бывшего ректором Московской академии в двадцатых годах, изложено было на русском; в мое время, когда я учился, учебник риторики у нас был пестрый: первая половина его, элементарная часть, изложена была на латинском, вторая — на русском. Стало быть, латынь для учебников не была же общеобязательною? Почему же употребляли и где было основание приучать писать преимущественно по-латыни?

Со своей стороны, я благодарен тому, что меня промуштровали на латинской прозе. Это тот же Бургий; латинский язык, пусть и знакомый, но все-таки чужой и притом не разговорный, надевал колодки, не позволял раскидываться, писать сплеча, употреблять выражения зря. Неизбежна обдуманность, невольны строгость и приличие; фельетонная литература не вырастет на такой почве. И я любил писать по-латыни, даже стеснялся прибегать к русской речи, когда приходилось упражняться в строгой прозе, в умствованиях, а не в описаниях и рассказах. Тяжелую кладь позывало везти на тяжелой же, прочной телеге. Эту привычку я сохранил долго.

Уже девятнадцати лет, бывши в Богословском классе, задумав произвольное сочинение, то есть не на заданную, а на свою тему, я обратился все-таки к латинскому языку и начертал довольно объемистую по моему возрасту диссертацию «De lapsu angelorum» [18], очень одностороннюю, правду сказать, и слишком гипотетическую. Но замечаю факт и объясняю его тем, что в русской литературе, мне известной, я не находил достаточно строгой ученой прозы и тем менее — строго установившейся научной терминологии.

ГЛАВА XXVII
ПРОЗОРЛИВИЦА

Священнослужительский штат Новодевичьего монастыря состоял из двенадцати лиц: 4 священников, 2 дьяконов и 6 дьячков. Прежде был, сверх того, штатный протоиерей, но его вакансия упразднена, и оставлен так называемый «косой собор», то есть при соборном служении приходилось становиться не одинаковому числу священников по бокам первостоятеля.

Как делились между этим многочисленным причтом труды и вознаграждения? Доходы разделялись, во-первых, на общие: к ним относились все получаемые за что бы ни было в соборной церкви; они опускались в кружку, и кружка делилась между всеми членами причта, кажется — еженедельно. Затем были доходы частные: к ним относились получаемые за ранними обеднями не в соборной, а в других церквах; они делились между служащими священником, дьяконом и дьячком. Наконец, были еще доходы личные, у священников — за исповедь, у дьячков — за разные послуги. Три обедни были обязательны: поздняя в соборе и две ранние — в трапезной церкви и в больничной. Четвертый священник отдыхал неделю, но ему не возбранялось, конечно, служить и в свое вакационное время; тогда бывала третья ранняя обедня, иногда с участием дьякона, иногда без него. Для дьяконов отдыха не было, и притом на одном из них лежало ежедневно служить две обедни.

Положение дьячков было оригинальное: при служении в соборной церкви они не участвовали, пение и чтение отправляемо было монахинями; но зато на дьячках лежал звон. Кто составлял этот забавный штат? Известны женские монастыри, где послушание звона отправляют монахини; в крайнем случае колокольную службу мог нести сторож; чтобы звонить, нет надобности в стихаре. Чтецами же и певцами дьячки были только ранними обеднями. Опять странность: почему не могли этого исполнять монахини, как за позднею обедней? Бесполезная многочисленность дьячков вела только к ничтожности их содержания, и я удивляюсь, чем они жили. Изо ста рублей «общих» доходов они получали, кажется, всего по три рубля (священники — 15, дьяконы — 10). Если и на долю брата доставался, как мне было известно, очень умеренный доход, едва дававший сводить концы с концами, — как жили дьячки? А жили.

К слову сказать, откуда идут правила о разделе доходов между членами причта, и по всей ли России они однообразны?

Брат поступил на дьяконское место в Новодевичий не без протекции. Полагаю, что принимала тут участие и Авдотья Никитична, мать владыки, которая ранее того высказывала, что не прочь породниться с нами. Брат и женился не на родственнице, правда, но все-таки на свойственнице; Г. Ф. Островский был женат на внучке Авдотьи Никитичны, дочери Иродиона Степановича; а за брата отдана сестра Островского. Неудивительно, да и помнится мне, что брат обнадеживаем был скорым получением священнического места. А насколько скорым, это зависело от случая.

Случай представился; лет через шесть или семь службы брат решился подать просьбу об определении на священническое место, открывшееся где-то в приходе. Его ободряло, между прочим, то обстоятельство, что незадолго в Девичий же монастырь определен был священником сверстник его, вместе с ним кончивший курс. Чем свет он написал просьбу, намереваясь тотчас после ранней обедни везти ее на Троицкое подворье, к владыке. Крепко молился он за обедней об успехе, и затем, когда служба кончилась, уже по уходе священника с дьячком, снова повергся в молитве пред местною иконой. «Молись, молись, доброе дело, — вдруг слышит он за собой голос; — только ты у нас будешь священником, а не там; ты меня похоронишь». Брат оглянулся и увидал старушку-белицу, продолжавшую ему говорить в том же роде. Как узнала она о намерении, которого он не передавал никому, и кто она? Знал ли ее брат? Может быть, ему известно было ее имя, а может быть, и нет. При большом числе сестер и при отсутствии личных отношений к ним, не все они каждому члену причта были известны. Во всяком случае, эта необыкновенная речь послужила брату началом к знакомству с Татьяной Федоровной. Татьяна Федоровна занимала келью в нижнем этаже Софьиных хором, примыкавших к задним воротам; ко времени знакомства с братом ей было уже под девяносто лет, если не с лишком. Кто она была и что за чудное вещание произнесла она и почему? Брат сказывал, что после, когда уже познакомился с Татьяной Федоровной, он спрашивал, чем она была побуждена подойти к нему и сказать именно те слова, которые он от нее слышал; она отозвалась неведением, запамятованием. И в других случаях, которых было немало, когда она изрекала вещие слова, они выходили у нее сами, безотчетно, и она их себе не приписывала.

В бумагах брата должно бы остаться «Житие» Татьяны Федоровны, которое он составлял с ее слов и по ее поручению. Я ограничиваюсь тем, что мне по памяти известно. Татьяна Федоровна была купеческого рода и осталась в детстве сиротой,

но с большим состоянием, до ста тысяч. Кто был ее опекун, кто воспитывал, неизвестно. Но еще в малолетстве она поступила на послушание к иноку Филарету, подвизавшемуся в Новоспасском монастыре, и от него получила духовное воспитание. Это был святой муж, по ее словам, высокой духовной жизни. Грамоте не была она обучена, но в духовной литературе приобрела обширные сведения; она поражала слушателей ссылками на отеческие творения и на жития; большинство читано было ей, вероятно, старцем Филаретом, а изумительная память ее удержала слышанное.

В отроческие лета она раздала имение свое; на остатки купила келью в Девичьем монастыре. Но оговариваюсь. Меня приводят в смущение два обстоятельства. Каким образом девочка могла быть на послушании у старца, жившего в мужском монастыре? Это раз. Во-вторых, судя по летам, поступление Татьяны Федоровны в монастырь должно было бы состояться еще в прошлом столетии; но не слышал я, чтобы даже Двенадцатый Год застал ее в монастыре. В биографии очевидный перерыв. Тем не менее продолжаю, как мне передает память.

Поселилась Татьяна Федоровна в монастыре без копейки. Чем она кормилась? Чем согревалась? Она не едала по неделям, жила в нетопленом. Из сострадания нищенка приносила ей несколько корок; это было все ее насыщение. По зимам выпрашивала она иногда из церкви жаровню, и это было все ее согревание. Она проводила дни и ночи в молитве. Годы продолжалась такая жизнь, и никто ее не знал. В самом монастыре сестры знали ее лишь по имени. Случалось, она изнемогала, поднимался ропот в душе, рождались сомнения и сожаления; она снова повергалась пред иконой и превозмогала. Но было, что искушение начинало преодолевать; ей слышались голоса, и все более и более настойчивые. «Брось, перестань, чего ты ждешь? Ну, чего?» И опять: «Брось, брось! К чему ты живешь? Давись! Давись!» Вне себя она взяла уже полотенце, привесила к потолку, поставила стул или скамейку, устроила петлю… но стук в дверь кельи привел ее в себя. Она перекрестилась, отперла дверь.

— Не здесь ли живет Татьяна Федоровна? — спрашивал незнакомый мужчина, пришедший вдвоем с другим.

— Это я, что вам нужно?

Не перепутываю ли я? Не смешал ли факты? Сомнение возбуждается именно этим сочетанием событий, столь похожим на посредственные французские романы, где над героем или героиней уже заносится смертный удар, как в ту же минуту является совершенно неожиданным образом чудесный спаситель. Но память мне так говорит; смешать бы не должен. Были

искушения; это достоверно. Достоверно, что петля уже была сделана и что в ту минуту как надевать ее, стук в дверь воспрепятствовал самоубийству. Но совпало ли это обстоятельство именно с тем происшествием, которое будет сейчас описано? Помнится мне, что да, но боюсь поручиться.

Были муж и жена. У жены был отец. Муж принадлежал к лютеранскому исповеданию. По профессии он был, кажется, провизор. Чем была больна жена, не умею сказать, но она страдала, и врачебные средства были безуспешны. Летом велено было больной переехать за город, дышать сельским воздухом; супруги наняли дачу на Воробьевых горах. В одну и ту же ночь снится сон одинаковый и тестю, и зятю.

— Что вы бьетесь? Ничто не поможет. А ступайте в Девичий монастырь: там, рядом с задними воротами, живет монахиня Татьяна Федоровна; ход в ее келью из самых ворот; она больной поможет.

Кто говорил? В какую образную обстановку воплотилось вещание, память мне не сохранила, хотя, вероятно, я слышал и эти подробности. Но помню рассказ брата и самого мужа больной, что сон был необыкновенно отчетлив и внушителен. Впечатление было столь сильно, что муж, встав, оделся и направился в Москву поделиться загадочным сновидением с тестем. А тесть, также пораженный, направлялся в Воробьево передать о сновидении зятю. На Девичьем поле они встречаются.

— Я к вам! — говорит один.

— А я к вам! — повторяет другой.

И к неописанному удивлению передают друг другу тождественный сон. Нет нужды добавлять, что муж поворачивает назад, оба идут в Девичий монастырь и там по указанию сновидения стучатся в дверь кельи. Передают Татьяне Федоровне причину и цель прихода. Та не удивилась, но и не затруднилась.

— Я не лечу, — отвечала она. — А Господь смилостивился над вашею больной и хочет оказать благодать. Ступайте, отслужите молебен с водосвятием Спасителю над Спасскими воротами; молитесь и полейте больную святою водой. Я буду молиться, и если Бог наши общие молитвы услышит, больная получит облегчение.

Больная выздоровела почти внезапно. Не видывал я ее, но мужа-немца видал неоднократно; он навещал периодически Татьяну Федоровну, благодеяния которой не мог забыть, и захаживал к брату.

С тех пор пошла слава Татьяны Федоровны и жизнь ее переменилась.

«Пошла слава», сказал я, но должен оговориться и отметить

факт поразительный. Пошла о ней слава, но в монастыре продолжали ее не знать. Она оставалась «какою-то» белицей, едва известною по имени. Как бы занавес какой висел между нею и окружающими. Выше было сказано, что не знал ее брат, несмотря на семилетнюю или шестилетнюю службу при монастыре. Но ее не знал и духовник ее, то есть он знал ее имя, принимал ее исповедь, но кто она и что она — не ведал. Тем менее ведали сестры-монахини. Никто не видел ее подвигов, это понятно; но никто не знал и о том, чем она привлекала к себе посетителей. Было ли монахиням известно даже то, что приток посетителей был по самому числу не совсем обыкновенный? А Татьяна Федоровна известна была даже Двору. Императрица-мать Мария Феодоровна, знавшая ее чрез кого-то из статс-дам или фрейлин, раз, во время пребывания в Москве, навестила монастырь с единственною целию видеть необыкновенную монахиню и побеседовать с нею. Можно представить торжественный прием, оказанный государыне, но Татьяны Федоровны государыня не нашла. Игуменья с недоумением услышала вопрос о какой-то малоизвестной сестре и сама должна была наводить о ней справки; но пока дознались, пока послали предуведомить Татьяну Федоровну, она скрылась, и государыня уехала, выразив сожаление, что не удалось ей видеть святую женщину, о которой много слышала. Татьяна Федоровна рассказывала брату, что лишь только узнала о высочайшем посещении, тотчас ушла из кельи и скрылась в сухом колодце, где и просидела все время, пока государыня была в монастыре.

Рекомендация государыни подняла ли Татьяну Федоровну среди своих? Полюбопытствовали ли они после того о ней хотя стороной? Лично Татьяна Федоровна ни с кем из сестер не водила знакомства и не разговаривала. Она осталась и после тою же неизвестною у себя, хотя имя ее гремело далеко.

Случай исцеления, рассказанный выше, был не единственный. Память моя не удержала рассказов о других подобных событиях; часть их передавалась мне братом, а о некоторых я слышал рассказы самих исцеленных, когда они передавали брату, чем обязаны Татьяне Федоровне. Рецепт для всех был один: молитесь, и я буду молиться; захочет Бог, смилуется. Особенно чтила она образ Спасителя над Спасскими воротами и туда преимущественно посылала прибегавших к ее помощи.

Но она была не целительница только (это она даже отрицала за собою); она была советодательница, утешительница, ходатаица. Она улаживала семейные несогласия, устраивала бедных, поднимала дух угнетенных, отчаянных, разоренных.

Многие семейства без благословения ее ничего не начинали.

Я боюсь за свое перо. Нужен художественный талант, чтобы изобразить эту маленькую, очень маленькую старушку с живыми глазами, проворными движениями, хлопотливую и очень словоохотливую. Она была в таком возрасте, когда пятилетия, даже десятилетия перестают говорить о себе. Во всяком случае по виду ей нельзя было дать действительных ее лет, тем более что клобук закрывал ее волосы и верхнюю часть лба. Стан ее был прям; ни худобы, ни особенной бледности, ни тем менее желтизны не было в ее лице: даже обилия морщин, столь обыкновенного в старческом возрасте, не было заметно. Живая обыкновенная старушка, более молодая, нежели десятки других, мною виденных. Зная о ней из рассказов брата, я входил к ней в первый раз с трепетом. Начитавшись о святых угодниках в Четиих-Минеях, я ожидал увидеть иконное письмо, полускелет, безжизненное, изможденное лицо, взор углубленный, почти не видящий вокруг, медленную речь с рассчитанным каждым словом, и чуть не славянскую. «Прозорливица!» — размышлял я притом. Она должна видеть насквозь, и делалось боязно; перебирал свою душу, не застряло ли там чего скверного? — вдруг услышу заслуженное обличение! Как же я был удивлен, увидав старушку, казалось, самую обыкновенную! Только глаза ее были не совсем как у других, быстрые, проницательные. Она была ласкова, но не слащава и не слезлива; никогда не вздыхала, равно и не смеялась никогда, хотя речь ее сопровождалась постоянно полуулыбкой. Голос был всегда ровен, никогда не возвышался, спокойный, но и не переходивший в наставительную важность. Ее разговор напоминал добрую мать, которая говорит детям: «А это оттого, дружок, что ты бежал слишком скоро и не смотрел под ноги; будь осмотрительнее и падать не будешь». И слышалась та же непоколебимая сила в ее словах, какая слышится ребенку в голосе родительницы или вообще в голосе всякого, кто бесконечно превосходит собеседника бесспорною опытностью.

Во время побывки своей в Москве еженедельно я носил Татьяне Федоровне горячие пироги по праздникам. Это была добровольная дань, которую вносил ей брат. Приношениями ее вообще заваливали, но они не оставались У нее, как и деньги, которые ей давали на благотворения: это был сосуд, из которого вытекало, едва успевая втечь. Бедный мелкий чиновник приходит, просит молитв, совета, помощи; место ли потерял, или какая беда другая случилась. «И кстати вы пришли, — скажет она простодушно, передавая просителю деньги. — Княгиня такая-то или генеральша только что привезла мне сегодня; возьмите да молитесь за нее, перебьетесь на первый раз. Бог-то видит вашу

нужду, вот и послал вам. А карты бросьте и за детьми попрйсматривайте. Бог наказывает иногда, посылает испытания; ждет Он от вас, оглянется: а вы сегодня карты, завтра карты; семья-то без призора… Бог пошлет милость, у Бога милости много». И скажет еще какое-нибудь такое обстоятельство, которое никому не известно, кроме посетителя.

Если ее спросят: да почему вы это знаете? Она не ответит, а продолжит речь: «Так вот и слава Богу, вот и нужно бороться с искушением, и молитесь, Бог силы даст». При этом сыплются примеры из жизни угодников, изречения святых подвижников или выдержки из церковных молитв.

Не нужно сказывать, что была Татьяна Федоровна гостеприимна; она не могла не делиться и не любила, чтоб у нее что-нибудь оставалось. Чаем особенно любила она угощать и сама пила его охотно, признавая привычку к нему своим единственным грехом, единственною слабостью.

Замечательно было ее объективное отношение к своей святости. Не тщеславилась она, но и не напускала на себя самоунижения, ни преувеличенной скромности; не отклоняла от себя действий, которые без преувеличения были чудесны; только не приписывала себе лично, а смотрела на себя как на постороннюю, как на удостоенное орудие. Поражало меня, поражает и доселе поручение, данное ею брату, записать житие ее, именно житие, а не жизнь, то есть в сознании, что она близка к лику угодников, что может наступить время, когда она будет прославлена со святыми. Эта заботливость о делах Божиих, на себе явленных, внушенная не самомнением, но ревностью о славе и благости Божией, трудно постижима для обыкновенного смертного. Кто ж в самом деле так способен отрешиться от себя, чтобы при полном самовменении сказать себе же самому о себе: он? Нужно стать вне тела, быть вне земной жизни, чтобы земную жизнь свою понимать и чувствовать уже не своею. Постоянным возношением в горний мир и постоянною жизнью в нем, вероятно, и объясняется это объективное отношение подвижницы к самой себе.

Продолжала ль она подвижничествовать в годы своей известности? Наружность этого не показывала. Но кто следил за ее ночами? Кто подсмотрел ее вечерние и дневные уединения? Не постоянно же у нее были посетители. Прислуживала ей монахиня Мариамия. То не была послушница в обыкновенном смысле, а помощница, почти постоянно у нее пребывавшая: она поставит самовар, сходит куда-нибудь по поручению, отнесет уведомление, передаст подаяние; но она же некогда приносила и жаровню погреться в лютые дни своей учительнице. Мариамия должна

была знать более других, но она была не словоохотлива; да и пытался ли кто ее расспрашивать?

Не умолчу об обстоятельстве, которое для меня остается загадочным. В случаях трудных, где духовную свою опытность признавала Татьяна Федоровна недостаточною, она отправляла посетителей, прибегавших к ней… с трудом даже выговаривается это — отправляла к известному Ивану Яковлевичу Корейше, содержавшемуся в доме умалишенных и служившему дельфийским оракулом для сотен тысяч суеверных. Известны его сумасбродные выходки, его бессмысленные писания, которыми он оделял своих посетителей, разгадывавших потом таинственный смысл бессвязных каракуль; известно, что он был доходною статьей Преображенской больницы; известно, что для людей повыше суеверной лавочницы Иван Яковлевич был нарицательным именем полоумного. Но Татьяна Федоровна посылала к нему на духовный совет, и уверяли, что пред присланными от нее он не полоумничал и не безобразничал. Ездил к нему раз и брат Александр; сколько помню его рассказ, Иван Яковлевич при нем действительно не дурачился, но ничего особенно назидательного брат и не слышал от мнимого или действительного умалишенного.

Со слов Татьяны Федоровны брат передавал так: Иван Яковлевич был учителем Смоленской семинарии, но решил посвятить себя подвижнической жизни и поселился в лесу. Помещик, которому принадлежал лес, чтил пустынника и прибегал к его советам. К дочери присватался пан, дело ладилось; но прежде чем повершить, барин едет за благословением к пустыннику. Тот не дал благословения, и пан получает отказ. Узнав о причине, отставленный жених едет со своими доезжачими в лес и бьет пустынника, оставляя его в лесу замертво. Хотя очнулся подвижник, но беды не кончились: о нем заявлено, как о сумасшедшем, и представили его в губернское правление. Иван Яковлевич усмотрел в этом призвание Божие, подвиг, ему указуемый, принял навязанное сумасшествие и стал юродствовать.

По смерти Корейши, это было лет двадцать назад, издана была книжка с его жизнеописанием. Я не читал ее. В какой мере внешние обстоятельства его жизни подходят к слышанным мною от брата, а им от Татьяны Федоровны? В какой степени само сочинение Прыжова (автора биографии) достоверно? Это вопросы, которых я не берусь решать. Лучшими судьями могли бы быть врачи больницы. К какой категории душевно больных причисляли они Корейшу и возникало ли у них подозрение в намеренном дурачестве пациента? И достаточно ли сильна

психиатрия, чтобы с непогрешимостью отличить истинное сумасшествие от притворного? Не вполне объяснимо и то, почему именно Иван Яковлевич, а не другой кто из больных попал в оракулы, чем условилась его слава или чем был дан к ней первоначальный повод? По всему слышанному склоняешься верить Прыжову, но мнение бесспорно разумной Татьяны Федоровны повергает в раздумье…

ГЛАВА XXVIII
ОТГОЛОСКИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В библиотеке брата я нашел много книг, так называемых масонских: «Угроз Световостоков», «Сионский вестник» и другие. Я перелистывал их, но читать не имел терпения, отчасти и потому, что рассуждения вообще мною пропускались в книгах, а здесь они излагались еще в сочетаниях, малопонятных даже для взрослых. У отца из этой литературы видывал я Юнга Штиллинга и Эккартсгаузена, — книги, как говорил он, запрещенные; не раз принимался я и за них, но тоже никогда не мог одолеть. Был у отца на «увещании» и под духовным надзором один из прихожан, заподозренный в масонстве, но повинный, кажется, единственно в том, что состоял сотрудником Библейского общества. Мое любопытство не могло не быть возбуждено: что же такое масоны? Отец отвечал уклончиво, а брат ограничивался объяснением, что «они идут против престолов и алтарей»; дополнял, впрочем, что масоны отвергают наше богослужение, признавая исключительно внутреннюю церковь. По-видимому, брат и сам не прочел книг, имевшихся у него. Да и действительно, нужно было иметь уже несколько испорченный духовный вкус, ум, до известной степени ложно раздраженный, чтобы погрузиться в масонскую литературу. Мне передали только о внешнем обстоятельстве, послужившем к гонению на масонов. В Академии художеств президент Оленин предложил в почетные члены Аракчеева, а вице-президент, он же и издатель «Сионского вестника», Лабзин, возразил, что неуместно Академии вводить в свой состав лицо, не ознаменовавшее себя ни трудами художественными, ни содействием искусству. «Я предлагаю, — отвечал Оленин, — ввиду того, что граф Аракчеев есть особа, приближенная к государю». — «Тогда, — отозвался Лабзин, — достойно предложить в члены Академии Илью, лейб-кучера; он есть лицо, более всех близкое к государю». Оленин тотчас закрыл собрание, и оттоле-де, передавал при мне брату Груздев, начались преследования, причем масонов обвинили, между прочим, в соучастии с карбонариями. — «А что такое карбонарии?» — спросил я потом, и тут-то получил ответ, что это люди, которые идут против престолов и алтарей. Никакого дальнейшего объяснения не последовало; да и в моей мысли никакого возбуждения этот ответ не произвел; он остался в памяти внешним наростом, не находя ничего в душе, с чем слиться и пустить органический рост.

В моем присутствии передавались еще происшествия, довольно свежие тогда, с письмом Чаадаева в «Телескопе» и с «Историей ересей» Руднева. То и другое обсуживалось опять только со внешней стороны.

В чаадаевском письме видели оскорбленное тщеславие офицера, посланного к государю в Верону курьером с известием о бунте Семеновского полка, но по приезде занявшегося туалетом; предваренного вследствие этого австрийским курьером и за то подвергшегося высочайшему неудовольствию. Своею статьею он вымещает, судили так, свою заслуженную неприятность. В этом отзыве была доля правды. Двадцать лет спустя я видел Чаадаева. Он был воплощенное тщеславие и в то же время, как выражаются французы, tire a quatre epingles [19], до чопорности заботливый о своем туалете. И опоздавший курьер, и автор антинациональных писем виден был в нем. Затем винили Надеждина, который подвел Болдырева, цензора, окрутил его, заговорил, заморочил и убедил подписать одобрение к печатанию, не читая. Припоминали, что легкомыслие у Надеждина основная черта характера.

В рудневской истории находили, что Филарет поступил несправедливо, обрушившись на цензора (П.С. Делицына), которого все участие ограничивалось тем, что для формы поставил он на книге свое имя.

Ход дела был таков. Канцлер Румянцев назначил премию за сочинение истории русских ересей. Студент Руднев в магистерской диссертации изложил часть этой истории; сочинение было признано заслуживающим премии и напечатано. Но… о, неожиданность! В самом сочинении найдены были погрешительные мнения, чуть не ереси; при перечислении заблуждений Римской церкви автор привел, как несогласное с православным, между прочим, учение о равносильности Св. Предания со Св. Писанием. Последовал запрос из Петербурга, пошла переписка, пререкаемые страницы из книги вырезаны и заменены новыми. Козлом отпущения послужил цензор. Бумажная, лицевая сторона была против него [20]; но она не воспроизводит полной картины. Статочное ли дело, чтобы диссертация выпущена была цензором зря; чтоб ее всю не читали и не перечитывали предварительно профессор и потом конференция; чтобы не прочел ее сам митрополит? И тем более, когда она писана на премию! Статочное ли дело, чтобы профессор-цензор, он же и член конференции, дерзнул подписать рукопись, исходящую от конференции, не удостоверившись в просмотре ее конференцией? Да откуда же она и поступила в Цензурный комитет? Провинился, если тут была вина, не один

Делицын, и даже совсем не он. Полупротестантское понятие о Преданиях было тогда общим в школе. Катехизис самого Филарета еще не имел главы о Преданиях; она внесена уже после рудневской истории. Богословие Терновского также не говорило о Преданиях; рукописный учебник, по которому я учил богословие уже в сороковых годах, опять умалчивал об этом пункте. Период Прокоповичевский еще продолжался. И не по одному вопросу о Предании было так; учение «об оправдании» тоже излагалось по лютеранским книгам. Ничего поэтому удивительного нет, что и конференция, и сам митрополит дозволили место в диссертации, оказавшееся в глазах Синода предосудительным. Пока Москва шла более или менее последовательно за Прокоповичем, в Петербурге совершился поворот, которым, по слухам, богословие обязано было А.Н. Муравьеву.

Замечательнее всего, что к нововведению в существенном, по-видимому, догмате профессиональные богословы остались вполне равнодушны: они стали писать и учить по-новому, как бы и век так писали и учили. То же равнодушие отразилось и в рассказе, мною слышанном: рассказчики, лица с богословским образованием, судили о фактах и лицах, но не о мыслях. Странное безверие в духовных лицах! — может подумать читатель. Но странное на первый взгляд безучастие свидетельствовало не о безверии, а о том, что формулы западного богословия лишены живого значения для Восточной церкви. Там они принадлежат к существу исповеданий, и вопрос о них горяч, а на Востоке вопрос о них и не вызывался. Любопытна в этом отношении, между прочим, переписка, происходившая в XVI веке между патриархом Иеремиею и тюбингенскими богословами; те спрашивают его о пунктах, на которых главным образом зиждется раздор между Римом и Лютером (о вере и делах, например); а патриарх отвечает помимо и поверх, недоумевая о самом основании, ибо предлагаемое недоумение было продуктом религиозных умствований именно Западной церкви, к которым она приведена была своею особенною историей.

Об издателе «Телескопа»: он был действительно легкомыслен. Еще из времени академического воспитания передают о следующем его поступке. Студент Николай Надеждин был связан особенно тесною дружбой со студентом Александром Дроздовым. Молоденькие оба, оба горячие, оба быстрые, они жили душа в душу; вместе занимались, сообща обсуживали читанное и слышанное; ни один не предпринимал ничего, не посоветовавшись с другим. В одну из таких бесед раздумались они о будущем и в религиозной экзальтации дали себе вопрос: не пойти ли им в монахи для более плодотворного служения церкви

и для спасения собственных душ? Пылкие, они скоро решили: «Идем!» Случайно или даже по прямому совету Надеждина они написали общее от обоих прошение на одном листе, подписались и отправились к ректору Кириллу (бывшему потом архиепископом Подольским). В восторге был ректор, благодарил Бога, что ангельский чин вообще и ученое монашество в частности обогащаются такими дарованиями: и Дроздов, и Надеждин принадлежали к отличнейшим из студентов.

— Бог вас благословит, доброе вы задумали, господа, но прошение вы подали не по форме. Почему оно на одном листе?

— Мы вместе задумали, мы связаны дружбой, одними чувствами одушевлены.

— Это прекрасно; но все-таки нужно, чтобы прошение поступило от каждого отдельно.

Поклонились студенты и, приняв благословение ректора, вышли. Дроздов тотчас накатал прошение, сбегал к ректору, подал и с сияющим лицом бежит в нумер к Надеждину.

— Я подал, Николаша. А ты?

— Нет; да я и раздумал подавать.

— Как же так? Ты же подписал, и мы условились, и ректор знает.

— Мало ли что! Вольно и тебе! Ну, и надевай, брат, клобук, и щеголяй, — со смехом отвечал Надеждин.

Так Николаша и остался в мире, был потом в Рязани профессором семинарии, потом в Москве профессором университета, издателем «Телескопа», потом ссыльным в Усть-Сысольске; после редактором «Журнала Министерства внутренних дел», главным деятелем Этнографического отдела при Географическом обществе. А Александр Дроздов стал Афанасием, сначала бакалавром Московской академии, потом ректором в разных семинариях, затем ректором Петербургской академии и скончался архиепископом Астраханским.

Можно бы этот рассказ принять за острое слово, за шутку, за клевету наконец. Нет, когда Афанасий был ректором Рязанской семинарии, а Надеждин приехал побывать на родину (он был Рязанской епархии, из Белоомута), Афанасий, показывая гостю семинарию, представил своего друга семинаристам и им объяснил, что «если бы не этот барин, то не быть бы мне вашим ректором, не быть бы мне и монахом. По его милости я теперь то, что есть; только он-то мне изменил тогда». Это я уже слышал от Вениамина (скончавшегося епископом Рижским), сверстника моего по Академии. Вениамин был рязанский (В. М. Карелин в мире), и когда учился в семинарии, пред ним-то в числе прочих Афанасий исповедал, как друг Николаша упрятал его в монахи.

Надеждин был таков. О подобном поступке его рассказывают относительно другой особы, еще здравствующей. Ю.Ф. Самарин, которого домашним учителем, между прочим, был Надеждин, передавал мне, кроме того, о софистических, почти лицедейственных способностях Надеждина, вдобавок обладавшего редкою импровизацией; как он, читая детям лекции, приводил их в трепет, заставлял своею одушевленною речью биться их сердца, проливать даже слезы, а чрез час сам издевался над своею проповедью и критиковал ее. Яркий пример и достоинств, и недостатков старого семинарского воспитания!

Не диво, что я, тринадцатилетний мальчик, к вопросам о превосходстве западной культуры перед русскою или к разнице вероучений римского и православного относился еще более равнодушно, нежели рассказывавшие историю Чаадаева и Руднева; не моего ума это было дело, как и оценка масонского направления. Но дивит меня, что никакого следа не оставила во мне читанная мною в этот период времени Записка Погодина о Москве (она подана была наследнику цесаревичу Александру Николаевичу и потом напечатана в «Московских ведомостях»). Брат заставил меня переписать ее: я переписал, но она вылетела из головы. Тем более удивительно это обстоятельство, что именно тогда я особенно интересовался Москвой, а чрез полтора года в своих «Святочных досугах» задним числом приписывал себе размышления о Москве, в слабом, конечно, намеке, но те же, которые обстоятельно и без сравнения глубже изложены Погодиным. Однако даже тогда, при писании «Досугов», статья Погодина не вспоминалась мне. Вторично я прочел ее много спустя, чрез несколько десятков лет после того, как переписывал ее. И повторилось случившееся с замечанием о причастиях в грамматике Востокова. Что-то было неудобообъемлемое детским сознанием, чего-то в нем еще не созрело, чтобы воспринять ход исторического служения Москвы в том изложении, которое дано Погодиным. А какие именно места или какой прием был для детской головы неудобоварим, этого зрелый возраст не мог ни вспомнить, ни открыть.

1837 год был до известной степени поворотным в литературе. Года не прошло, как с запрещением «Телескопа» наступил цензурный террор, оттоле постепенно усиливавшийся. Года не прошло, как рудневскою книгой назнаменовано новое направление богословской литературы. Минувший год был пушкинским годом «Современника», временем появления «Коляски» и «Носа» Гоголя. Начаты Краевским «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду»; «Энциклопедический словарь» Плюшара был новостью; «Живописное обозрение»

Полевого тоже. Все было мною читано. Но, к огорчению, И.И. Мещанинов, равно и брат, были почитателями «Библиотеки для чтения». Брат так уверовал в нее, что оказался ревностнейшим гонителем сих и оных в своих проповедях и тексты начал приводить в них, вопреки обычаю, на русском, а не на славянском, в чем, однако, скоро остановлен был цензором проповедей, благочинным. Отразилось это и на мне, оставив свой след на некоторое время. С отвращением к напыщенности закралась было наклонность к верхоглядству, предпочтение популярного изложения глубине исследования. Это же, кстати, и было одною из причин, почему серьезные сочинения предпочитал я писать на латинском. Фельетонный пошиб Сенковского для науки не годился, об этом чутье мне говорило; между тем на «Библиотеке для чтения» преимущественно и воспитывалась в это время моя русская речь.

ГЛАВА XXIX
И.И. МЕЩАНИНОВ

Пора сказать об этом добром гении нашего семейства, отчасти и моем личном. Гоголь изобразил в «Старосветских помещиках» неразрывных мужа и жену; мои герои, о которых будет сейчас речь, были неразрывные брат и сестра, и притом противоположных характеров. Гоголь вывел типы, а И.И. Мещанинов со своей сестрой были, что называется, антики, редкие, если не единственные экземпляры.

Сын Ивана Демидовича, выхлопотавшего изменение городского плана, Иван Иванович Мещанинов был записан с малолетства в гвардию сержантом и тем кончил свою службу. В отставке он был титулярный советник. Отец говаривал, что И.И. Мещанинов есть только личный дворянин, и связывал это обстоятельство с ограничением права иметь крепостных. Однако у И.И. Мещанинова были и населенные имения, и дворовые. Сестра его, Елизавета Ивановна, престарелая девица, числилась купчихой. Брат и сестра жили в своем родовом коломенском доме, Елизавета Ивановна — безвыездно. Иван Иванович был также холост.

Как памятен мне этот дом, своего рода замок, занимавший, за исключением лишь небольшого уголка, целый обширный квартал. Этим уголком, помню, оскорблялось во мне требование правильности; я недоумевал и досадовал, как же это, сам ли Иван Иванович, или его предки оставили в чужих руках этот угол и на нем дом, чужой тоже, когда они составляют неразрывную часть того же мещаниновского квартала! Задняя часть мещаниновской земли занята была луговиной, огородом и фруктовым садом; за ними следовал во французском вкусе устроенный сад для гулянья, с дорожками, пересекающимися под прямым углом; ели шапками, аллеи шпалерами, аллея крытая, каменные двухэтажные беседки — все, как водилось при барских усадьбах. Перед садом двор, и на нем дом с обширным каменным балконом, глядевший через двор прямо на главную аллею, в конце которой красовалась беседка. Дом лицевою стороною на двор! С этим я тоже долго не мог примириться. Но старина была такова: оставшиеся от нее другие дома в Коломне стояли и совсем на дворе, не глядя на улицу. Этим существенно отличается русский город от западноевропейского. В Европе дома в городах жмутся, образуют сплошную стену. В России, наоборот, город был собранием отдельных усадеб; каждая усадьба сама по себе и была

своего рода замком, огражденным вместо рва и подъемного моста двором, забором и воротами. Сплошную же стену представляют деревенские избы; они жмутся одна к другой, тогда как в Европе деревенские поселения, наоборот, расположены хуторами в одиночку. Теперь сглаживаются эти различия. Русские города, и даже Москва, строятся по-европейски; а в Европе, Англии в особенности, деревни обращаются в города или вбираются в них; отдельные коттеджи исчезают. Противоположение бурга (города) графству (сельскому имению) уступает место во всем свете другому противоположению: владеющих классов неимущим вообще. Рабочий городской и рабочий сельский обезразличиваются; тирания и оборона перестают находить выражение в жилищах и зодчестве; в параллель рыцарским замкам вырастают замки промышленности, фабрики и заводы, а на месте сомкнутых, укрепленных городов возникают рабочие союзы. Лишь русская деревня стоит по-прежнему упорно, и ее привычку не в силах одолеть даже обязательные постановления, требующие разрывов между усадьбами в отвращение пожаров. И знает крестьянин, что на случай пожара разрывы полезны; но ему жаль расстаться с «чувством локтя», как называют его военные; ему надобно осязать соседа; в неразрывности села он слышит свое единство, силу, безопасность. И таково впечатление русской деревни, производимое на иностранца. Я слышал отзыв одного из них, образованного француза-путешественника. «Ваша деревня сказывает о вашей неодолимости: такое впечатление произвела на меня сплошная стена ваших изб».

Любопытна и еще противоположность деревни городу у нас, зависящая от той же причины. Городской дом во дворе и смотрит во двор или же в сад, как было у Мещаниновых. Деревня же всегда смотрит на улицу и любит против себя другой ряд домов, предполагает его, если его даже нет в действительности. Стоит село на речке, на овраге: к реке изба непременно задом; здесь задворки, сараи, а лицевая — на улицу, хотя бы улицы в нынешнем смысле и не было; барин же и вообще интеллигент поставил бы в данном случае дом свой лицом непременно к берегу. В подмосковных деревнях это доходит до забавности. Въезжаете в улицу; деревня как деревня, с избами, стоящими задом к речке, а на задворках, там где у крестьян сараюшки, стоят изящные домики лицом к речке; это значит — купил или снял это место городской житель.

Дом о двух, пожалуй, даже о трех этажах; но третий этаж со своими маленькими окнами был чердаком. Жилые покои во втором этаже; нижний занят кухней и кладовыми. Везде своды, лепная работа, фигурные печи с расписанными изразцами. Пол

простой, деревянный в верхнем этаже, даже не крашенный, но поражавший меня своим бело-пепельным цветом. Мне объяснили причину: полы мыли не просто водой, но со щелоком, золой и известкой. В нижнем этаже пол выложен лещадью.

Никогда я не мог преодолеть некоторой робости, входя в этот дом-замок. Высокие, всегда затворенные ворота; калитка с цепью; большая собака на дворе; пусть лягавая, невинная, принадлежащая одному из дворовых, записному охотнику, никогда на меня даже не залаявшая; но я боялся больших собак и при встрече всегда далеко обходил их, точно так же, как гусей, которых без страха не мог видеть. Случалось, что, завидев большую собаку, особенно гусей, я сворачивал совсем из улицы и окольными переулками доходил до дома, лишь бы не очутиться вблизи угрожающей, вытянутой гусиной шеи. А здесь мимо собаки проходить нужно было неизбежно; сердце билось; двор пустой; хотя впереди около сада и стоят флигеля дворовых и я уверен, что там есть люди, но этим безмолвие двора не нарушалось и смущение не успокоивалось. Наконец, самый вид массивных каменных столбов, на которых покоился балкон, и за ними видневшиеся двухэтажные каменные дома, без крыш и без окон, развалины бывших фабрик, заросшие травой и даже деревьями, — все содействовало мрачному ощущению. Я знал, что в доме живет добрейшее существо, но обстановка переносила меня к замкам и подземельям, о которых я читывал. Вдобавок кухня мещаниновского дома дополняла мне это напоминание, — странная кухня: узкий коридор, разумеется со сводами, тянувшийся чрез весь дом, из конца в конец, хотя разделенный на отделения, и в этом подвале единственный жилец, старый-престарый Яков Васильевич, повар.

Мещаниновы были и фабрикантами, и откупщиками, и поставщиками на казну. Иван Иванович унаследовал от отца эти операции, но бросил их, после того как потонуло у него несколько барок с солью. Состоянию нанесен был удар. Иван Иванович расплатился со всеми кредиторами, простил долги всем должникам, закрыл фабрики и остался при своих двух населенных имениях (душ, кажется, 300 с чем-то) и одном московском доме, которых прежде было несколько. Он зажил жизнию, которая походила на монастырскую. Знакомства не вел, в гости никуда не ходил, все его время проходило в чтении книг лежа на постели. Иначе я его и не представляю; в меховом халате, с трубкой, которую он не выпускал изо рта, и с книгой в руке. Когда у него кто бывал, он, разумеется, вставал, беседовал; но гость уходит — и снова постель, и снова книга в руке. Когда я прихаживал к нему не мальчиком уже (пока я жил в Коломне, мое

дело ограничивалось: прийти, поклониться, спросить книгу, взять и уйти с поклоном), нет, но юношей, лет семнадцати и восьмнадцати, в Москве, визиты мои были оригинальны. Поклон; он кивает головой, подав руку. Я сажусь. Перебрав книги на столе, выбираю, какая возбудит мое любопытство, сажусь и читаю. Он лежит и тоже читает. Молчим оба, и часто бывало, я ухожу, не обменявшись словом и оставляя его полулежащим с вечною книгой и вечною трубкой. Трубку он не оставлял даже ни при каком госте. Батюшка ставил Ивана Ивановича в пример курильщикам, детям, племяннику, дьячку: «Вы жжете табак, а не курите; смотрите, как Иван Иванович курит». И действительно, Иван Иванович только курил, едва-едва забирая дым и не доводя его далее передней полости рта; пускает дымок и время от времени уминает большим пальцем содержимое трубки. Совершенно равнодушный к моде и почти никуда не выходивший, Иван Иванович одевался в платье, которое носили тому тридцать или сорок лет назад. Его шубе, сюртуку, брюкам, шинели не было износа; если б он прожил еще сто лет, все та же осталась бы у него шляпа, купленная при Александре I, та же шинель с полудюжиной воротников, расположенных этажами, тот же однобортный сюртук синего сукна. Он уступил моде, введенной Веллингтоном, и выпускал иногда брюки, но большею частию ходил по-прежнему, брюки в сапогах. Когда в сороковых годах случалось мне у него бывать в Москве и он угощал меня обедом в трактире, помещавшемся в доме Посольского подворья, мне неимоверно досадно бывало на половых, которые скверною лакейскою улыбкой посмеивались на его допотопный костюм. Но Иван Иванович не обращал на это внимания, или даже просто не замечал, и щедро наделял подачками на чай каждого, кто к нему подходил. Эта челядь, должно быть, считала его дурачком; в самом деле, одевался так странно и давал на чай так великодушно, да зря притом, иногда кому совсем не следовало!

Смолоду Иван Иванович, по общему отзыву, да и как можно было судить по остаткам, был очень красив: высокого роста, правильные черты, приятный взор, белокурые волосы. От волос осталось у него под старость только позади несколько, и при разговоре, когда он не лежал, а сидел, он отправлялся изредка рукой к затылку, чтобы приподнять остатки волос на голову. Но всегда это было тщетно: волос-то всего оставалось какая-нибудь сотня, головы они не могли покрыть ни на малую долю; привычка осталась, очевидно, от того времени, когда задние пряди еще могли служить службу. А половые тем более должны были потешаться над почтенным старцем.

Иван Иванович был целомудрен от юности и добр

бесконечно. Родитель мой, бывший его духовным отцом, отзывался о его нравственном строе с глубочайшим уважением и питал, можно сказать, к нему даже не почтение, а благоговение. Мещанинов не умел отказывать в просьбах, если только мог исполнить. Он не имел духа наказывать прислугу и даже выговаривать. Оттого его эксплуатировали и обворовывали, у кого только доставали руки, и прислуга не спивалась, единственно боясь Лизаветы Ивановны. С крестьян он брал оброку по три рубля, с чего не умею сказать, но цифру помню; находили ее ничтожною и возмущались тем, что крестьяне даже того не платят, а, пользуясь добросердечием барина, постоянно выпрашивают прощение недоимок. То же с московским домом; он стоял на выгодном месте, в центре города (рядом с Ильинкой, Юшков переулок, теперь дом Медынцевой). Арендная плата полагалась умеренная, но добротой хозяина злоупотребляли жильцы, так же как крестьяне добротой барина, и я был раз свидетелем сцены, меня возмутившей. Явился жилец, по виду лавочник, начал просить сбавки. «Помилуй, — отвечает ему Мещанинов, называя его по имени и отчеству. — И так надо мною смеются, что беру слишком дешево», — и начинает перечислять однородные квартиры соседних домов, ходившие вдвое и втрое. — «Точно так, — отвечал жилец, — но я прошу, окажите божескую милость, войдите в положение». Начинается перечисление: здесь убыток, там недочет, кухарка обворовала, и Бог знает, чего не нагородил. — «Ох, — отвечал добрейший хозяин, — ну уж так и быть, что делать с вами; на этот раз будет по-вашему. Но в следующий-то год, пожалуйста, платите, как положено; меня и то бранят». И скажет это Иван Иванович скорее тоном просительным, нежели настойчивым. Поклонился жилец, приняв умиленный вид, но на лице его скользила почти неуловимая улыбка, и даже не улыбка, а складки около глаз, говорившие: «Ай да славно провел!»

Выдавали одну из сестер моих замуж. Хотя большая часть приданого изготовлялась ими на собственные средства, скопленные от мастеричного гонорара, но значительную тягость должен был поднять и отец. Копить не из чего было, да и не умел он. Сколачивались кое-как, но все не хватало. Сидит отец у Ивана Ивановича.

— Так вы, батюшка, дочку устраиваете? Слава Богу.

— Да, — отвечал отец.

— Не нуждаетесь ли вы? Ведь тут расход, я думаю, большой.

— Да, — отвечал отец, — недостает.

— Сколько, сколько? — торопливо спросил Иван Иванович.

— Да триста рублей нужно, — заикаясь, произнес отец.

Поспешно встал Иван Иванович, вынул деньги и подал отцу. По движению его было видно, что если бы вместо триста отец сказал три тысячи и если б у Мещанинова в данное время было столько денег, то он столь же поспешно бы их отдал.

Иная была Лизавета Ивановна; она была воплощенная скупость. Предание ходило, что на нее отцом положено было, при рождении ли ее или в детстве, сто тысяч, и она во все свои долгие лета не вынула ни копейки, напротив, прикладывала из доходов, получаемых ею с лавок. На себя она не тратила ничего, живя в братнином доме, на братнином столе, пользуясь братниными экипажами. Гардероб ее был возобновляем также братом. Дворовые рассказывали, что если бы собрать все чепцы, которые неизменно привозил ей брат после каждой поездки из Москвы, то ими можно укласть всю дорогу от церкви до их дома. Чепцы, как и вся рухлядь, откладывались в кладовые, и нужно было видеть злорадство, с каким рассказывали дворовые, что вздумала как-то барышня отправиться в кладовую переверить там находившееся. Пыль столбом, моль, черви и одни отрепки. В летнее время ежедневно барышня отправлялась в сад, между прочим с садовою пилкой в руке для моциона, но и с целию вместе пересчитать дули, шпанские вишни и шишки на кедрах. Яблок на яблонях, вероятно, она не считала, по их множеству. Но избави Бог, если дуля пропала! Однако же ухитрялся народ и тут красть. По крайней мере раз я получил от одной из дворовых в подарок кедровую шишку. Она не могла быть подарена девке барышней; следовательно, была украдена. Кто-то пострадал из-за этой несчастной шишки, которою я лакомился, не подозревая ее происхождения. Удивительный кодекс нравственности был у дворовых. Старушка Анисья, заведовавшая, кажется, господскими курами, ходя в церковь к заутрени и в праздник и в будни, останавливалась иногда у наших ворот и подсовывала в подворотню кулек с овсом. Овес, понятно, был краденый. Ни тетка, ни тем не менее отец не выпрашивали у Анисьи нашим курам на корм; это было ее доброхотное даяние, жертва, которую она приносила, но барским добром. Богомольная, благочестивая, она не полагала, вне всякого сомнения, что отнимать у господских кур, пусть может быть и лишний, корм грешно. Она полагала, что совершает доброе дело.

Как все скряги, Лизавета Ивановна неохотно расставалась с благородным металлом. В определенные дни она присылала нам деньги на сорокоуст и другие долгие поминовения, хотя бы и больше рубля, но непременно грошами и пятаками. Неизвестны счастливцы, получавшие от нее серебро: повару на расходы она отсчитывала также медью.

Она жадничала не только на свое, но и на братнее, и притом не только для других, но и для того, чьим хозяйством заведовала. Мещанинов редко оставался постами в Коломне, а на Великий пост уезжал в Москву неизменно. Не дела какие-нибудь отзывали его, а голод. Сестрица держала его постом на хлебе и воде, кроме свекольника ничего не давала, и бедный хозяин, не желая перечить, уезжал на прокорм в Москву.

Столь не похожие характерами на старосветских помещиков, тем не менее Иван Иванович с Лизаветой Ивановной, подобно Афанасию Ивановичу с Пульхерией Ивановной, были на «вы», всегда были друг с другом вежливы и почтительны. Разность вкусов и характеров не нарушала гармонии: если Иван Иванович не входил в хозяйство, погружаясь в книги, то Лизавета Ивановна, только и думавшая о сбережениях, читала мало и исключительно духовные книги. Вместе с чепцами брат не упускал ей привозить выходившие брошюрами слова Филарета и других проповедников. Со мной Лизавета Ивановна была покровительственно ласкова. К удивлению, расступилась она однажды и пожаловала мне тех же кедровых орехов, и, что замечательно, вместе со стаканчиком, в который они были насыпаны. Между братом и ею происходил обо мне иногда спор. «Расти, учись, будешь протопопом большого Успенского собора». — «Нет, — возражал Иван Иванович, — он будет служить в министерстве». Не сбылось ни то, ни другое благожелание незлобивого брата и скупой сестры. А желали они, очевидно, высшего, что, по их мнению, для меня достижимо: быть протопресвитером Успенского собора и чиновником министерства.

Лизаветы Ивановны никто не любил, ни дворня, ни все, кто ее знал. Ее-то батюшка назвал «аршин проглотила»; она держалась прямо, несла голову высоко, была горда всемерно и до старости, вероятно, не могла без досады вспомнить, что осталась купчихой, тогда как ее сестра была замужем за столбовым дворянином, и притом доводившимся сродни грузинскому царевичу. Но она была смолоду и некрасива, и разборчива, и строптива. Оставшись купчихой, тем не менее она выезжала не иначе как четверней цугом даже в церковь, на расстоянии много 50, а то и 40 сажен. Об этой езде цугом батюшка рассказывал, что Лизавета Ивановна чуть за нее не поплатилась. Какой-то городничий, наравне со всеми не долюбливавший гордую барышню-купчиху, вздумал насолить ей и завел дело о незаконном присвоении коломенскою купчихой привилегии, которой удостоены только высокоблагородные. Лизавета Ивановна должна была отписываться и объяснять, что экипаж и

лошади не ее, а она пользовалась временно оставленными ей на подержание родственником Тетюшевым, который был не только высокоблагородный, но даже высокородный. Должно быть, этот досадный городничий недолго пробыл в Коломне, потому что в мое время Лизавета Ивановна выезжала на четверне уже беспрепятственно.

Будучи нашею прихожанкой, Лизавета Ивановна тем не менее выбрала духовным отцом не моего отца, а постороннего священника. «Молод, мальчишкой знала». И действительно, отец был очень юным студентом, когда ходил в мещаниновский дом давать уроки племяннице Лизаветы Ивановны, и племянница была тогда на возрасте девица, а Лизавета Ивановна уже совсем перезрелая дева. Но вот что замечательно. Сначала она выбрала в духовники действительно старца, превосходившего ее возрастом.

Но он недолго жил; Лизавете Ивановне пришлось снова искать духовника, и она выбрала одного из приходских священников, сравнительно молодого, который бы годился моему отцу в сыновья. Но она все-таки не знала его мальчишкой.

Кончина была замечательна обоих оригиналов, и каждого по-своему. Иван Иванович как жил, так и умер с книгой в руке и трубкой во рту. С последнею струйкой легкого дыма вылетела и его душа, тихо, безболезненно. Хотя и старше его летами, Лизавета Ивановна пережила его; болезнь, ее сразившая, и подробности кончины мне неизвестны, но известно то, что, ко всеобщему удивлению, не осталось после скупой старухи ничего денег. Куда же они девались и где те легендарные сто тысяч, положенные на ее имя? Может быть, их и не было, их сочинила молва, но не оставить ничего, когда несомненно было нечто, это подозрительно во всяком случае. Рассказывали лица из дворни, вполне достоверные, что раз или два поднимали они серебряные деньги, выроненные на лету вороной. Приходит на мысль: не поступала ли покойница, как многие скряги, запрятывая сбережения в таких местах, где никому не придет в голову искать? Я знаю случай, как одна нищенка пред смертию старалась даже съесть свои кредитные билеты и тем ускорила смерть: подавилась недоеденною трехрублевкой.

Дворня Мещаниновых, как, вероятно, и везде бывало в состоятельных домах, была на все руки. Были башмачники, столяры, шорники, цирюльники и проч. Один промышлял охотой, как отхожею, так и домашнею: он был воспитатель канареек, которых у него целый заводик порхал на полках за сетками. Не настолько следил я за беллетристикой новейшего времени, чтобы решить вопрос: достаточно ли представлен тип дворовых литературой. Его брали и изображали как прислугу, с дурными и

хорошими чертами, преимущественно с первыми, так называемыми «холуйскими». Но кажется, ни один художник, ни один беллетрист не подошел к нему с тем участием, с каким обрисовал Гоголь Акакия Акакиевича. А напрасно. В одной из первых глав я назвал дворню интеллигенцией села; прибавлю, что она была носительницей прогресса и личной инициативы в лучшем смысле. Из крестьянина, выделившегося от мира, редко выходит что-нибудь лучшее кабатчика; грубая нажива и никакой идеи; удовлетворение идеалам ограничивается литьем колоколов и золочением иконостасов. Из дворовых выходили мастера, почти художники, выходили и настоящие художники. В лучших из них копошились бескорыстные стремления, многие были страстные охотники, другие — любители и знатоки цветоводства и плодоводства. Работе мещаниновских башмачников цены не было: они работали не просто хорошо, но с тонким изяществом, для грубых коломенских вкусов даже излишним, но работавшего подвигало внутреннее требование изящества. И действительно, когда смотрели на башмаки, у многих вырывались восклицания: «Жалко носить, стоит поставить за стекло да так и держать».

А любознательность? Мальчиком от десяти до четырнадцати лет я знал об адмирале Мордвинове и читал мнения, которые подаваемы были им в Государственном совете; читал в рукописи «Древнюю и новую Россию» Карамзина, читал доклад, опять в рукописи, Ивана Владимировича Лопухина о молоканах, письма Невзорова по поводу гонений на Библейское общество. И мало ли что, в печать не попавшее по цензурным условиям! Откуда я доставал? Не от И.И. Мещанинова, а от дворовых людей мещаниновских и черкизовских. Обучен дворовый грамоте, чтобы быть конторщиком. Любознательность в нем пробуждается; она усиливается чтением книг и перепиской сочинений вроде вышепоименованных. Подслушанные разговоры господ довершают воспитание, которое назвал бы я не только литературным, но и политическим. В дальнейший период моей жизни, — однако до двадцати лет только, период отроческий, — доводилось мне беседовать с подобными самородными мыслителями; слышал суждения о проповедниках, о писателях светских, о государственных людях и политических событиях; слушал с удовольствием и дивился такту, уму и знанию. Но замечательно, я удостоивался задушевной откровенности только в период отрочества. Минуло двадцать лет, я уже студент, не ученик, почти ученый, словом — барин взрослый, пусть и попович; тот же Михаил Федорович, которого, бывало, наслушаешься всласть, свернулся как еж. «Да-с, нет-с, точно так-с». Он держит себя как «человек», то есть как лакей. А было

время, он смотрел и держался человеком в благороднейшем значении слова. Он и забыл, не помнит, как распоясывался пред мальчиком-поповичем. А мальчик-то попович, выросши, помнит, и сжалось у него сердце при виде, как человек обращается в «человека».

ГЛАВА XXX
ДВА БРАТА

С обоими моими братьями читатель уже знаком несколько. Это два почти противоположные типа. Один (старший) словоохотливый, податливый на первые впечатления, опрометчивый, даже бешеный при случае, не ведающий корысти и неспособный к искательствам; отсюда слывший высокомерным и дерзким на язык (последнее отчасти было справедливо). Другой был расчетлив на слова и сдержан вообще; умел и любил рассказывать, но в обществе; это не была потребность излиться, а, скорее, желание порисоваться; общество было для него душа, без общества он хилел. Умел подлаживаться, был осторожен в обращении, но скопидомства не было у него, как и у старшего брата, а искусства наживать лишены мы все одинаково.

Старший брат учился отлично, но не отлично кончил. Перейдя первым учеником в Философию, переступил, кажется, вторым, во всяком случае одним из первых и в Богословский класс; а здесь едва удержался в первом даже разряде. Семинария по преобразовании помещалась сначала (временно) на Перерве, и там брат, наравне с другими, жил пансионером в казенном помещении. С переводом семинарии в Москву, по отстройке для нее здания, пришлось жить на вольной квартире и добывать деньги уроками. Не велики были деньги, но судьба задумала побаловать брата; его рекомендовали в «господский» дом, и он в Богословском классе поступил домашним учителем к С.А. Киреевскому. Здесь при готовом помещении и содержании получал приличное жалованье; имел в других домах уроки сверх того и был еще учителем в пансионе. На школьную науку естественно было ему смотреть пренебрежительно и даже классы посещать спустя рукава. Одному из обязательных предметов он рассудил совсем не учиться — еврейскому языку. Пусть это была черта почти общая семинаристам, но брат вздумал ею даже похвастаться. Зашел он в аудиторию (обыкновенно он не посещал еврейских классов). Профессор спрашивает его. Брат отвечает, что не знает; профессор приглашает взять книгу. Брат отвечает, что это бесполезно, потому что он не умеет даже читать и не намерен выучиться читать. Должно прибавить, что обеспеченный брат одевался в ту пору щегольски, явился в класс джентльменом, в перчатках, во фраке, может быть (если предстояло идти на урок); вообще представлял по внешности фигуру более значительную, нежели профессор. Сцена должна была произвести

эффект, и за эту-то выходку решили было исключить дерзкого юношу из первого разряда, но оставили из уважения к дарованиям, прочим успехам и из внимания к прошлому.

Случай с братом характерен. Он не единственный; сколько я знаю подобных! И они свидетельствуют, вопреки многим поклепам, о гуманности и истинно отеческом обращении духовных начальств вообще. Повторяю: говорю о старом времени, а не теперешнем, которого не знаю, и об общем уровне. Исключения, понятно, могли быть и бывали, но нигде так не холили дарований, нигде к ним не были так снисходительны, как в духовно-учебных заведениях. Дарованиям прощалась дерзость, смотрели сквозь пальцы на их проступки, при успехах в главном не придирались за упущения во второстепенном. «Знание — наживное дело; наука в жизни; школа только подготовка; главное — способность учиться, желание и уменье добывать знания и располагать ими». Вот общее правило, из рода в род переходившее. Взыскательнее бывали к тупицам; но и здесь являлась мягкость, переходившая даже пределы. Чтобы быть «исключенным», надо было совсем от рук отбиться. Лишь бы только малейшее старание, да при исправном поведение — оставляли на повторительный курс и даже перетаскивали из класса в класс. Не теряли надежды: «Может быть, поправится». А то и сердоболие говорило: «Жалко малого; куда он пойдет? А старателен». Этому-то режиму, слишком мягкосердечному, между прочим, и одолжены были семинарии тем, что в них оканчивали курс иногда замечательные олухи и неучи. В пример укажу одного, курсом старше меня. Его спрашивают: «Почему Господь Саваоф изображается седым?» Он хлопает глазами и ждет, чтоб ему подсказали. На смех или потому, что подсказывавший не расслышал вопроса, ему шепчут: «Потому что Он заматорел во грехах своих». И кончающий богослов во всеуслышание бухнул этот ответ! И кончил курс! Положим — в третьем разряде, да и всегда шел в третьем разряде, но все-таки кончил. И вдобавок он не был ни наушник, ни низкопоклонник, а плелся наряду с другими. Сердоболие переводило его из класса в класс и наградило выпускным дипломом. Представляло свою невыгоду это мягкосердечие: классы переполнялись мусором, к ущербу преподавания, бесполезно тратившего силы, которые могли быть производительнее употреблены, сосредоточиваясь на даровитых. Но иногда мальчики действительно «выхаживались». Примером служит высокопреосвященный Макарий (Булгаков), шедший первоначально в числе последних. Развитие не у всех наступало одновременно. Безалаберные и жестокие наказания, за которые более всего винили семинарию, нужно приписать главным

образом грубости нравов. Ведь прошло едва сто лет, как попов секли на архиерейских конюшнях. А монастырский обычай земных поклонений едва ли даже доселе отовсюду вывелся. В старые времена ни то ни другое не считалось ни позором, ни унижением, как мужик не считает ни во что подзатыльника, данного и полученного. Но прозрите далее этих грубых форм: за ними увидите более справедливости и человеколюбия, нежели за сдержанными и даже вежливыми приемами светского начальника.

Брат был неистощим в рассказах о старой семинарии. Часть их передана — о том времени, пока он учился в Коломне. На Перерве, в Риторике, куда он поступил, было чуть ли не до трех сот учеников в классе. Как только успевали! (В следующий курс открыто было параллельное отделение). Латынь была в ходу не менее, чем в Славяно-греко-латинской академии. По главным предметам во всех трех отделениях (Риторике, Философии и Богословию) не только учебники были латинские, но и устные объяснения в классе происходили на латинском. Этому помогали в Риторике экспромты, о которых я уже говорил, а в остальных высших классах — диспуты. На каждый день назначаема была тема, философская — в Среднем, богословская — в Высшем отделении; назначались дефенденты и оппоненты; первые обязаны были защищать, вторые — опровергать положение. Завязывался турнир, вступали в участие добровольные ратоборцы с той и другой стороны. Дело профессора было руководить прениями, следить за их ходом и давать конклюзию (conclusionem, заключение) или помогать в ее формуловке. Экспромты держались далее, а диспуты год от года стали все ослабевать и наконец прекратились совершенно. Они и держались только по преданиям Славяно-греко-латинской академии. С уходом профессоров, получивших воспитание в этом рассаднике просвещения, исчезли и диспуты. В новой академии их уже не было, и являвшиеся оттуда профессора внесли другой тип преподавания: уроки и сочинения. В прежние же времена уроков совсем не учили, да и учить их не приходилось: они служили только напоминанием того, о чем проходилось на диспутах. Главное было — диспуты и экспромты; затем — письменные упражнения и выписки. К моему времени диспуты совсем прекратились; выписок (то есть отчетов о прочитанных книгах) требовали, но требование не исполнялось. Письменные упражнения, однако, сохранили преобладающее значение пред уроками. Требование самостоятельного развития не прекращалось, тогда как в более старые времена оно одно и требовалось. С падением диспутов и ослаблением экспромптов

начал падать и латинский язык. К моему времени изустные объяснения на латинском тоже прекратились, а посредственные ученики затруднялись даже латинскими экспромптами.

Содержание на Перерве было голодное. С увлечением рассказывал брат об этой жизни впроголодь. Насыщались по чинам. Дежурные, то есть те из воспитанников, которые поочередно находились на кухне для надзора за приемом провизии и за приготовлением, наедались до отвала, сколько только мог вместить желудок. Богословам отпускались куски мяса и каша масляная. Философам — мясо во щах ломтиком не толще игральной карты и каша не с маслом, а с запахом масла. Риторы же мяса не видали, а вместо масла отпускавший довольствовался тем, что стукал по каше затылком круглой ложки, которая служила для наливания масла, образовывал лунку и восклицал: «Готово!» Если философам отпускался запах масла, то риторам — напоминание о масле.

Голодному брюху воспитанники помогали разбоями, особенно в осеннее время. Целыми гурьбами они нападали на огороды, которыми окружена Перерва, и опустошали их. Картофель, репа, прочие овощи похищались в количестве достаточном, чтобы нагрузить целые воза. Наволоки служили мешками. Если попадали на сторожу, завязывалась драка, принимавшая иногда серьезный оборот: выбегала вся деревня, и завязывался правильный бой для отражения фуражиров. Отношения были эпические. Подвиги фуражиров и бойцов при набегах слагались чуть не в поэму. Брат Александр был из числа удалых. Сохранилась память об уводе крестьянских гусей, доставившем ему в семинарии славу. Но характерен рассказ брата Сергея о своем приезде на Перерву по переводе из училища. Явился он вместе со старшим братом. Только что мы подошли к Перерве, передавал он, только что увидал кто-то брата, как разнесся крик, который потом начал переливаться и собирать толпу: «Гиляров, Гиляров приехал!» Толпа нас окружила, брата увлекли, увели ли, унесли ли, не знаю. Я остался один и только к ночи узрел возлюбленного братца, которого вели мертвецки пьяного и затем заботливо укладывали на постель.

Воображаю жуткое положение новичка среди сотни новых, посторонних лиц. Но заключаю, что Александр, должно быть, состоял из числа видных героев и кутил; сам он об этом помалчивал.

Винить ли семинаристов за разбойничьи набеги? Удержусь, и не по тому основанию, излюбленному нынешними адвокатами, что на разбой наталкивал голод. Нет, а разбой во всем бурсачном мире от века не считался ни преступлением, ни постыдным

делом, причисляясь, напротив, к подвигам. Так было не на одной Перерве; так было, по преданиям, в Коломне; так велось и в Киевской академической бурсе с самого ее основания, о чем читаем намеки даже у Гоголя. Вифанская семинария уже в сороковых годах в этом тоже не отставала. Меня занимает, между прочим: как относились учебные начальства к набегам, совершаемым их питомцами? В случае жалоб следовали наказания, это само собою разумеется. Но я не слыхивал, чтобы растолковывалось ученикам о безнравственности нападения на чужую собственность, о том, что труд поселянина неприкосновенен; что, опустошая чужое поле, юноша, наученный Закону Божию, совершает более тяжкий грех, нежели обыкновенный вор, опускаясь в нравственности ниже последнего жулика. Взыскивалось за буйство, за драки с крестьянами, и это ставилось на вид, а не кражи. Любопытная черта!

Для среднего брата, который учился лениво, брат Александр был и нянькой, и опекуном. Писал ему сочинения, а после, в Москве, и содержал его. Наступили Святки. Брат Сергей жил на бурсачной квартире в Богоявленском монастыре; нужно было платить за харчи. Старший брат, дотоптавший сапоги до совершенного износа подошв и подкладывавший бумагу под ступню, чтобы не ступать прямо на снег, принес последние деньжонки, полученные с урока, чтобы внести за брата следовавшие харчевые деньги. После тот же Александр пристраивал Сергея к урокам и, между прочим, в дом Н.Ф. Островского. Знаменитый драматург, а с ним и теперешний министр государственных имуществ, хотя краем ушка, но почерпнули, вероятно, что-нибудь от брата Сергея.

Попал в село брат Сергей. А конец своей учебной жизни он проводил в приятном и приличном обществе; знаком был, между прочим, с артистами театров и с артистами-музыкантами. Он нравился женщинам; рассказывали о его похождениях с крылошанками в Новодевичьем монастыре, когда он временно жил у брата. Не могла веселою после того показаться однообразная жизнь сельского попа. Знакомство с помещиком несколько отводило душу. Но заскучал брат и захандрил. Начал читать лечебники и открыл у себя чахотку. По чьему совету, неизвестно, стал прибегать к кровопусканиям. Тяжело бывало смотреть на него, когда сидит он молчаливый и время от времени потрогивает пульс; то смотрит на края ладоней, нет ли подозрительной красноты, то отхаркнет и растирает мокроту, нет ли туберкулезных шариков. Заняла его на время постройка дома, который был им воздвигнут на месте старого отцовского. Со страстью предался он зодчеству; каждая безделица была

обдумана, каждый вершок промерен. И дом был выстроен изящный, удобный, для села даже великолепный. Но накануне того самого дня, когда бы в него перейти, сгорел. И всякого сразило бы это, а брат совсем растерялся и захандрил до размеров трагикомических. Он уверил себя в предстоящей близкой смерти, перестал есть и пить, истощал; голос ослаб.

Размышляя о смерти, Сергей Петрович пришел к заключению, что успокоительнее сложить кости рядом с могилой матери и испустить дух в кругу родных. Отправляюсь в Коломну, решил он. Там отец, там в другом доме молодой зять (средняя сестра вышла замуж за дьякона в Коломне). Надобно проститься с детьми духовными. Объявил по приходу, что в такое-то воскресенье отслужит «прощальную» обедню. Слух о болезни «батюшки» уже пронесся. Собралась церковь полна. Отслужил брат обедню слабым голосом и вышел нетвердыми шагами на амвон. Начал речь: это была первая его проповедь и даже, вероятно, единственная, им самим сочиненная. Но она была не сочиненная; слово вылилось прямо из души. «Православные! Дни мои сочтены, час смерти моей близок, и я думаю принять успокоение на руках у присных…». И так далее и так далее; просил у предстоящих прощения в обидах вольных и невольных; говорил о спасении их душ, которое ему дорого; наставлял их в христианской жизни; завещал молиться за себя, сам обещал за них молиться, если удостоится стать пред престолом Всевышнего. Церковь навзрыд ревела; можно затем себе представить проводы, прощальные благословения, слезы духовных сыновей, рыдания духовных дочерей, плач детей.

Отправился умирающий в Коломну. И жалко, но и несносно было и отцу, и зятю. Советовали лечь в больницу. Послушался ли совета больной, не помню. Но он вскоре отправился в Москву, приведенный в отчаяние тем, что никто в нем не принимает участия, никто ему даже не верит, чтоб он был болен. Даже докторишки отрицают его болезнь, тогда как он сам, он слышит, он чувствует, что конец близок. У него нет ни сна, ни аппетита, и положительные притом, самые несомненные признаки сказывают о чахотке или сухотке (какую-то из этих болезней он себе приписывал).

Зимний вечер под Девичьим. Часов семь или восемь; скоро ужин. Звонок, и колеблющимися шагами входит брат Сергей. Я был тогда уже в семинарии и жил тоже под Девичьим. Больной действительно изменился: бледный, худой, изможденный.

— Ну, что? — спрашивает его грубо старший брат резким тоном. — С дурью своею приехал?

Молча больной выслушал это неласковое приветствие и лишь

вскинул умоляющие глаза на невестку, потом на меня, ища сострадания.

Невестка кротко спросила приезжего, лечился ли он и чем собственно страдает.

— Что ты с ним, скотом, разговариваешь! Вот еще, потешай его! А и впускать в дом-то по-настоящему тебя не следовало бы, — обратился он к больному. — Ну, что приехал? Оставался бы в Черкизове. Чего ты тут потерял?

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул больной голосом отчаяния. — И это говорит брат, брат родной! Я приехал тебя благодарить, братец, за помощь после пожара. Я знаю, что ты прислал деньги последние. Но я умираю, братец, я чувствую это. Может быть, московские доктора найдут что-нибудь, чтобы поддержать мою жизнь.

— Ну, пошел! Мели тут! Вот дурак!

Подали ужин, Первое кушанье — кислая капуста с квасом и рыбой.

— Садись, ешь, — говорит Александр Сергею.

— Боже мой! Да я не могу, — простонал жалобно Сергей. — И ты не веришь? Я вот уже три недели ничего кроме чая; едва-едва перепущу крошку белого хлеба, да и то с трудом. У меня нет ли еще срощения желудка!

— Ешь, говорят тебе, лопай. Да ну, говорят тебе! А то я вышвырну тебя вон на мороз. Умирать, так все равно тебе, околевай на снегу.

— Боже мой, Боже мой! — стонет больной.

— Да вы принудьте себя, хоть одну ложку, — участливо уговаривает невестка.

— Господи, да ведь это и здоровому вредно: капуста, квас, это… Больной хочет пуститься в медицинские объяснения. Старший брат останавливает.

— Аксинья, — кричит он кухарке, — бери ухват! Если ты еще слово скажешь и не будешь есть, я тебя выгоню.

С видом человека, который видит, что смерть его наступит гораздо скорее ожиданного, и притом от другой причины, больной берет с отчаянием ложку и проносит в рот.

— Да ты откуда теперь, из Коломны или прямо из Черкизова? — спрашивает хозяин.

Больной отвечает.

Новый вопрос о дороге, кто вез и с кем ехал. Завязывается разговор. Больной незаметно для себя проносит ложку за ложкой. Прошли капуста с квасом, прошло и горячее. Перед кашей больной остановился. Это пища тяжелая, опасная. Снова окрик на него.

— А капуста с квасом легче? Ведь все равно тебе умирать! Пока не издох еще. Ну, ешь. Аксинья! — повторяется приглашение кухарке.

Кончился ужин; продолжаются разговоры.

— Ну, пора спать! — повелевает старший брат. — Ступай, спи.

Но больной спать не пошел, а отправился вслед за мною и промучил меня целую ночь. Рассказывал о своих страданиях; плакал о предстоящей судьбе семейства, жаловался на безучастие родных, молил меня не оставить его жену и детей, когда я кончу курс. Терпеливо слушал я, по возможности успокаивал, но наконец, к исходу ночи, заметил, что в седьмом часу мне надо подниматься в семинарию.

Прожил больной несколько дней, к докторам не ездил, ел и пил исправно, сделался разговорчив. Бледность прошла, о пульсе и харкоте забыто на время. Уехал он почти здоровый.

Окончательное излечение от хандры брат получил, кажется, только тогда, когда Филарет сделал его благочинным, обратив внимание на Записку его о раскольниках. Записка была подана, когда митрополит затребовал мнений ото всех священников, у которых в приходе есть раскольники. Благочинническая должность дала дело. А при деле хандре не место. Но все-таки, хотя косвенно, хандра, а не что другое, свела брата в могилу, именно злоупотребление кровопусканием, к которому он приучил себя в годы хандры. Он перепустил срок. Последовал паралич, сначала легкий, им даже не замеченный, а затем апоплексический удар, который и сразил окончательно.

Я упомянул об учительстве брата Сергея в доме Н.Ф. Островского. Осталась ли гомеопатическая капля гиляровского в Островских, не берусь судить, да и проследить невозможно. Но чрез брата от Островского-отца несомненно перешло в меня нечто; суждения, отзывы, наблюдения, мною слышанные, не могли оставаться совсем бесследными. Где-нибудь и какой-нибудь корешок непременно был пущен и чем-нибудь пророс в душе. Другой духовный обмен не мог не произойти вследствие того, что другой брат жил в доме и был учителем у Киреевских. Сестра Киреевского была мать А.С. Хомякова, который бывал у дяди и не мог не быть известен брату, хотя пребывание брата у Киреевских, кажется, совпало главным образом с периодом военной службы Хомякова. Но брат гащивал в Богучарове, имении Хомяковых, хорошо знал Хомякова-отца. В Богучарове узнал об обычае «опахивания», которого, хотя издали, был очевидцем и о котором написал тогда же к родителям письмо, исполненное некоторого ужаса. Этот обряд, показавшийся брату

демоническим, потряс его и видом своим, и исступленным пением. Об отце-Хомякове брат отзывался, как о человеке большого ума и образования, но с воображением, развитым до чудовищности. Например, задумал Хомяков в своем Богучарове выстроить колоссальнейший в мире храм (величественнее Петра в Риме), и не только задумал, но заложил фундамент и начал работы. Князь В.Ф. Одоевский в своих «Петербургских ночах» (очень умной и талантливой книге, преданной забвению совершенно незаслуженно, тогда как она способна действовать воспитательно и возносить к идеалам, особенно юношество), — в этой книге князь В.Ф. Одоевский имел в виду Хомякова-сына, то есть известного писателя, когда изображал архитектора Пиранезе, сочинявшего пусть очень умные, даже гениальные проекты таких предприятий, как мост через Средиземное море. Известно ли было автору, что отец мыслимого им Пиранезе был подлинным Пиранезе и действительно творил гигантские проекты неосуществимых предприятий? Замечательно, во всяком случае, что писатель верно угадал известную сторону Хомякова-сына, изобразив ее преувеличенно; в этом преувеличенном виде она была сама действительность в лице Хомякова-отца.

С Хомяковым-писателем я познакомился лично спустя двадцать лет после того, как зазнал его впервые брат. И я, и Алексей Степанович часто поражались до буквальности иногда доходившим сходством некоторых наших воззрений и отыскивали причину [21]. Независимо от общей (случайного тождества литературы по известным отраслям, служившей подкладкой тому и другому) могла иметь свою долю значения и частная. Не могло ли случиться, что какое-нибудь замечание А.С. Хомякова запало в брата, усвоено, развито и в каком-нибудь виде передано мне, а у меня тоже пустило росток? Религиозные и даже философские мнения, даже целые системы иногда имеют такое начало. На горячих молодых сектах, развивающихся обыкновенно со строгою (хотя одностороннею) последовательностью, закон этот особенно обнаруживает действие. Частное положение, случайно усвоенное, развиваясь, доводит к принятию общих оснований, которые сознанием не предполагались. Или тождественное этическое основание порождает до мелочей тождественные последствия в быте. Сравним католическое и буддийское монашество; ученые склонялись видеть даже прямое заимствование, тогда как это два параллельные независимые развития. Духоборцы дошли до предсуществования душ, не ведая о Пифагоре и не изучая индийцев, а только последовательно развивая дуализм, скрытый в основном догмате о букве и духе, с которым духоборчество выступило. А всего поразительнее случилось с беспоповщинским

толком об антихристе. В горячую пору полемики с папизмом протестанты учили, что под антихристом надо разуметь не одно лицо, а ряд лиц. В книге «О вере» русский богослов, в видах борьбы против того же папизма, напоминает, что сатана, по Писанию, связан на тысячу лет, и что чрез тысячу лет последовало отложение Римской церкви от Вселенской. Автор прибавляет: а так как число звериное (антихристово) есть 666, то не случилось бы чего еще хуже, когда исполнится 666 лет после тысячи. К тому времени подоспел Московский собор против раскольников. Раскольники подхватили гадание книги «О вере» и заключили, что антихристово время настало. Развивая это положение, они пришли затем к повторению общих понятий об антихристе, которые проповедывались протестантами первых времен Реформации, то есть что антихрист есть не отдельное лицо, а ряд лиц, дух времени. Читая беспоповщинские доводы, можно подумать иногда, что серый мужик перелистовывал когда-нибудь первых преемников Лютера и списал их мудрования.

ГЛАВА XXXI
УЧИЛИЩНЫЙ ИТОГ

В половине октября я возвратился домой из краткой побывки у брата. О дальнейшем пребывании в Коломне память не сохранила ничего особенного. Мне прибавилось только бодрости. При вечном недоверии к своим силам и знаниям, первоначально я не решался утвердительно отвечать на вопрос: вполне ли по силам будет мне семинарская наука. Теперь я увидал, что в Москве ожидает меня не Бог знает какая премудрость. Меня беспокоило лишь, что Коломенское училище считается, однако, изо всех последним в Московской епархии и из него во все время один только достиг Академии, некто Гермоген Виноградов, в преданиях училища — просто Гермоген; фамилию, рассказывая о нем, не считали нужным прибавлять. Гермоген в памяти училища остался как чудо знания и образцовая скромность; нечего говорить, что я и не мечтал с ним сравняться.

Итак, прошло скоро полтора семестра; экзамены, частные и публичные; ревизор из московских священников-магистров, как водилось всегда. Я окончил курс первым учеником и получил свидетельство об отличнейших успехах по всем предметам и столь же отличном поведении. Однако справедливо ли было свидетельство? Если бы дали мне его теперь в руки, я, припоминая тогдашние свои познания, внес бы в него сильные поправки. Что я и как знал?

1. География — очень хорошо. Но училищу этим я был обязан только наполовину; главные сведения приобретены чтением книг.

2. Латинский язык — изрядно по моему возрасту, но не то чтобы совершенно. Я мог читать свободно классиков и даже поэтов; но один из пробелов был, который и мучил меня: я не силен был в просодии; не всегда умел назвать размер, которым написано стихотворение, способен был ошибаться в долготе. С завистью читал я об Августине, который, как уверяет его жизнеописание, моих лет или даже еще моложе, написал знаменитое стихотворное прошение митрополиту Платону, начинавшееся словами:

Ite mei versus benignas ad praegulis aures,[22]

стихотворение, во всех отношениях прекрасное, которое бы сделало честь и не детскому перу. Итак, в двенадцать, а может

быть и менее, лет столь совершенно владеть латинским стихом! Положим, стихотворческого дара вообще не было во мне; но если бы продиктовали мне даже перевод Августинова стихотворения и потом пригласили восстановить латинский текст, я бесспорно не заслужил бы более единицы.

3. Греческий язык — скорее худо, нежели хорошо. Легкую прозу я мог разбирать, но и только. О поэтах-классиках нечего и заикаться; я затруднился бы, если бы развернули мне даже какого-нибудь отца, положим, хоть Василия Великого; правда, затруднился бы более в словосочинении, то есть в понятиях, которые были выше моего возраста. Учитель греческого языка (он же, как известно из прежних глав, и инспектор) был предобросовестнейший. Он сдавал нам вместо коротенького официального, дрянненького учебника свою грамматику, именно этимологическую часть, очень хорошо составленную; мы учили об энклитических и проклитических частицах, учили о производстве глагольных форм, чего не было в обыкновенных учебниках. Учитель корил нас и хвалился: «Знаете ли, глупые, это составлено по парижским и берлинским изданиям!» Похвальба была основательна. Но ученики втайне знали, что греческий язык не пользуется почетом, и недостаточная успешность в нем беды не навлечет. А потом и преподавание было странное. Почтенный Александр Алексеевич сдавал нам не только грамматику, но и русский перевод статей хрестоматии. Можно было отличиться, заучив этот готовый перевод, в котором, помню, над русскими словами даже надписан был греческий текст. Словом, в рот положено и даже разжевано; но оттого-то учениками и не переварено, и не усвоено. Вдобавок греческих словарей не было. Выдан был в нескольких экземплярах на класс лексикон Шревеллия. Он был с латинским переводом, и это бы еще ничего при знании латинского. Но расположен был словарь бестолково: алфавитный порядок перепутан был со словопроизводственным. Я помню, собравшись что-то по доброй воле перевести с греческого, я вскоре швырнул Шревеллия с досадой; лишь только слово сколько-нибудь затруднительное, его-то и не найду.

4. Русский язык знал я порядочно практически, в чем, однако, не грамматике был обязан. Правописание усвоилось на ходу, привычкой, и этому больше всего способствовали письменные упражнения, которые нам диктовались ежедневно для переводов с русского на латинский и греческий.

5. За нотное пение должен был получить по совести нуль, как я объяснял уже.

6. Арифметика — сносно, но, ежели бы мне дали извлечь кубический или квадратный корень, не ручаюсь, чтобы совершил

операцию без запинки. С математикой вообще у меня и после выходило странно. Я пламенно желал ее изучать, но она трудно давалась, и приобретенное очень скоро потом вылетало из головы, скорее, нежели даже стихотворения, о затруднительности которых для моей памяти я уже говорил.

В свою не малую жизнь, после великого множества наблюдений, я пришел к выводу, которым делюсь с читателями: математические способности редко уживаются в ладу с филологическими. Слово «филологический» не точно; я хочу выразить то понятие, которое в старину называли humaniora, филологическое чутье в том числе. Наряду с филологическим чутьем ту же участь испытывает философское (творческое) мышление и вообще всякое творчество. Знаю, что мне могут указать примеры отрицаемого мною совмещения, и сам первый назову Лейбница. Но зато примеров несовместности такое множество, что я готов предложить деление детских способностей на филологические и математические. Тысячу раз попадутся случаи, что дитя очень тонко разберет вам пословицу, укажет сильнейшее место в стихотворении, а в арифметике нейдет далее сложения двух с тремя. Другой ребенок поражает быстрыми сочетаниями цифр, но характеристики прочтенного рассказа или стихотворения не спрашивайте; сущность и форма, глубина и обстоятельность, то либо другое, в чем-нибудь перевес. Я лично не могу себе представить без удивления и некоторого ужаса случай с знаменитым Лапласом, известный в ученом мире. Автор «Небесной механики» где-то в своем труде, держа корректуру, или даже в рукописи, описался, — минус вместо плюс поставил, или не поставил скобок, что-нибудь в этом роде, — и далее пошли у него вычисления, основанные на описке. Книга напечатана, издана, составила эпоху в науке, но с грубою ошибкой в вычислении, которую, однако, сам автор не умел найти и только объявил о ней. Вот это-то последнее и замечательнее всего. О существовании ошибки он помнил и достоверно знал, а найти ее не мог: для этого потребовалась бы процедура нескольких лет, целая меледа, известная игрушка, в которой, чтобы снять одно колечко, надобно по нескольку тысяч раз переснимать и перенадевать весь ряд колец. Ученики, последователи и почитатели Лапласа открыли его ошибку и исправили текст. Но я ставлю себя на место знаменитого ученого и усиливаюсь вообразить состояние ума и души во время этой постановки отвлеченных букв с плюсами и минусами, со скобками и корнями, логарифмами и знаками бесконечного. Какое отличие от неодушевленной машины? Что тут человеческого в работе, при чем душа, мысль, сердце? — «Какой

дерзкий, невежественный отзыв, достойный только грубого профана!» Я профан в математике точно, но это не мешает мне глубоко преклоняться пред гением Лапласа и Ньютона. А все-таки не могу себе представить умственной работы, в которой бы так бездействовали высшие силы мыслительные и творческие, как в этом проделывании меледы гениальным автором «Небесной механики» после ошибочно поставленного минуса.

7. Священная история — изрядно; мог пересказать верно события, без особенных мудрований.

8. Катехизис — худо, едва ли не хуже всего, после нотного пения.

Читатель должен поразиться. Что же делать, так было. Тем более поразится читатель, что дело идет о духовном училище; тут-то Закон Божий и должен бы стоять на первейшем плане. Соглашаюсь с основательностью удивления и сочувствую, но так было. Катехизисом не занимались ни учителя, ни ученики; его отбывали как повинность. На экзаменах требовали зубряжки, и таковую подавали; объяснений не спрашивали, и редкий бы ученик их дал. Желаю, чтобы дело стало теперь иначе, нежели в мое время, когда в русском переводе существовал один Новый Завет; но, впрочем, и из Нового Завета тексты, приводимые в Катехизисе, заучивались без перевода; требовалось только, чтобы текст прочитан был твердо, безошибочно; за ошибку, пропуск или перестановку слова взыскивалось строго; за этим наблюдали, но только за этим. Несмотря на то что славянская грамматика полагалась в числе учебных предметов Низшего отделения и действительно преподавалась, не каждому из учеников вразумительно было даже грамматическое строение славянской речи в текстах. Спросить бы любого их моих соучеников, да и меня самого, как, например, по-русски передать «законом закону умрох, да Богови жив буду», — нельзя поручиться, чтоб ответы последовали правильные и отчетливые.

Низкий уровень, на котором стоял Закон Божий, не был принадлежностью только нашего училища. В семинарию, куда я поступил, сверстники мои из прочих училищ принесли те же недостаточные познания в Катехизисе и то же безучастие к Закону Божию вообще, за исключением Перервинского училища. Но то была случайность. Там ученики состояли исключительно из казеннокоштных, а смотрителем одно время был очень набожный иеромонах. Богомольный характер, под его кратковременным управлением, приняло и все училище; в классах и келейных беседах аскет-смотритель не переставал обращаться к урокам религии, рассказывал, пояснял, и из этой школы вышли ребята более сильные в Катехизисе, с некоторыми притом лишними

церковно-историческими познаниями и не безучастные вообще к Закону Божию. Не мешает добавить, что в остальном-то они плоховали.

Итак, не с большим запасом вышел я из училища, если принять во внимание мои годы: мне было четырнадцать лет. Разнообразными, обширными познаниями я обладал; но ими не училищу был обязан. Школьная подготовка была очень посредственная; а я еще был первым учеником! Прочие были еще слабее и вдобавок были неразвиты; следовательно, недоставало в них именно того, чего главным образом должно достигать детское воспитание.

Иначе, впрочем, не могло быть. В духовных училищах тогда (да и теперь, кажется, так остается), строго говоря, не было ни учителей, ни инспекторов, ни смотрителей. В Коломне ректором (и учителем вместе) был прежний профессор, а ныне протоиерей и благочинный; инспектором (он же и учитель) состоял священник приходский; прочими учителями — студенты семинарии, чающие поступить в московские дьяконы и принявшие учительство в видах заслужить учебною службой предпочтение пред сверстниками при определении на священнослужительское место. Учительство для них было временное занятие, а для ректора с инспектором — побочное. Пусть и у ректора, и у инспектора посещение классов брало много времени; но интерес преподавания не мог быть для них главным; ученый ректор вознею с мальчиками, без сомнения, даже тяготился. От преподавания лекций в высшем учебном заведении перейти к чтению ученических упражнений в синтаксисе и к спрашиванью уроков «от сих до сих» не могло быть весело. Вдобавок, при назначении преподавателей даже в семинарию, не говоря об училищах, никогда в духовном ведомстве не обращаемо было внимание на естественный вопрос: приготовлен ли учитель сам к своему предмету? Предполагалось, что, кто прошел школу, тот уже знает преподаваемые в ней предметы и, следовательно, может быть учителем. Ни то ни другое предположение неосновательно. Не всегда тот, кто знает предмет, способен и преподавать его. И это еще не главная беда, а могло случиться, да обыкновенно и случалось, что кончивший курс не только в семинарии, но даже в академии знает, например по-гречески, менее, нежели ученик, оканчивающий курс в училище. Учитель должен сам учиться, и учиться на ходу, во время самой учительской должности. А у кого учиться и чем руководиться? Учебную литературу нашу нельзя признать богатою до сих пор. А в мое время ее не было вовсе. Итак, учитель, поступая на любой предмет, имел пред собою те же

руководства, какие и ученик, с единственною разницей, что сам он развитее и понятливее ученика.

Последствием такого порядка было, что уровень наук в училищах и семинариях со времени их преобразования в 1814 году постепенно падал, ибо учительский персонал не освежался новым притоком посторонних сил. От плохих учителей выходили плохие ученики, которые, оканчивая курс, становились еще более плохими учителями, нежели те, у кого они учились сами. Когда готовилось новое преобразование духовно-учебных заведений (третье) в конце шестидесятых годов и мне приходилось беседовать о нем с лицами, стоявшими во главе духовного ведомства, я советовал тогда обратить внимание прежде всего на подготовку учительского контингента. В новые меха вливать старое вино — не полезно. Состоявшаяся реформа, однако, не только вино оставила старое, но и меха устроила худые, установив деморализующее самоуправление. На этот раз старое-то вино, впрочем, и сослужило службу, сохранив еще несколько предание. А наука не поднялась, да и нечем было подняться.

Слабое состояние, в частности, Закона Божия условливалось ригоризмом, который наступил по закрытии Библейского общества. Опасение протестантства и вольномыслия повело к обскурантизму. Сколько-нибудь живое изложение предметов веры не допускалось к выходу в свет, исполосовывалось цензорскими крестами, испещрялось поправками и являлось в сухом, мертвенном, отвлеченном изложении. Если случай помогал какой-нибудь живой книге пройти чрез печатные станки, находились благодетели, которые били тревогу, звонили об опасности для православия; книгу запрещали. Укажу два примера. В конце тридцатых годов явилась «Священная история» Красноцветова, первая живо изложенная книга по этому предмету. С жадностию я прочитал ее; горизонт моих религиозных познаний внезапно просветлел. Но книга уже не видала второго издания: нашли в ней «вольности», которых я своим детским умом не усмотрел и которые нимало не поколебали моей веры. Напротив, если б еще два-три такие сочинения, вера у меня дошла бы до восторженности.

Другой пример. Во времена Библейского общества издавались духовно-нравственные брошюры, изложенные общепонятным языком, иные в виде рассказов, служащих дополнением и пояснением христианского нравоучения. Наравне с другими изданиями Библейского общества они подверглись запрещению. Любопытно, что сию минуту они несут на себе запрещение двойное. В прошлое царствование они, было, узрели опять свет, но не надолго: пашковство и штунда послужили

поводом к тому, чтобы снова наложить на них руку. И опять свидетельствуюсь личным опытом. Духовно-нравственные брошюры Библейского общества послужили благотворно моему нравственно-христианскому воспитанию. Хотя и запрещенные, они находились в библиотеке брата, и я их прочел, не раз и не два, всегда с живейшем интересом; никакого яда от них не ощутил [23].

Знаменитому Ришелье приписывают изречение: дайте мне чьи угодно две строки, и я найду за что повесить автора. Духовная цензура устроена именно на этом ришельевском основании. Малейшее отступление от точности, изложение, кажущееся недостаточно соответствующим важности предмета, по уставу заслуживают виселицы. Я знаю рукописи, в которых цензор зачеркивал местоимение «этот», находя его вульгарным и не соответствующим священной беседе. Книга осуждается не только за то, что она говорит, но за то, чего не говорит, осуждается за умолчание. Таково основание гонения на духовно-нравственные брошюры: как протестантские, они основаны только на Библии; так почему только на Библии? Да уважение Библии и Евангелия еще не есть протестантство; молчание о Церкви и Преданиях еще не увлечет в штунду, особенно когда цель брошюры не догматическая, а чисто нравственная. О Церкви и Преданиях пусть выходят книжки сами собою; одни другим не мешают, напротив, одни другими дополняются. Но книжек-то духовно-нравственных нет или мало их, а которые есть, те сухи, тяжеловесны и состоят больше из общих мест. В итоге и получается обскурантизм. А так как другая волна — светской литературы — течет свободнее, особенно в пределах, не затрогивающих политики, то общество и в частности, юношество отдаются на нравственное воспитание романам и повестям, с идеалами, правда, не библейскими и евангелическими, как в брошюрах Библейского общества, но зато совсем антирелигиозными.

История моего училищного периода, между прочим, способна ответить и на вопрос: почему если не большинство семинарского юношества, то лучшая его часть бежит из духовного звания? Недостаточное обеспечение духовенства — причина не главная и даже вовсе не причина. Не только священник или дьякон московский, но даже псаломщик обеспечен лучше, не говоря о кандидате на судебные должности, а лучше, пожалуй, судебного следователя. Существеннее причина — нравственная неподготовленность к священнослужительскому званию; а этой нравственной неподготовленности немало содействует постановка учебного курса и способ его прохождения. Расскажу

об одном достоверном случае, наглядно свидетельствующем о духе учебных заведений, которые только по внешности имеют право называться духовно-учебными. В сороковых годах киевский митрополит Филарет предложил одеть духовных воспитанников в подрясники. Нужно было видеть, какой ропот пронесся по всему духовно-учебному миру, с каким негодованием отнеслись к этому намерению, показавшемуся и обскурантизмом, и закрепощением! Не удивительно ли? Послушники в монастырях щеголяют подрясниками, не находя, чтоб отличительная одежда их унижала; а добрая половина семинаристов почувствовала бы себя загрязненною. Школа, хотя и именующаяся духовно-учебною, не умела возвысить в понятиях воспитанников священнослужительское звание до идеала; идеалы, если успевали вырастать в душе, то другие. Оттого и напоминание воспитаннику о священнослужительстве, как бы неизбежном для него, кажется ему стеснительным, и мундир в виде подрясника — неприятным.

ГЛАВА XXXII
КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ

А много ли мы учились? Очень мало. Когда я просматриваю расписание уроков в светских учебных заведениях и сравниваю нашу былую вольготу, я готов приходить в содрогание: час за часом, так все занято, так мало времени для передышки, такое разнообразие с чередующимися переходами от одного к другому, ничем не связанному с тем, что было полчаса назад и что будет полчаса после!

Учителя (в Высшем отделении), как я уже говорил, чередовались поденно. Классы были двухчасовые, два утром (с 8 до 12), один вечером (с 2 до 4). По субботам не полагалось вечерних классов. Но и прочие классы только считались двухчасовыми; скорее, они были часовые. Из вечерних пятничный посвящаем был нотному пению; остальные — письменным упражнениям. По одному утреннему классу в неделю назначалось для катехизиса и для арифметики. Остальные утра посвящались: одни — латинскому языку с географией, другие — греческому со Священною историей. Приходит понедельник, ректорский класс: отдаешься вполне латинскому с географией, остальные предметы курса на день забываешь. Точнее: отдаешься латинскому исключительно; география — это только закуска к обеду, как Священная история — к греческому, передышка, назначаемая на второй утренний класс; никакой ломки голове, одна память. Но первый класс — перевод с латинского (или греческого), вечерний — перевод на латинский (или греческий); там и здесь работа голове, очищенной от других забот. Не берусь защищать этот порядок, но нахожу его удобным по его простоте.

Вечерние классы наши не требовали учителя, да не всегда учители и прихаживали. И что в самом деле делать учителю, когда ребята сидят за писанием? Иногда оставался Невоструев, но читал какую-нибудь книгу (в этом единственном случае он и садился). Большею же частию упражнение задано, и ученики сидят одни; половина их уходит ранее звонка: каждый, подавший задачу, волен удалиться. Один цензор сидит, дожидаясь, пока последний копун кончит. Задачи кладут на учительский стол, в ожидании пока учитель придет. Если же учитель не пришел, а задача последняя подана, цензор несет всю стопу к учителю, и класс тем кончен. Возвращаясь, цензор видит на дворе пускающими кубари, бегающими, бьющимися на кулачки тех, кто ранее освободился.

Послеобеденный класс пятницы был класс самый легкий и часто потешный. Случалось часто, что добрый Александр Алексеевич, убаюкиваемый однообразным пением «Всемирной славы» или «Како ни дивимся», не мог, сидя за столом, противостоять дремоте: сперва легко кивал головой в такт, подпевая ученикам все слабее и слабее; затем погружался в полный сон. Мальчишки принимаются за игры, беготню, более или менее осторожную. Боясь нарушить сон учителя, сидящие продолжают пение; но внимание невольно обращается на играющих, голоса начинают отставать, пение все более и более ослабевает, целая уже половина вне парт, в игре; едва кто тянет, и на минуту пение прерывается. Поднимает голову проснувшийся, и все мгновенно разбегаются по местам. Благообразное пение начинается снова, «по солям» ли, «по текстам» ли. Но снова однообразие убаюкивает учителя, и снова не терпится ребятам: сначала показывают друг другу кулаки, кукиши, наставляют носы, пускают муху с привязанною к ножке бумажкой; потом снова возня, снова остановка и снова просыпается учитель. Заставая класс в беспорядке, он никогда не взыскивал, потому что сознавал, что сам подал повод. Находились дерзкие, что подходили к самому столу, брали учительскую табакерку, нюхали табак. Раз чихнул один при этой операции, другой раз шалун прокричал кукареку. Это был искусник такой в подражании петуху, что способен был всполошить все петушиное население окрестности. В эти разы огорчился Александр Алексеевич и обратился ко мне, цензору, с упреком: «Что ты не смотришь?»

Что значит «по солям» и «по текстам»? Это значит, что, приступая к какому-нибудь песнопению, выпевали сначала названия нот: ми, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, ми, ре, ми, ре и т. п. Затем, когда вытвердят «по солям», поют уже «по текстам», то есть текст песнопения. У сестер-мастериц, при обучении грамоте, употреблялись вроде того же названия: «по складам», а потом «по толкам»; по складам — буки-аз-ба, а по толкам самый текст.

Случалось, что и на утренние классы оставляли нас одних. Это бывало, когда того или другого учителя отзывало какое-либо дело, вроде служения, например, где-нибудь; и тогда, чтобы не болтались мы попусту, давалось нам письменное упражнение и на утро. Но случалось и обратное, хотя редко: изустные уроки по вечерам.

Домашние занятия по вечерам состояли из приготовления русского перевода (с греческого или латинского) и в приготовлении уроков по географии, Священной истории или катехизиса и арифметики, смотря по завтрашнему дню.

Итак, ученье отнимало у нас немного времени. Но при

немногосложности предметов могли бы мы успеть много, будь у нас лучшие учителя и учебники. Доказательство — упомянутый мною Груздев. Но было обстоятельство, которое оказывалось хуже недостатка учебников и неискусства учителей: не было возбуждено любви к занятиям, ни один из преподаваемых предметов не манил к себе внимания. Еще в те времена занимало меня, между прочим, явление, на которое после я обратил более полное внимание. Ни одному из моих сверстников ни разу не пришло в голову перелистовать который-нибудь из учебников. Если бы дело шло об алгебре и геометрии, то читать последние страницы прежде первых учащийся, понятно, и не в состоянии. Физическую возможность забегать вперед отнимал в некоторых случаях самый способ, каким мы приобретали учебники: латинский синтаксис и греческая грамматика сдавались нам письменные, частями, по мере того как задавались на выучку. Но не говоря, например, о Корнелии Непоте или греческой хрестоматии, никому не приходило в голову забежать вперед и посмотреть, что говорится на сотой, например, странице географии или на последних листочках Священной истории, которую проходили мы пусть по письменному руководству, но сданному еще в прошлые курсы: полный экземпляр был в руках. То же явление замечалось и после, когда я учился в семинарии. Хотя у некоторых уже развилась любовь к чтению; иной все свободное от классов время сидит за книгой, но непременно — далекою от его учебного курса; учебнику предоставлялось одно: быть заучиваемым, по мере того как задаются уроки; как будто ненависть какая-то или отвращение к нему залегали в душах. Бывало, что какой-нибудь, по ученическому выражению, «початок» учителем отчеркивался; этих осьми, иногда четырех строк учить не нужно, и они уже оставались навеки не только не выученными, но даже не прочтенными. Меня всегда это удивляло, тем более что я одержим был противоположною страстью: меня рвало наоборот всегда желание забежать вперед, и последние страницы учебников часто мне были знакомее первых. В семинарии из печатных руководств я любил составлять свои другие, письменные; так поступал я с историческими учебниками. У меня была в виду, между прочим, практическая цель: сведения учебника чрез это легче усвоивались. Все эти мои упражнения в педагогической литературе пропали, и я особенно жалею о руководстве по русской истории, мною составленном. В основание его положен был, как и во всех таких опытах, учебник, проходимый в классе (Устрялова); но мне казалось тогда, что мой лучше, и до известной степени это было, вероятно, справедливо, потому что мое изложение, несомненно, было более применено к

тому периоду развития, в котором я находился с моими сверстниками. Мне сдается, что педагогическое облегчение, придуманное мною лично для себя, могло бы в известных случаях с тою же целию облегчения быть применяемо в школах: вместо «долбления» предложить ученикам письменную переработку известной части учебника; помимо облегчения учащимся получалось бы и педагогами понятие о том, какой порядок укладки сведений и какое изложение требуются для известного возраста.

Но к одному предмету ученики питали если не любовь, то почтение: к латыни. О ней, по крайней мере, говаривали ученики, тогда как ни о географии, ни о Священной истории, ни тем менее о катехизисе с арифметикой не бывало речи. Вспоминали о старых временах, что тогда по-латыни знали и учили лучше; передавали рассказы о калькулюсе (calculus) и даже собирались было просить о его введении. Калькулюс — это то же, что «язык» в институтах. В старых семинариях ученики обязаны были говорить между собою в классе только по-латыни; употребивший русское слово получал листочек, и он-то назывался calculus; обладатель калькулюса обязывался, сверх обыкновенного урока, выучить еще какие-нибудь вокабулы или тираду классика. Рассказывались с удовольствием анекдоты, относящиеся к латыни, служившие в сущности косвенными уроками грамматики; давались своего рода загадки, имевшие ту же цель. Многое я перезабыл. Но вот два примера. Идут-де семинаристы домой на вакацию. Жарко, пить хочется; проходят селом. Нужно попросить квасу, а денег нет. Подходят к дому священника ли, дьякона ли. — «Так вы хотите пить», — спрашивает батька. — «Да». — «А как пить по-латыни?» — «Bibere», — отвечают все трое. — «A perfectum?» — Один отвечает: bipsi, другой: bapsi, и только один сказал правильно: bibi. — «Так хорошо же», — отвечал экзаменовавший и обратился к жене со словами:

Da bibere bibi, bipsi bapsique carebunt.

То есть: «Дай пить тому, кто знает, что perfectum есть bibi, а тем двум, сказавшим bipsi и bapsi, не давай». Cara [24] предполагала, что и попадья хорошо знакома была с латынью.

Другой пример. — «Ну-ка переведи: mea pater, mea mater, lupus est lupum in lupo». — И ломает голову новичок: что это за чепуха? Каким образом мужеского рода pater сочинено с женским mea и вспомогательное est — с винительным падежом, пока ему объяснят, что это каламбур и означает (хотя латынь, в сущности, и плохая): «Иди отец, иди мать, волк ест щуку в хмельнике».

Подобных каламбуров и вообще изречений с трудными по смыслу оборотами рассказывалось из времен старины множество, и они вводили в своего рода обладание латынью, развивая и вообще смышленость.

В междуклассные часы, в дурную погоду и особенно зимой, когда почему-нибудь нельзя возиться и бегать, класс начинал петь. Сверх кантов и песен распевали иногда сложенную с незапамятных времен латинскую фразу:

> Hic gallus, kikireki cantans, sub arbore sedens, dulcia poma comedens.

То есть, как переводили сами ребята: «Сей петух, кикиреки поющий, под деревом сидящий, сладкие яблоки ядущий». Фраза эта «склонялась»; по окончании ее пели тотчас же: hujus galli, kikireki cantantis и пр. (в родительном падеже). И так далее, во всех падежах и в обоих числах. Иногда распевалось на два хора: первый поет именительный, второй подхватывает родительным, тот дательным и так далее, пока в полное удовлетворение не допоют: his gallis, kikireki cantantibus и пр., в творительном множественного.

Но большая часть свободного времени, как и повсюду в школах, проходила в возне, в «ский» на «в», в дурачествах разного рода, а иногда в рассказах из сельского быта или из старых времен. Последнего рода беседы происходили среди малых, уединившихся кучек или вообще когда класс не в сборе. Особенно памятны мне такие сеансы по зимам утрами. Встанешь рано и еще в седьмом часу отправляешься; пустынно на улицах; разве какая старуха плетется от заутрени. А если немного попозже, навстречу — целая рота нищих цыганок, побирающихся по дворам: у всех мешки за плечами, у иной в мешке ребенок; одеты все с изысканным неряшеством, в одеялах, в лохмотьях или даже в обыкновенной одежде, но накинутой каким-нибудь необыкновенным образом, косо, наизнанку, задом наперед, вверх ногами. Приходишь в училище. В классе уже сидят человек пять-шесть с бумажным складным фонарем, в который воткнут крошечный сальный огарок, или же с помадною банкой, обращенною в самодельную лампу: она налита салом со светильней в середине. Здесь-то, в этой сумрачной обстановке, рассказывались истории о разбойниках и конокрадах, о кладах и разрыв-траве, о попе в козьей шерсти иль о попе и скворцах.

Попросился к попу ночевать прохожий; поп отказал. Постучался к дьячку. Принял дьячок, а в ночь прохожий умирает и в награду за гостеприимство объявляет пред смертью, что на

задворках зарыт котелок с деньгами, который-де и поручается гостеприимному хозяину. Послушал дьячок, нашел котелок и взял. Рассказывает батьке. Батьку взяла зависть: как бы котелок отжилить. Он убивает козла, сдирает с него шкуру, надевает на себя, идет ночью под окно к дьячку, стучит копытом в стекло и протягивает глухим голосом: «Отдай котелок». Раз это и два. Со страхом рассказывает о ночном видении дьячок попу. «Положи котелок на место, — советует поп, — дело не чисто». Послушался дьячок, положил котелок на место, а поп туда. Берет котелок. Пришел с котелком домой радостный, снимает шкуру, ан нет: шкура-то пристала. Подрезать: кровь потекла и больно. Солдат Фома, содержатель табачной лавочки, прибавляет рассказчик, видел, как этого попа провозили в Петербург; народа собралось множество смотреть, и сам Фома видел этого попа.

Другой поп был большой охотник до птиц. Молодой парень кается ему на исповеди, что украл пару скворцов. — «Нехорошо, — отвечает батюшка, — отнеси назад. Где ты достал их?» — «Да над дверями сарая у Гаврилы под крышей». — «Туда и отнеси». Послушался парень, а поп, не будь глуп, пошел и взял себе скворцов. На следующий год снова парень на исповеди. Кается; познакомился он с девкой, такая красивая, отстать не может и печалится, что грешит. «Кто же это такая, где?» — спрашивает торопливо батюшка. — «Ишь ты! — отвечает парень, — это не скворцы».

Но говаривалось ли когда о высоких обязанностях священного сана, о его ответственности? Об утешении скорбящих, о напутствовании молитвой болящих и унывающих, об исправлении порочных увещаниями? Никогда, ничего; как теоретический Катехизис, так и его практическое применение не входили в программу школьных разговоров.

Если не игра и не возня, если не разговоры и пение вроде выше приведенных, то производится работа во внеклассные часы над столами. Столы все изрезаны и будто изгрызены даже; трудилось над ними много поколений. Почтенные это были столы! Сыновья на некоторых находили вырезанными имена своих отцов или начертанными имена знакомых по соседству, попа или дьячка. На некоторых красовались изречения иногда учебного содержания, замечательная по трудности этимологическая форма, иногда изречение или прозвище по адресу кого-нибудь из школьников с его quasi-портретом; ящики, выдолбленные и наверху, и сбоку. Всяк, у кого имелся перочинный нож (к счастию, таких богачей было немного), попробовал непременно свое искусство над столом. А был один, который столом воспользовался для особенной профессии. Он не

только выдолбил два большие ящика, но приделал к ним задвижную крышку. Это были его магазины для насекомых. Летом обильный запас доставляли ему мухи; руки его потому были постоянно окровавлены; независимо от магазина целые вороха мушиных трупов высились у него на столе, между книгами и «текой» (самодельною кожаною сумкой для книг); а зимой… но даже противно вспоминать об этом… За поисками этот охотник отправлялся к себе в белье и в волосы, а то выпрашивал позволения поискать у других. Магазины были полны, представляя иногда живой зверинец. Начальство, разумеется, не знало, а товарищи только подсмеивались: «Смотри-ка, сколько набрал он сегодня!» Смотря из теперешнего далека, думаю: как же я в качестве цензора не остановил этого противного звероловства? Должно быть, по тогдашнему кодексу я не находил в себе на это права. Это не «резвость», которая отмечается в журнале; это личный вкус и тихое, мирное занятие.

ГЛАВА XXXIII
ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ

14 и 15 июля — что может быть их веселее! Это были обыкновенно дни публичного экзамена и роспуска в училище (как потом и в семинарии). Это были дни и прощанья моего с училищем. Удивительно, что они почти не остались у меня в воспоминании, как и вообще рубеж, отделивший училищный период от семинарского. Должно бы сохраниться в памяти получение выпускного свидетельства, которое последовало, конечно, уже после, во время вакации. Но нет; очевидно, что ректор выдал мне свидетельство, не говоря ни слова; и даже лично ли выдал? Удивительная сухость! А каждому начальнику необходимо бы припасать на эти случаи несколько слов для каждого выпускаемого: они врезывались бы навеки в память и служили бы руководством и предостережением, более или менее действительным, смотря по мягкости сердца и по развитию того, к кому обращены.

Но вообще дни 14 и 15 июля были праздничные в училище, и от них сохранилось впечатление, с которым по светлости, по радости, по полноте успокоения не равнялось ни одно в дальнейшем курсе, семинарском ли, академическом ли. Начать с того, что экзамен публичный не влек никаких последствий для учеников. Это был парад; ученикам заранее было сказываемо, о чем их спросят. Невоструев, по поступлении в ректоры, думал было вывести этот обман публики, но уступил обычаю. Он, правда, не назначал прямо, кого о чем спросят, но после частных экзаменов производил репетицию; спрашивал некоторых, и это означало, что о том же самом и те же самые спрошены будут на публичном. Да в сущности тут и не было обмана, потому что не за тем собирали, чтобы производить сравнительную оценку одному ученику пред другим или выводить заключения, чего достоин тот или другой. Это был показ всего училища публике, которой помимо выслушивания диалогов между спрашивающим учителем и отвечающим учеником предоставлялось вмешиваться самой, предлагать и свои вопросы.

Публичные экзамены в духовно-учебных заведениях суть наследие публичных диспутов. Диспуты в старых семинариях, и особенно в Славяно-греко-латинской академии, были блестящи. Тезисы обнародовались заранее, печатались (иногда, вероятно для более высоких гостей, на атласе). Стекался высший свет; в прениях участвовали современные светила учености. Судя по

рассказам, нынешние университетские диспуты не могут равняться со старинными академическими и семинарскими по живости и по участию, которое они возбуждали в образованном обществе. Верно или нет, но передавали, что один из диспутантов, архимандрит Владимир, бывший ректором ли, префектом ли Академии, даже помешался от диспута. Тезис был: Sacra scriptura est clara (Священное Писание ясно). Среди турнира, в котором участие принимали, точно как в кулачном бою, сначала маленькие, то есть студенты, а потом большие, то есть учителя, префекты, ректоры и сами преосвященные, пришлось Владимиру в качестве дефендента отбиваться от какого-то тоже архимандрита, вдобавок соперника своего на ученом поприще. Увлеченный запальчивым прением, Владимир неосторожно выставил ясность Св. Писания в столь безусловном виде, что противник осадил его указанием на «звериное число» Апокалипсиса: atqui numeros 666 quid significat? (А что значит число 666?) Владимир стал в тупик и… потерял рассудок.

С преобразованием училищ публичные диспуты прекратились, но предание сохранилось об обязанности заведения выступать на суд общества и экзаменоваться не только у своих, но и у посторонних, кому угодно. Форма, однако, неизбежно переменилась: участие посторонних могло выражаться только в задавании вопросов испытуемым, точнее сказать — вызываемым ученикам. Заметим разницу: публичные экзамены духовных училищ, переходя по наружности в то, что называют в светских заведениях «актом», не становились, однако, актом, то есть только отчетом, хотя и публичным, но оставались именно испытанием, если не учеников в отдельности, то всего училища. Чем дальше проходило время, тем более, впрочем, утрачивался этот характер, тем более публика обращалась в зрительницу и слушательницу только и тем более начала охладевать. Публичный экзамен приблизился, с одной стороны, к «акту», то есть к зрелищу, а с другой — к обыкновенному экзамену. В семинарии и академии публичный экзамен и имел последнее значение: это было испытание, производимое начальником епархии, то есть митрополитом, отчасти ученикам, а более всего учителям; вся разница от обыкновенного экзамена, что испытание производилось на глазах у публики. Наряду с вопросами тут давались и распекания. О вопросах заранее назначаемых, понятно, не могло быть и речи. Да не могло испытание ни оставлять радостного чувства, ни возбуждать приятных ожиданий. Напротив, это были самые тяжкие, самые томительные дни изо всего учебного периода. В училище же полнее сохранился старый тип; спросят о том, что знаешь — давали случай

отличиться; хотя публика в большинстве, какие-нибудь мещане, и не способна была принять участие в диалогах, но, однако, находились иногда посторонние, архимандрит, например, или священник, который по поводу сказанного учеником давал вопрос, и завязывался разговор, миниатюрное подобие диспута. А при таком порядке предуведомление о вопросах, которые будут заданы, не только не предосудительно, напротив, иначе и не должно быть: отрывок учебника, передаваемый учеником, есть только повод к испытанию, почва, на которой оно предполагается.

Испытаний могут быть и бывают различные виды; все я их перешел и с почтением вспоминаю об идее, которая хотя в сумраке, но мерцала в духовно-учебных заведениях. 1) Экзамен устный по пройденному в классе; бери билет и отвечай: самый обыкновенный, самый теперь распространенный, но самый неполный и наименее всех удовлетворительный способ. Не говоря о том, что он есть лотерея, — из ответа, удачного или неудачного, узнается только степень механического усвоения чужих уроков. 2) Испытание письменное: дается тема, на которую тут же, не выходя из аудитории, испытуемый должен написать ответ. При устном ответе на билет можно сбиться, случайно запамятовать мелочь; не всякий одинаково владеет даром слова; бестолковый зубрила имеет преимущество пред более дельным учеником; испытывается память, а не ум. Письменной задачей дается возможность приготовить ответ твердый и основательный; испытывается степень отчетливости усвоенного знания; запамятованию, случайному замешательству от внешних причин нет места. 3) Письменная задача, на дом данная и притом на продолжительное время, — диссертация. Этот вид испытания довольно известен; предполагается самостоятельная работа и испытывается способность к умственному и, в частности, ученому труду, уменье пользоваться источниками и их обрабатывать. Но вот вид испытаний, в светских заведениях не известный: 4) устное, на заданную тему из учебного курса, с предоставлением испытуемому более или менее достаточного времени приготовиться. По-моему, это — высший и совершеннейший вид испытания. Такое, в числе других, сдавал я при окончании курса в семинарии. Сказан заранее из учебного курса трактат, о котором отчета потребуют чрез несколько часов, завтра, пожалуй, послезавтра (помню, мне из богословия назначено было «О Промысле»). Ступай, обкладывайся тетрадями и книгами, вспоминай, обдумывай. Все отговорки отняты: ни на случайный тупик, ни на медленность соображения, ни на то, что вот именно этот-то трактат менее всего и повторен пред экзаменом.

Прочитай, друг мой, его снова на свободе, хоть сто раз; времени тебе довольно. Но если выйдешь только с твердым воспроизведением учебника или лекции, цена тебе пятак; ты не занимался, стало быть, не дополнял заученного и слышанного своим размышлением и трудом. И увидим мы не только, старателен ли был ты, но и полнее обсудим, насколько ты даровит, о чем отчасти знаем из твоих письменных упражнений.

Кто пройдет успешно все четыре такие искуса, тому достойно поставить высший балл, и отметка будет безошибочна. Недостаточность успеха по одному виду испытания восполняется другим. Диссертацию и даже письменный экспромпт можно списать, по меньшей мере воспользоваться чужою помощью, своего рода письменным подсказом; ответ по билету свидетельствует о случайном знании или незнании случайной части курса; на устном испытании по заранее указанному вопросу все уравнивается и приводится в ясность. В этом-то смысле и на публичном экзамене в училище ответы учеников на вопросы, заранее назначенные, как сказал я, не только не предосудительны, но единственно целесообразны. Какое делали из них употребление и далеко ли на этой почве продолжали испытание, это другой вопрос.

Распространяюсь об этом предмете ввиду капитального вопроса об экзаменных комиссиях в университете: какие будут им даны правила испытаний и какие виды испытания будут введены?

Итак, училище радовалось, торжествовало в виду публичных экзаменов и во время их; душа ученическая играла. Это был летний светлый праздник, и к нему готовились, как к Светлому дню, убирали училище, украшали по вкусу, каким наделил Господь, и по скудным средствам, какие находились в распоряжении. Между частными экзаменами и публичным обыкновенно давался промежуток нескольких дней. Составлялись партии, отправлялись в леса, в луга. Зачем это? А набирать зелени и цветов. Цветочною гирляндой одевалась икона над воротами; где только можно, рассыпали зелень и цветы около экзаменационной залы и в ней самой, а главное — устраивали ковер пред экзаменационным столом. Это было общее дело, своего рода также испытание, точнее — упражнение вкуса. Фон ковра обыкновенно не представлял трудности: мелко-намелко изрубленная еловая хвоя образовала главное полотно; смелый вкус и изобретательность особенно острого ума прибавляли по местам листья других деревьев для разнообразия, но с сохранением общей гармонии. А главное — узор. Узор! О, сколько здесь прений, сколько порывов, сколько первоначальных рисунков! Цветов огромный ворох, нет — вороха. Каждая партия

хвалится одна пред другою. Слышатся иногда восторги удивления. «Да откуда это?» И оказывается, что где-нибудь за двадцать верст набрано в болоте, не то вплавь, не то в тине по уши. Разные величины, различные тени; что куда употребить, из чего должна быть кайма, из чего углы, какой должен быть средний круг, и круг ли он должен быть или ломаная фигура. И нужны ли разводы? Непременно нужно, если какой-нибудь скабиозы, фиалок, васильков добыто очень много, так что рисунок, не затрудняясь, можно выдержать по всему ковру.

На ковер не становились. Он расстилался только на погляденье. Попирать можно зелень и цветы, рассыпанные по дороге. Да, праздничное это было чувство, радостные были хлопоты, светлые это были дни, светлые вдвойне: и по расположению духа, и по состоянию атмосферы; это всегда бывали ясные, солнечные дни, ласкающие светом и теплом.

Другими подобными днями были майские рекреации. Это дни ученических гуляний и игр, предписанные преданием от старых времен. Число этих дней не определялось, и не приурочивались они к определенным числам месяца; зависело от погоды, и с окончанием апреля ребята молили Бога, чтобы май вышел благоприятный: чем более ясных, теплых дней, тем на большее число рекреаций надежда. Не один выбегал вечером 30 апреля на двор и улицу всмотреться в небо, каково-то оно будет завтра. В четыре часа утра все бурсаки уже на ногах; чрез час, чрез полтора двор училища наполнен, собрались отовсюду. Начинаются совещания: просить или не просить, так как рекреации давались не по назначению начальника, а по просьбе учеников. Правда, в просьбе может быть отказано, но могут ее и уважить, а нужно знать совесть, нельзя же просить двадцати рекреаций. Погода хороша, но не вполне, облачка ходят, ветер подувает холодный. Сегодня получим, настоящего гулянья не будет по плохой погоде; а придут хорошие дни, отнимем сами у себя право просить. Но решено: просить. Выстраиваются ученики, начиная с младших, по пяти или шести в ряд, длинным хвостом пред окном ректора и поют:

Reverendissime pater rector, illustrissime protopresbyter et magister, rogamus primam recreationem. (Досточтимейший отец ректор, блистательнейший протоиерей и магистр, просим первой рекреации).

Вместо primam (первой) пели secundam, tertiam (второй, третьей) и так далее, по счету рекреаций. Потом уже не считали, а пели postremam (последнюю) recreationem. Но не довольствовались. Дни стоят чудные, а еще двадцатые только числа. Поднимались на простодушные хитрости. Просили снова

ultimam recreationem (крайнюю), затем posterrimam (самую последнюю).

Только шесть часов утра, да и их еще нет. Позже начинать просьбу опасно. Предание разрешает просить только до звонка, который пробьет в восемь часов; тогда пение должно прекратиться, вся ватага обязана разойтись по классам. А до того времени пойдут еще переговоры. Ректор может находить просьбу излишнею или неблаговременною. Нужно его убеждать и просить, может быть неоднократно.

Поют, тянут медленным торжественным напевом, который раздается чуть не по всему городу. Когда была полная семинария, учащихся может быть под тысячу, и в числе поющих были сильные голоса крепких грудей, взрослых юношей, пение слышно было даже далеко за городом. Мы, двести мальчиков, хотя в числе нашем и были басы, не могли распевать столь громогласно.

Пение продолжается и повторяется. Вот отворяется окно второго этажа, к которому направлена просьба. «Стало быть, отпустят без разговоров?» — радостно мелькает у каждого, и бодрее выпевается слог, на котором застало отворяемое окно. Ах, нет; это теща ректора, в кацавейке, отороченной горностаем, полусонными глазами выглянула посмотреть на невиданную ею картину (она москвичка). Вялее потянулось пение; окно затворилось. Наконец кличут: «Старших!» Отправляются «старшие» к ректору для переговоров и торговли. Ученики и ректор торгуются. Нехороший день, урок сегодняшний очень нужный, плохо прошлую неделю занимались, успеете. Так усовещивает одна сторона; другая возражает обещаниями, что в следующие дни налюбуются их занятиями, что день разгуляется, сегодня он притом скоромный, а назначено, между прочим, идти в деревню туда-то, хлебать молоко; или постный, и приготовились ловить рыбу, и взяли уже бредень на подержание; потратились уже, и все пропадет. Но нужно ли перечислять все доводы и с той, и с другой стороны? Бывало, и строго даже крикнет ректор: «Чтобы разойтись сейчас, вот я вас, не сметь!» Но это ничего, поют, всё поют, и еще раз позовут, и еще раз побранят или постращают, но может кончиться разрешением, и кончалось. Отворится окно; ректор подойдет и благословит. Это осенение двухсотенной толпы крестным знамением из второго этажа напоминало мне, много читавшему, об известном благословении, преподаваемом папой urbi et orbi из Ватикана. «Gratias agimus» (благодарим), — троекратно пропоют ребята на благословение и разбегутся. Троекратно благодарить повелевало предание, а разбегаться побуждал тот же инстинкт, по которому ученики разбегались к обеду, отпускаемые сестрою-мастерицей. Меня

тогда еще, в детстве, это инстинктивное движение приводило в недоумение. Ну зачем же, размышлял я, бежать? Почему же не разойтись тихо? А нет, непременно разбегутся, хотя останутся почти на месте, не только со двора не уйдут, но не покинут тесного пространства, на котором стояли, только расстроят ряды. В ушах и теперь у меня раздаются последние два слога благодарности, которые пелись уже на бегу: gi-mu-u-us; это u-u-us оканчивалось с постепенным понижением тона и ослаблением напряжения.

Начинаются совещания, в чем провести день. Впрочем, большею частию это обдумано и решено заранее; программа известна. Часть отправится в Таборы (подгородный лес) в лапту играть; другая, может быть большею ватагой, на рыбную ловлю, а то просто на катанье по реке. Может быть, некоторыми устроена будет колоссальная игра в бабки и пр. Играть и даже дурачиться можно во весь день нараспашку. Содеянные в этот день даже грехи не вспоминаются; это нечестно, и не бывает; начальство, даже видя проступок, должно пройти, не показывая вида, что замечает. Но проступиться чем-нибудь важным и подло. Это знают сами гулящие и свято блюдут. Негоже оскорблять святыню праздника. В древние времена митрополит Платон сам участвовал в семинарских рекреациях, гуляя с семинаристами на Корбухе (в лесу между Троицкою лаврой и Вифанией), оделял гуляющих лакомствами, слушал их песни и канты, смотрел их игры и поощрял.

«Не может быть! Как? Неужели? И это правда? Не может быть!» Такими восклицаниями отвечал мне покойный Ю.Ф. Самарин, когда я ему как-то в разговоре передавал об обычае рекреаций. Его поразило, что ученикам самим предоставлялось просить рекреаций и назначать дни, равно и то, что рекреационные грехи не поминались. Во времена императора Николая действительно не могло не казаться удивительным сохранение этого обычая, не менее чем и трактат «De libertate cogitandi, dicendi et agendi», который изучали философы-семинаристы. Но то и другое было. Обычай рекреаций тем именно и почтенен, что не давал под дисциплиной угасать чувству личной самостоятельности; оставлял впечатление, что училищный порядок есть только дисциплина, а не оковы. «Ну вот, расправляйте крылья, играйте, беситесь, ответственность за благопристойность возлагается на вас самих; мы перестаем быть на эти дни начальством для вас». А какое освежающее чувство оставляли в учениках эти дни разгула, назначаемые не по команде и проводимые вне команды!

Воля и характер в мальчике-левите, кроме рекреаций, и

притом более постоянно, воспитывались общежитиями. Говорю не о бурсе, а об общежитиях по вольным квартирам. Если нет у сельского церковнослужителя родни или знакомых в городе, он сбывает малого на квартиру, где есть гнездо ребят-школьников; какая-нибудь мещанка, солдатка, а то дьячок содержит для того квартиру, и там ютится до десятка и более ребят. Кроме мяса, харчи большею частию привезены из дома по уговору: мука, крупа, масло, даже какая-нибудь овощь иногда, репа например. О капусте не знаю. К постыдной отсталости сельского духовенства нужно отнести, что садоводством и огородоводством оно почти не занималось, тогда как кроме собственного прокорма могло то и другое доставить лишний доход, ввиду того что крестьянин по этой части и еще отсталее.

Хозяйством общежития, смотря по месту, заведывали отчасти квартирохозяева, отчасти сами ребята, закупая остальную провизию сверх привезенной из деревни. Нельзя умолчать, что грубость нравов и здесь давала себя знать не менее, пожалуй, больше, чем в классных отношениях учителей к ученикам. Слыхал я много возмутительного особенно об епархиальных городах, там, где есть не училище только, а и семинария. Общежития там обширные, и ими начальствуют «старшие»; наряду со «старшими» рядовые богословы и даже философы помыкают мальчуганами, положение которых мало разнится от положения учеников, в ремесленных заведениях. Они должны быть готовы на все побегушки, даже до ходьбы за водкой в кабак; мертвое повиновение «старшим»; беспощадные порки. Страдания беззащитного малолетка недостаточно вознаграждались туторством кого-нибудь из взрослых, кому отец особенно поручил своего сына. Иногда тутор сам оказывался болваном и пьянюгой, и гиб мальчик. Я знаю такие примеры из иногородних семинарий. Но откидывая эти случайности, нельзя не отдать чести общежитиям, что они укрепляли волю и выделывали характер. В общежитиях училищных, где «старший» есть сам мальчуган, отстоящий только двумя, тремя годами от подвластных, где он сверстник в играх и права наказаний не имеет, начало самопомощи выступало чище и развитие самостоятельности должно совершаться успешнее. Вообще, полутора веками преданным строем духовно-учебных заведений признавалось начало постепенности между малолетком и взрослым, и это была их добрая сторона. Не было такой резкой грани, что до сих пор ты раб неключимый, не осмеливающийся ни рассуждать, ни действовать иначе как по призванию, а завтра разнузданный, иди, сломя голову, куда хочешь, начиная впервые быть самим собою. Самобыт общежитий, учреждение рекреаций, цензор, авдитор,

старший и, наконец, лектор из учащихся представляли ленту с постепенно бледнеющими узорами. Об авдиторах, цензорах и старших читатель знает, а лекторами назывались учители низших классов, взятые из высших и еще продолжающие учиться.

В применении много было злоупотреблений, много было мерзостей, не говоря о грубости вообще, но не начало виновато в искажениях, которыми обиходная жизнь училищ била глаза. А образцовому применению начала, можно сказать, высочайшему совершенству педагогического строя должно было бы помогать (инде и помогало) еще одно обстоятельство. Тогда как на маленьких во многих случаях смотрели как на взрослых, давали им рассуждать и действовать наравне со взрослыми, в самом верху начальство состояло из лиц, которых обетом было, между прочим, наоборот, отречение от воли. Сочетание двух начал идеально представлялось в следующем виде: постепенное разнуздание воли с добровольным, ради высшего начала, отречением от нее, как концом воспитания. Какие характеры и какого бы непоколебимого долга люди должны были вырабатываться! Считаю излишним прибавлять, что действительность слишком часто не отвечала этой идее или, точнее, слишком редко отвечала. Но когда я вспомню об А.В. Горском, этом гармоническом сочетании полнейшего самоотвержения с глубоким признанием прав свободы в других, об этом чудном единстве строгого аскетизма с широким либерализмом в лучшем смысле, я восклицаю мысленно: за этого одного человека, за одного такого можно простить все безобразия, все крайности духовной школы, в какие она впадала! А можно поручиться, что А.В. Горского произвела именно школа.

1886

notes

Примечания

1

Теперь выводят, и кажется — основательно, Коломну от «коло», то есть в смысле окольного пограничного города. Это была действительно граница; далее, за Окой, начинались инородческие земли.

2

Боюсь ошибиться, но этим несчастным архиереем не был ли Афанасий Коломенский Озерецковский, если не ошибаюсь, был, между прочим, одно время и ректором в Коломенской семинарии. Не здесь ли даже началась и вражда?

З

за закон Манилиев (лат.)

по совести, вполне искренно (лат.)

5

Протоиереем при церкви Феодора Студита состоит ныне отец Преображенский, редактор «Православного обозрения». Желалось бы, чтоб он проверил по рассказам старожилов и, если возможно, по церковным записям дошедшее до меня предание. Совершилась передача части прихода в виде приданого, очевидно, еще ранее Иосифа Михайловича, известного Москве в свое время настоятеля Вознесенской церкви, объяснявшегося преимущественно по-французски, и даже в храме. «Pardon, permettez, madame!» <«Простите, позвольте, мадам!» (фр.)> — слышались его восклицания, когда во время каких-нибудь похорон кадил он церковь, и непременно со свечными огарками, воткнутыми в ноздри; покойник не терпел запаха трупов и спасал свое обоняние огарками.

о свободе мысли, свободе слова, свободе передвижения (лат.)

«Декларация прав человека» (фр.)

кивка, света (лат.); формы родительного падежа от слов numen, lumen.

без Юпитера не двинешься (лат.).

10

без ошибок (лат.)

о месте (лат.)

12

Один из моих бывших слушателей и сослуживцев Гр. П. Смирнов-Платонов в своей «Автобиографии», напечатанной в журнале «Детская помощь», вспомнил об этом моем труде, в котором и он отчасти участвовал. Досточтимый редактор «Детской помощи» выражает сожаление, что учено-художественное воспроизведение церковного организма, задуманное тогда мною, замерло на дороге. Но обстоятельства сильнее человека. Напоминание бывшего участника в моем труде, может быть, воодушевит кого-нибудь к повторению задуманного мною: и то бы хорошо!

13

Помощниками моими были: Ф.А. Гиляров и В.В. Крестовоздвиженский (последнего уже нет в живых).

14

Нынешним годом посетив монастырь, я уже не слышал минутного боя; на колокольчик наложили молчание. Кому он помешал?

15

Главным основанием всего ораторского искусства является период. С другой стороны, период есть предложение, высказанное с полным совершенством и исполненное изящества (лат.).

почести меняют характеры (лат.)

17

Аврора музам подруга (лат.)

18

«О падении ангелов» (лат.)

изысканно одетый, строго подтянутый (фр.)

20

Не так давно С.К. Смирновым напечатано извлечение из документов по этому делу.

21

Привожу два особенно поразительные примера. Когда вышла первая из богословских брошюр Хомякова (по поводу Тютчева и аббата Лоранси), я прочел в ней сравнение индульгенций с банковыми чеками. Это было мое сравнение, которое я передавал слушателям на лекциях. На целых двух страницах ход мыслей и почти выражения были у нас тождественны. В другой раз, беседуя с Алексеем Степановичем, я сказал, что евангелист, если бы теперь жил, употребил бы не Логос, а, пожалуй бы, Субъект-Объект, говоря о Второй Ипостаси Божества. Хомяков рассмеялся и сказал: именно это самое я пишу теперь и на это выражение Субъект-Объект указываю (в одной из следующих брошюр).

22

Летите, мои стихи счастливые, к слуху покровителя (лат.)

23

На днях я прочитал в «Руси» духовно-нравственный рассказ о. Наумовича, галичанина, известного страдальца за народность и веру. Содержание то же, что в брошюрах Библейского общества; но видна церковная почва, на которой рассказ вырос. Да таких-то сочинений в Великой России не является почти.

откажи, не давай (лат.)